

# ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:  
АНП «Реданция журнала  
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —  
зарегистрированный  
товарный знак.  
Правообладатель —  
АНП «Реданция журнала  
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  
Сергей Александрович  
Шаргунов

Выпуск издания  
осуществляется  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства  
по печати и массовым  
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.  
ISSN 0132-2036

Наша почта:  
unost-org@mail.ru

Наш сайт:  
unost.org  
юность.рф  
Мы в социальных сетях:  
facebook.com/unost  
vk.com/zhurnaliunost  
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:  
125047, Москва,  
ул. 1-я Тверская-Ямская,  
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:  
125047, Москва,  
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,  
+7 (499) 250-40-74,  
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров  
Зоя Богуславская  
Алексей Варламов  
Анна Гедымин  
Сергей Гловюк  
Борис Евсеев  
Тамара Жирмунская  
Елена Исаева  
Владимир Ностров  
Нина Краснова  
Татьяна Нузовлева  
Евгений Лесин  
Юрий Полянов  
Георгий Пряхин  
Елена Сазанович  
Александр Соколов  
Борис Тарасов  
Елена Тахо-Годи  
Игорь Шайтанов

Реданция не имеет  
возможности вести  
переписку с авторами.  
Рукописи  
не рецензируются  
и не возвращаются.  
Авторы несут  
ответственность  
за достоверность  
предоставленных  
материалов.  
Мнения автора  
и редакции могут  
не совпадать.  
При перепечатке  
материалов ссылка  
на журнал «Юность»  
обязательна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов  
Вячеслав Ионовалов  
Яна Нухлиева  
Евгений Сафронов  
Татьяна Соловьева  
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева  
РАЗРАБОТКА МАНЕТА  
Наталья Агапова  
ВЕРСТКА  
Наталья Горяченнова  
АДМИНИСТРАТОР САЙТА  
Антон Шипицин  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
Людмила Литвинова

Подписные индексы:  
каталог «Почта России» —  
П1972,  
объединенный каталог  
«Пресса России» — 71120

Отпечатано  
в ООО «Типография  
«Миттель пресс»

Москва,  
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:  
+7 (495) 619-08-30,  
+7 (495) 647-01-89  
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3500 экз.  
Формат: 60×84/8  
Заназ №

«ЮНОСТЬ»  
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки  
рисунок  
Екатерины Горбачевой  
«Степная трава»

# ТЕМА НОМЕРА: СТРАХ

- 7 ДЕНИС ЛУНЬЯНОВ  
НЕ БАГ, А ФИЧА: ПОЧЕМУ  
МЫ БОИМСЯ ХОРРОР-ЛИТЕРАТУРЫ?  
НЕСУДЬБА
- 23 ТАТЬЯНА СТОЯНОВА  
НОМНАТА
- 27 АННА ПЕСТЕРЕВА  
СВЕТ ГОРИТ
- 33 АЛИЯ ЗАКИРОВА  
СТРАХ ПОД ТЕМПЕРАТУРОЙ
- 34 НАДЯ АЛЕКСЕЕВА  
ВЕРА. ОСЕНЬ
- 40 ПОЛИНА ЖАНДАРМОВА  
СТРАХОЛОВ
- 50 АННА УТКИНА  
ПАРАДОКС СТРАХА: ДРЕВНЕЕ  
ЧУВСТВО ПЕРЕСТАЛО  
БЫТЬ НАШЕЙ «ОХРАННОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ»
- 51 ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА  
ХАОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

# ПОЭЗИЯ

- 56 ИГОРЬ МАЛЫШЕВ
- 61 МАКСИМ ЗАМШЕВ

# ПРОЗА

- 68 АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ  
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
- 98 АГОН\_НОГА  
ПРИЕМ, БАЛАБЭШКИН!
- 103 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА  
ЧЕРДАН С ПРИДАНЫМ
- 131 ЕЛИЗАВЕТА ЗЕМСНОВА  
ПРОВОДЫ
- 139 АННА ПОЛЕНОВА  
ПРОСТО КНИЖКА ДУРАЦНАЯ
- 142 ОЛЯ УЗЯНОВА  
КЛАВИШИ
- 146 АННА ФЕЛЬДГУН  
ГДЕ ТЫ
- 152 СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ  
СУДИЛИЩЕ

# НЕФОРМАТ

- 159 ДМИТРИЙ ПЕТРОВ  
БОТИНКИ ВИКТОРА ПОДГУРСКОГО

# ЗОИЛ

- 170 ДАВИД ШАХНАЗАРОВ  
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ «ПРОЦЕССА»



# ТЕМА ГОМЕРА: СТРАХ

Говорят, самый жуткий страх вызывает неизвестность, щемящее ожидание беды, которая может случиться, а может обойти стороной. Ощущение надвигающейся катастрофы. Не зная, случится ли она, люди сходят с ума, мучают себя и окружающих, выдумывают жуткие, полные кошмарных подробностей горести, от которых сами и страдают. Страх того, чего нет, – самый сильный. Потому что идет изнутри. Потому что мы сами лишаем себя надежды на то, что все будет хорошо. Что все получится. Что сумеем прыгнуть выше головы.

Очень сильное чувство.

Очень интересное с литературной точки зрения.

Страх стал темой конкурса журнала «Юность» в рамках литературной смены арт-кластера «Таврида», и я с радостью представляю вам его лучшие рассказы.

*Вадим Панов*

# НЕ БАГ, А ФИЧА: ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ ХОРРОР- ЛИТЕРАТУРЫ?



ДЕНИС ЛУНЬЯНОВ

Родился в Москве, студент-журналист третьего курса МПГУ. Ведущий подкаста «АВТОРизация» о современных писателях-фантастах, внештатный автор радио

«Ннига» и блога «ЛитРес:

Самиздат». Сценарист, монтажер и динктор радиопроенотов на студенческой метеоплощадне «Пульс», независимый автор художественных тенстов.

Давайте так: начнем со смешного, закончим жутковатым, хорошо? Ну, как оно там говорится, стартуем за здравие, финишируем за упокой. Так вот, небезызвестный Стивен Кинг однажды пошутил, что он больше не будет описывать монстров в книгах, а сделает нечто более страшное: нарисует очередное чудовище. В итоге у Короля ужасов получилось забавное каля-маля – в принципе, на то оно и было шуткой. Но, как и в любом другом меме, здесь прячется глубокий философский подтекст, да почти такой, что Камю, Сартр, Кьеркегор и другие экзистенциалисты голову об него расшибут. Звучит эта дилемма как-то так: а почему мы вообще боимся хоррор-литературы? Ведь, по сути, пугаться ужасов – все равно, что испытывать фобию букв. В книжку ведь ни скример не добавишь, ни душераздирающую музыку. Откуда тогда такой эффект, что аж мурашки по коже бегут, а затылок – холодеет?

**Страх первородный, или Откуда берется ужас**

Рыть всегда следует начинать с конца, почти как в археологии, чтобы после долгой работы докопаться до сути, до нижних слоев. Говоря проще, до того, что было *сначала*. В отличие от бедных археологов, мы можем себе позволить начать сразу с самого древнего – и самого важного – культурного пласта. Только в нашем случае это не открытие

древнейшего строения мира, или доегипетской цивилизации в дельте Нила, а понимание, почему человек вообще испытывает страх и есть ли от этого хоть толика пользы.

Итак, небольшой ликбез по биологии: установлена у нас в голове одна такая часть, называется миндалевидным телом и находится в височной доле мозга. Это такая, если угодно, папка на жестком диске серого вещества. Только хранятся там не фото из поездок или сканы эротических журналов, а наши страхи, которые сознание оттуда выуживает при любой необходимой ситуации. Но вот парадокс: если прийти в медицинский фургончик, где за двадцать баксов сделают все что угодно, и попросить подредактировать это миндалевидное тело (а то и вовсе вырезать), ничего хорошего не выйдет. Проблема в том, что этот кусочек мозга ответственен еще за радость, удовольствие, отвращение и прочие эмоции. Страх, кстати, входит в «базовый набор», который прилагается к любому устройству модели homo sapiens. Только есть одна дилемма: ужас не относят ни к трем негативным эмоциям, ни к трем позитивным. Он – посерединке, как Чичиков у Гоголя – ни то ни се, ни рыба ни мясо, ни стар ни молод. Все лишь потому, что может вызывать и удовольствие – но об этом позже.

Какой бывает страх? Один. Даже не спорьте. Многие ученые сходятся во мнении, что люди бо-

ятся, скорее, не просто смерти, а *небытия* (не зря же мы Кьеркегора в начале вспомнили). А уже что может довести до небытия – другой вопрос: и нож в бок, и ядовитый паук на берегах Амазонки, и даже финик, неудачно застрявший в горле. С некоторыми страхами люди рождаются, это такие предустановки в биологическом коде – сигнализация, предупреждающая о базовых опасностях: резком звуке, непонятной тени, уходящих из-под земли ногах и, как считают некоторые, змей и пауков. Так у всех млекопитающих, просто эти прелестные животные совсем не похожи на нас и даже на лисичек с котиками (тем не менее некоторым это держать несколько экзотических тварей в аквариуме не мешает).

Другой вид страхов люди приобретают на протяжении жизни – они, как вирус, передаются от человека к человеку. Это может происходить через родительские шаблоны или через, скажем так, государственный аппарат. Если человека постоянно намеренно пугают чем-то, то он, сам того не заметив, станет этого бояться – такая вот незатейливая технология.

Самое забавное, что от страха почти всегда можно получать кайф, да еще какой. Чаше от врожденного, чем от приобретенного, но факт остается фактом, вот нас и тянет ходить в кино на ужастики, травить друг другу истории у костра и даже прыгать с парашютом. Тут в игру опять вступает биология: в организм впрыскиваются химические элементы (норадреналин, эндорфины, дофамин). Этот коктейль придает человеку сил, задора и даже обезболивает на некоторое время. Так что тех, кто часто ходит на фильмы ужасов, можно и наркоманами назвать – но это, конечно же, шутка. Надо же хоть как-то разбавлять текст об ужасах, правильно?

Пугаться полезно. Почти как пить хорошее вино – если по бокальчику в день, то организм очень даже скажет спасибо, а если выдуть три бутылки залпом – ну, несложно догадаться.

Итак, почему же человек боится? Ответ прост, как на экзамене, к которому не выучил ни одного билета, – *потому что*. Потому что люди не могут не бояться. Ясно дело, что такой ответ никого не устроит, поэтому соберем все причины воедино. Раз – без страха не будут работать другие эмоции; два – мы перестанем чувствовать опасность, а девиз «слабоумие и отвага» ни до чего хорошего не доведет; три – страх может принести удовольствие; четыре – ужасы в маленьких количествах укрепляют нервы и готовят нас к встрече с большими опасностями.

И нет, Лавкрафт и его твари иных категорий тут ни при чем.

## Ужасная литература, или История хоррор-жанров

Информацию нужно принимать постепенно, как комплекс таблеток. С утра – выпить что-нибудь для памяти, днем – для сердца, ну а вечером и аскорбинку можно себе позволить (автор текста не несет ответственности за резкое читательское желание сбежать в аптеку за аскорбинкой). Поэтому, прежде чем двигаться к центральной теме, надо поговорить и об истории хоррор-литературы – откуда этот зверь вообще взялся, кто его слепил?

Если обернуться назад во времени без всяких хитроумных устройств, просто пару часов просидев в библиотеке, станет ясно, что *ужасов как жанра* изначально не было. Существовали отдельные пугающие элементы фольклора и мифологии: склизкие водяные, бесконечные ассирийские демоны, египетские обитатели подземного мира Дуата с головами змей, скандинавские драконы, черти с картин Босха, японские демоны *Они*, арабские гули (ожившие мертвецы), индийские наги, греческая Химера... вот лишь первое, что приходит на ум. Но это – уж извольте – *не то*, эпос никогда не был связан с попыткой конкретно напугать человека жуткими образами. Конечно, он должен был присмирять перед богами, внушать благочестивый страх, но это уже совсем иная роль. Исследователь Девдutt Паттанаик вообще считает, что все жуткие образы мифологии – лишь инструмент вызывать к ней интерес и улучшить ее запоминание через поколения; тяжело стереть из памяти тварь с семью руками и девятью головами. Человек испытывал страх сначала перед пугающей и неукротимой природой, потом – перед богами и уже много после перед тем, что не понимает сущности мира. Вождь племени страшился гнева пламени и ветра, древний грек – проклятий Зевса, который усмирил природу в лице титанов, а ученый двадцатого века – мира, внезапно оказавшегося слишком пустым и непонятным.

В Средневековье были популярны ужасы, навеянные все той же богобоязностью, – истории об одержимых вполне себе можно считать хоррором, а уж сны об адских муках – тем боле. Такие сюжеты часто встречались в европейском аналоге жанра «жития». Это были скорее нравоучения, намекающие человеку, что жизнь надо вести исключительно праведную, хоррор там оказывал необходимый терапевтический эффект – об этом мы уже вспомнили и обязательно вернемся еще. Все эти истории, кстати, потом легли в основу «Божественной комедии» Дан-



Предромантизм связан непосредственно с *мистикой*, а она – совсем не то же самое, что ужасы. В первом случае нагнетается лишь напряженная, таинственная атмосфера – автор вовсе не ставит перед собой задачу напугать читателя, максимум – нервишки пощекотать.

те. В то же время славу сыскали и так называемые *Bisclavret* – истории из двенадцати стихотворений об оборотнях поэтессы Марии Французской. Это были так называемые лэ, поэзия особой группы, которую часто ассоциировали с фантастикой. И там были оборотни! Здорово же, да? А иногда появлялись даже связи реального человека с некоей мистической феей – это, можно сказать, стало центральной сюжетной канвой многих лэ.

Современный хоррор принято связывать с готической традицией – и архитектурной, и, безусловно, литературной. Поэтому именно в Европе зарождается *готический романтизм* (предромантизм), который очень тесно связан с мистическими образами: «Лесной царь» Гете, всем известный «Франкенштейн» Мэри Шелли и даже баллады Жуковского, подхватившие эту традицию (ожившие трупы там появлялись раз на раз, отдадим мастеру должное). Но это, удивитесь, все еще не то.

Предромантизм связан непосредственно с *мистикой*, а она – совсем не то же самое, что ужасы. В первом случае нагнетается лишь напряженная, таинственная атмосфера – автор вовсе не ставит перед собой задачу напугать читателя, максимум – нервишки пощекотать. То есть, возвращаясь к тому же «Франкенштейну», справедливо заметить, что Мэри Шелли писала скорее триллер, чем откровен-

ные ужасы. А вот работая над хоррором, автор ставит в самом верху списка задач пункт «напугать читателя» («...и заставить купить новые штаны»), чтобы с помощью страха и ужаса выйти на определенную тему. Например, показать, что за любое зло надо платить: только тогда нужно ставить в центр не лучезарное и сияющее, как после стиральной машинки, добро, а пугающее зло.

Немного научных данных: исследовательница Эдит Биркхед создает классификацию ужасов, согласно которой некоторые романы готической традиции все же можно отнести уже непосредственно к хоррору. Это, например, работы Гофмана и Мэтью Грегори Льюиса (самое громкое его произведение – «Монах»). Если же говорить о России, то Жуковский принес на родину семя романтизма, которое проросло ужасами... нет, не Гоголя – до Николая Васильевича успели постараться другие славные ребята.

В «наполеоны хоррора» метил, например, Орест Сомов, решивший ударить читателей по голове украинскими фольклорными образами еще до Гоголя. Тут можно просто взглянуть на названия авторских повестей: «Самоубийца», «Киевские ведьмы», «Русалка», «Оборотень». Хотя, придется признать, что эти произведения оставались данью уважения мистической традиции готического романтизма, но уже вполне себе мутировали. Куда ближе к понятию хоррора подобрался Александр Бестужев-Марлинский. Его сборник повестей «Страшное гадание» по своей мрачности обогнал работы коллег: тут и колдуны, и говорящие мертвецы, и сам дьявол. Не тот обаятельный, что цокает копытами и нянчится с Фаустом у Гете, а именно тот, который призван напугать читателя. Выше головы, конечно, прыгнул Антон Погорельский, действительно начавший пугать. Если даже сейчас вечерком почитать «Лафертовскую маковницу» или «Черную курицу» (на минуточку, детское произведение!), прилив адреналина и марш мурашек по спине обеспечен. Поверьте, это жутко, а уж для времени публикации наверняка казалось до чертиков пугающе.

Потом пришел Гоголь и стал, по сути, родоначальником русского хоррора. Соединил фольклор, мистику, победу зла над добром и начал пугать русский народ – как минимум «Вий» уж точно призван довести читателя хотя бы до одной бессонной ночи, больше – лучше. Все эти «поднимите мне веки» и холодные мертвые панночки... Конечно, и мистики у Гоголя хватало – «Невский проспект», «Портрет» (там тоже есть элементы хоррора), да

и вообще весь цикл «Петербургских повестей», разве что за исключением «Шинели», – это, скорее, *псевдомистика*. Даже «Мертвые души» полны таинственных фрагментов. Но, несмотря на это, «первозданный хоррор» Николай Васильевич застолбил за собой.

Тургенев, к слову, потом тоже присоединился: его мистические повести и некоторые стихи в прозе заставляют с головой окунуться в прорубь кошмаров. Если читать «Призраков», «Собаку», «Странную историю», «Сон», «Рассказ отца Алексея», «Клару Милич (после смерти)» ночью – эффект будет что надо. Мы проверили на себе, провели эксперимент в свое время: если и у вас получится подобать дождливую ночь с сильным ветром, да еще чтобы ветки деревьев скрипели – получше всякого 5D выйдет.

Вот, допустим, кусочек стихотворения в прозе «Череп», на самом деле отсылающего к «Маске Красной смерти» Эдгара По:

*«И вдруг – словно по магию волшебного жезла – со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили синеватым оловом обнаженные десны и скулы.*

*С ужасом глядел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете ламп и свечей, эти шишковатые, костяные шары и как вертелись в них другие, меньшие шары – шары обесмысленных глаз.*

*Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало.*

И это еще не самое страшное, что можно найти. Дальше традицию хоррора подхватили, понесли через года во всех странах, так что о развитии ужасов можно писать до посинения. А почему людям до сих пор нравится пугаться, вроде как уже разобрались.

Но, ладно там, банджи-джампинг, просмотр фильма ужасов со ста скримерами на секунду хронометража или даже экскурсия в террариум человека с фобией змей. Тут все понятно, это либо действительно физически страшно, либо неожиданно – потому сигнализация в мозгу и срабатывает. Но почему люди вообще боялись хоррор-литературы и до сих пор ее боятся? Как можно испугаться текста? Буквы пока не имеют свойства обрастать зубами и щупальцами, так и нороящими сделать опасный «кус» и «хват». Легким движением руки (скорее, клавиатуры) повторив вопрос из самого начала, можно наконец-то попытаться ответить на него.

## Литературная бессонница, или Как писатели пугают текстом

Забавно, но, по данным ВЦИОМ за 2020 год, примерно 3% опрошенных читают ужасы. Если проше – жанр *закрывает* список. Хотя это не отменяет того факта, что люди все же читают хоррор, а если читают – значит, получают удовольствие. Наверяд ли все 3% делают только это по работе или под дулом пистолета.

Можно провести эксперимент в домашних условиях: поспрашивать у читающих друзей, знакомых, знакомых знакомых и далее по экспоненте, как давно они уделяли время пугающей книге. Почти наверняка итог лабораторного опыта окажется один: история, которую они читали, была страшной, но это «совершенно точно не хоррор». Даже в описании романа такого «ярлыка» не указано.

Возможно, проблема в том, что граница жанра давно размазалась и стерлась. Примерно в 1954 году в американской литературе рухнул рынок так называемого pulp fiction (бульварного чтива), книжек на дешевой бумаге, покупаемых на один раз. Их могли взять с собой в дорогу, прочитать, а после выкинуть – не от отвращения, а потому, что издание никуда уже не годилось. Содержание этой литературы зачастую тоже оказывалось сомнительным: клишированные истории, своеобразные «концентраты жанров». Вот тут ужасы были настоящими ужасами – почти в чистом виде. Кстати, отдельного внимания стоят обложки pulp fiction – откровенные и, как сейчас говорят, «кликбейтные».

Рынок рухнул, и границы жанра стерлись: сейчас хоррор в рамках одной книги может соседствовать и с фэнтези, и с мистикой, и саспенсом. Впервые ужас «смягчили», сделав его лишь тугим напряжением, авторы готической литературы, но об этом мы уже вспоминали.

Ну так вот, отвлечемся: если у человека болят колени, он идет к доктору, если прическа не нравится – к стилисту или к парикмахеру, и так далее. А если человек хочет понять, каким образом текст пугает людей, то идет к психологу, – вариант вполне рабочий.

Так почему же человек боится написанного, раз все оно – нематериально? В этом помогает разобраться клинический психолог Алина Голубева:

*«Мозг не видит разницы между воспринимаемой реальностью и картинками, воссозданными психическим аппаратом при увлеченном чтении, он верит всему, что создает наша психика, так как и в том и в другом случае задействованы одни и те же прин-*

*цпы ее работы. На стимулы, вызывающие страх, реагирует та часть нашего психического аппарата, которая находится вне поля сознания, срабатывает инстинкт самосохранения. И только потом, когда сигнал об опасности дошел до сознания, осознается и нереальность этой опасности.*

Тут всплывает один побочный, можно даже сказать технический, нюанс: разве не лучше, условно говоря, спрашивать о том, как рубить деревья, непосредственно у дровосека, а не у эксперта-эколога по посадке сосен? Иными словами, а что думают сами авторы хоррора об этом парадоксе нашего сознания? Татьяна Матрюкова, автор мистических и хоррор-романов «для молодых взрослых», отвечает коротко, но метко:

*«Когда появился сам жанр страшной истории, ужасника, это и были только слова. Только слова, мастерство рассказчика, и воображение слушателей».*

Итак, хорошо, решили: боимся текста, и все уж тут, деваться некуда. Проведем еще один эксперимент (даже призываем повторить его дома): если предложить человеку страшное кино, страшную книгу и страшную картинку – чего он больше напугается? Вероятнее всего, призовые места распределятся в соответственном порядке – то есть страшнее всего будет кино, далее – книга, ну и где-то там в отстающих – картинка. Исключений никто не отменял, на них вообще строится добрая половина принципов статистики, но не об этом. Алина Голубева рассказывает, почему происходит именно так и кино носит лавровый венок победителя:

*«При просмотре кино задействовано больше анализаторов и меньше возможностей контролировать ситуацию, поэтому возникают более интенсивные эмоции страха. При чтении книги сохраняется больший контроль, отсутствует эффект внезапности, воссоздание описываемых страшных картин происходит из того материала, который уже есть в психике, то есть знаком ей, поэтому вызовет менее выраженную тревогу. Жуткое изображение вызывает менее интенсивную реакцию, чем книга, так как оно понятно и завершено, при чтении же книги создается больше простора для воображения, «дорисовывания» пугающих картин, что и обеспечивает более сильные эмоции».*

Так, хорошо, уяснили – никаких скримеров, ну и ладно. И даже на SGI бюджет не выделишь – все держится на читателе, притом даже в большей степени, чем на авторе. Но куда же тогда податься писателю? Что такого крикнуть и подклеить скотчем, чтобы текст пугал до мурашек? Можно выделить два главных приема: использование звуков и запахов.

Татьяна Матрюкова успела наиграться с обоими способами, а читатели – ощутить на себе всю мощь авторской власти. В романе «Приоткрытая дверь» постоянно скрипели половицы, что-то странное скреблось за стеной, лязгали двери, а в «Болотнице» героиню вместе с читателями сопровождал запах гнили, тины и, соответственно, болота. Прочие ужасы здесь опускаются ради сохранения здорового сна читателя. Две эти категории – звук и запах – действительно универсальны. Но опять же, непонятно, почему это пугает *внутри текста*. Звук мы не слышим, в отличие от скримеров в кино, запахи – уж тем более не чувствуем. Татьяна Матрюкова рассказывает, как это работает:

*«У человека не самое острое зрение, даже в очках. Зато все хорошо со слухом и обонянием. Особенно с обонянием. Запах может вызвать у нас всю гамму чувств, воспоминаний, эмоций. Марсель Пруст семь томов написал, навеянных одним лишь ароматом печенья. Один и тот же запах может быть неприятным и восхитительным, смотря с чем и кем ассоциируется. Аромат жасмина может вызвать приступ паники, если будет известно, что именно такими духами пользуется жестокий убийца – запах будет означать, что опасность совсем рядом.*

*И звуки... Мы можем привыкнуть к бесконечному городскому шуму, не реагировать на отбойный молоток на стройке под окнами, не слышать тиканье часов – это привычные звуки, из которых состоит наша безопасная обычная жизнь. Но если сюда добавляется что-то чужое, неожиданное, неправильное, ухо меновенно улавливает это, и мы напрягаемся, пока не убедимся, что нам не грозит опасность. Кто-то чихнул в соседней комнате. Страшно? Нет. А если вы в полном одиночестве в заброшенном доме где-то в безлюдной местности?»*

Алина Голубева дает небольшой психологический инсайт о том, почему мозг боится даже написанных звуков:

*«Наш мозг воспринимает все привычное и понятное как безопасное, и наоборот. Все, что незнакомо, непонятно, воспринимается как угрожающее, это обусловлено работой того же инстинкта самосохранения. Поэтому, сталкиваясь с чем-то непонятным и странным, в том числе со звуками, при воссоздании описанной в книге реальности, психика реагирует тревогой и беспокойством. Когда создается таинственность вокруг звука, применяются яркие, выразительные средства его описания, мозг тут же начинает воссоздавать, дорисовывать воспринятое, в связи с чем и нарастает тревога. Внезапность же трудно выразительно описать, и сразу*

Жанр подпитывается со всех сторон. Но все же надо иметь в виду, что гибкость подросткового сознания – меч обоюдоострый, и о него может порезаться сам рыцарь.

*понятно, о чем идет речь, поэтому она не вызывает сильных эмоций».*

Итак, звук – непривычен, потому и пугает, запах работает на уровне ассоциаций, а мозг все просто умело воссоздает из печатных букв. Но бывает и такое, что написанное может взывать физическое ощущение: холодное прикосновение, щеколку чужого дыхания на шее... вот тогда страх пронизывает насквозь, и уже жалеешь, что нельзя спрятаться под одеялом. Тут книге даже не обязательно быть хоррором – допустим, героя так сильно и правдоподобно бьют, что начинает ныть живот; от описания трупных мух и тухлятины – тошнит; мастерски описанное падение и головокружение можно пережить, и так далее, и тому подобное. Почему так происходит, рассказывает Алина Голубева:

*«Это связано с особенностями работы нашего мозга по воссозданию картины реальности: как только в области психического появляется какой-либо объект-стимул, к нему начинает подтягиваться вся уже имеющаяся связанная с ним информация, рефлекторно вызывая сопутствующие ощущения».*

В самом начале у нас получилось выяснить, что испытывать страх – полезно. Но чтение хоррора – это, по сути дела, обман сознания: человек заставляет мозг по-настоящему глючить, пользуется его багом для того, чтобы вызывать страх без реальной на то причины. Оказаться в темноте – вполне себе повод для выброса в организм адреналина, но *представить темноту* – откровенное читерство. А ведь многие действительно читают ужасы лишь для того, чтобы напугать себя, – нравится людям щекотать нервы. Татьяна Матрюкова – о том, почему таким образом «хакать мозг» весьма полезно:

*«Благодаря страху мы ощущаем себя живыми. Мы привыкли сдерживать и скрывать свои эмоции, а страшилки позволяют нам получить необходимую разрядку. Хорроры, будь то книги или фильмы, позволяют нам испытать страх без угрозы для жизни. Просто и безопасно получить необходимую дозу адреналина. К тому же мы можем самостоятельно контролировать уровень и количество страха. И даже ощутить некоторое чувство превосходства – мы-то знаем, как глупо порой себя ведут герои хорроров, не то, что мы».*

Достаточно много ужасов приходится на долю подростковой литературы. Тому есть много объяснений: в этом возрасте и потребность в адреналине больше, и «отходняк» куда меньше, да к тому же издатели, видя спрос, стараются делать еще больше предложений, а разнообразие всегда привлекает. Жанр подпитывается со всех сторон. Но все же надо иметь в виду, что гибкость подросткового сознания – меч обоюдоострый, и о него может порезаться сам рыцарь. Еще одна метафора: если слишком долго мять кусок пластилина, можно проделать в нем дырку. То же самое и с подростковой психикой: а насколько хорошим тренингом для них становится чтение хоррора? Алина Голубева рассказывает:

*«Да, чтение может быть своеобразным тренингом, проигрыванием пугающих ситуаций в безопасных условиях, что снизит интенсивность реакции страха на пугающие ситуации и позволит действовать более эффективно. Но здесь все-таки необходимо проконсультироваться со специалистом (психологом или психотерапевтом), так как в ряде случаев может и усилить, и больше зафиксировать имеющиеся страхи. Если подросток впечатлительный, испытывает сильные эмоции страха при чтении, не может с ними справиться, картины прочитанного могут послужить материалом и для кошмарных снов. При этом здесь все зависит от индивидуальной чувствительности, но тревожный, склонный к формированию фобических реакций подросток в принципе вряд ли станет увлекаться чтением данного жанра».*

А вот что говорит Татьяна Матрюкова, в конце подбрасывая дополнительный парадокс на обсуждение:

*«В тревожном подростковом возрасте, когда все привычное, безопасное и понятное внезапно оказывается совершенно другим, чуть ли не противоположным по ощущениям, хорроры, будь то литература или кино, особенно необходимы. Они помогают сбросить хотя бы часть того эмоционального на-*



*пряжения, в котором подросток ежедневно варится, и это самый безопасный способ. К тому же увлечение хоррорами выглядит эпатажно, вызывая, кажется возмутителем спокойствия, что придает дополнительную привлекательность в глазах тюшей и девушек. Кстати, современные писатели и создатели ужастиков в большинстве своем веселые, дружелюбные и законопослушные люди. Может быть даже благодаря любви к хоррорам.*

*Сколько раз я слышала от подростков хвастливое “меня не пугает даже Стивен Кинг”. А взрослых пугает, потому что описывает ужасные ситуации, с которыми приходится сталкиваться взрослому человеку, и взрослый понимает, какие будут последствия. Подросток в силу своего возраста и небольшого опыта просто не считывает эту пугающую информацию. Чаще всего у Кинга это не монстры, а житейские ситуации и люди, причем описываемые безо всякой мистики».*

Напоследок – время лайфхаков. Можно ли обмануть мозг и заставить его перестать бояться хоррор-литературы? Вот как считает Алина Голубева:

*«Способы преодоления страха перед книгами-ужастиками существуют – это в том числе постоянное возвращение своего внимания к тому, что воспринимаемый объект воображаемый, но вместе с тем и пропадет интерес к данному жанру, так как привлекательность для читателя как раз и обусловлена потребностью в ярких, будоражащих эмоциях».*

В конце любой статьи положено делать какие-либо выводы... что же, попробуем. Итак, мозг и сознание – две огромные адские машинки, которые можно взломать самым разным образом. Страх нужен для поддержания уровня других эмоций и для того, чтобы работала сигнализация, предупреждающая об опасностях. Но кидаться камнями в стаю голодных волков или стоять на краю обрыва, просто чтобы получить нужную долю ужаса, станет только совсем отчаянный. Вот человек и научился «хакать» сознание – предлагать ему видеть страшное там, где реальный угрозы нет. А оно – сознание в смысле – только и радо в этот обман верить. Ужасики жили с нами, как клопы в общежитии – с самого заселения на планету, – и пробудут до конца дней: они зарождаются в ночных лагерных историях со слепящим фонариком и заканчиваются многомиллионными голливудскими картинками. Хотя если подумать – «конец дней» сам по себе и есть один огромный ужас, но тут начинается философия чересчур высокого полета. Здесь, как Икару, недалеко и упасть, опалив крылья.

В любом случае, прекрасный механизм «взлома» сознания с помощью литературы – казалось бы, самого нереального и нематериального из всех искусств, – куда лучше, чем поход в темную, холодную и жуткую пещеру среди ночи.

Поверьте, безобидные тени Идей на ее сводах может беззаботно видеть только Платон. В остальных случаях они оказываются чем-то куда более пугающим и голодным.



# НЕСУДЬБА

На улице такой-то условного города, по не столь важному адресу, в безмянном и совершенно заурядном, без всяких намеков хоть на какую-то маленькую причуду доме проходило собрание одного весьма странного, если и вовсе не чудаковатого литературного Клуба.

Члены Клуба заварили чай, кофе и даже умудрились *заварить* кое-что покрепче; уже как раз рассаживались по креслам, расставленным в круг так, словно кто-то собирался призывать демона или, на крайний случай, обсуждать очередные коварные планы мировой закулисы.

Последним устроился поудобнее упитанный мужчина средних лет, слегка не дотягивающий фигурой до полноценной бочки, – он с наслаждением плюхнулся в кресло, держа в руках стакан не чая, и даже не кофе, а того самого *покрепче*. Потом мужчина неуверенно забегал глазками, прикидывая, что же прямо сейчас, в этот самый момент, пошло не так, – опомнившись, человек-бочонок вновь встал.

Мужчина откашлялся – да так, что комнату заштормило вибрацией.

– Двадцать шестое собрание Клуба Не Анонимных Литературных Героев я объявляю открытым! Итак, начнем с переключки. – Он залез под пиджак, вытащив стопку листов, и продолжил. Можно было подумать, что в его живот вмонтирована пара-тройка ящиков – отличный вариант для лю-

бого офисного работника. – Джейн Эйр?

– Здесь! – воскликнула дама, которая скорее походила на мисс Марпл, но прикладывала все усилия, чтобы повернуть время вспять, хотя бы визуально. С таким же успехом маленькие девочки мажутя маминой косметикой, думая, что теперь они выглядят как настоящие леди.

– Замечательно. Гамлет?

– Здесь!

К Гамлету вопросов с точки зрения внешности не возникало.

– Прекрасно! Мерлин?

– Как обычно, опаздывает, – заметил Гамлет.

– Но он никогда не опаздывает и не приходит слишком рано... – попыталась вставить свои пять копеек Джейн Эйр.

– Нет, дорогая Джейн, это вы не о Мерлине уже говорите, – поправил ее Гамлет.

Председатель назвал еще несколько имен, среди которых оказались доктор Джекил (в отсутствие мистера Хайда, по крайней мере сегодня), Том Соьер (сегодня он забыл набить карманы всякой всячиной – соответствующая пометка была сделана), капитан Немо и священник Фролло (сегодня он не выглядел так возбужденно, как обычно).

– Ну и наконец, – закончил председатель, поставив последнюю галочку, – второй Толстяк из всех трех Толстяков, то бишь я.

Джейн Эйр беспокойно ерзала в кресле, все никак не находя удобного положения. Предприняв очередную попытку устроиться покомфортнее, она уточнила:

- Мы не будем ждать Мерлина?
- Если бы мы каждый раз ждали его, – вздохнул Фролло, изучив Джейн своим мраморным, слегка отсутствующим взглядом и подперев голову рукой, – то ничего бы не успевали.

Джейн Эйр, не желая спорить со священником и опасаясь, чтобы тот ненароком не распознал в ней очередную Эсмеральду, просто пожала плечами и наконец-то смогла расслабиться. Она посмотрела на металлически блестящую седину Фролло и обрадовалась, что ей приходится делать все наоборот – прятать белые волосы под слоями краски, а не выставлять на показ. Но все знали, что священник не красится и не пользуется той противной (Джейн скорчилась) театральной пудрой – ему даже морщины не нужно было дорисовывать. Возраст, все возраст...

Клуб Не Анонимных Литературных Героев считали в городке верхом абсурда, выше которого уже просто не прыгнуть, голова упрется в потолок, нет, даже пробьет его – а там, еще выше, уже шизофрения. Поэтому самый заурядный дом, своим видом никак не намекающий на творившиеся внутри чудачества высшего сорта, обходили стороной в любое время суток, даже если никаких собраний там не было.

Члены Клуба такого отношения решительно не понимали – ну что такого, скажите на милость, в том, чтобы собираться и обсуждать книжки, примеряя роль любимого героя? Значит, говорили члены Клуба, актерам такое вытворять каждый день можно, а нам – нет; ну ведем мы себя в точности как наши любимые герои, да, но разве у других нет кумиров, которым они так или иначе подражают? Просто мы подходим к этому более основательно, с чувством, толком, расстановкой – и лишь в рамках собраний, не более!

Фролло прочистил горло.

- Ладно с ним, с этим нашим неблагочестивым и грязным магом... – Тут он скорчил такую недовольную гримасу, что любое зеркало не выдержало бы. – Мерлином. Но куда сегодня запропастился Фауст? Этому господину несвойственно опаздывать, и я вижу в этом...
- Святой отец, – нахмурился Джекил в отсутствие (ясно дело, временном) Хайда. – Ваша придирчивость сегодня выходит за все рамки!
- Вот-вот! – добавила Джейн Эйр, хрустнув костя-

ми. – В моей семье не потерпели бы такого... *нахальства*. Вы же человек церкви, святой отец!

- И поэтому я избавляюсь от ереси. – Фраза прозвучала как-то слишком реалистично. – И вообще, настаиваю на исключении колдунов, алхимиков и *журтизанок* из нашего Клуба. Начать предлагаю с последних...

Он засверлил взглядом собеседницу. Джейн Эйр разинула беззубый рот.

- Святой отец! Да как вы...

В этот момент на первом этаже лязгнула дверь.

\* \* \*

Перед тем как войти, запыхавшийся Фауст подумал: «Надо постучать ради приличия». Но тут же метлой погнал эту мысль прочь, потому что настоящий доктор Фауст поступил бы совсем по-другому – вошел бы, не церемонясь.

Поэтому дверь лязгнула так стремительно, что сама, поди, не успела опомниться, как открылась, скрипнув петлями.

Доктор Фауст – звали его, конечно же, не так, но он и сам не хотел помнить как, – шагнул за порог Клуба Не Анонимных Литературных Героев.

Вошедший прищурился от бьющего в глаза и обволакивающего зрачки желтого света, укрывающего взгляд одеялом, – коридор мерцал сепией. Прежде всего Фауст повернулся к зеркалу, поправил головной убор – что-то среднее между шляпой волшебника и ночным колпаком – и почесал бороду, которая выглядела уж как-то слишком... *неестественно*.

Вошедший рассматривал мерцающие желтым – наверное, думал он, из-за ламп, – глаза, слишком заspanные, со здоровенными синяками. Нет, это все *неправильно* – синяки могут быть у него, неидеального него, у Фауста их быть просто не может. Доктор должен выглядеть устало, но не настолько же – тем более игра уже началась. Сразу, как он шагнул за порог.

Говоря откровенно, игра не кончалась никогда.

С самого детства доктор Фауст был очень боязливым, но, в отличие от других детей, пугали его не те обыденные вещи, которые пулеметной очередью рожают страх в детских сердцах: темные комнаты, пауки, старые подвалы, фарфоровые куклы на бабушкиной антресоли... Фауст боялся чего-то неуловимого, странного, будто бы прячущегося в самих его поступках, решениях, – и только когда подрос, понял, что же это было за фантомное ощущение.

Фауст боялся прожить не такую жизнь, какую мог бы, а потому с ужасом принимал каждое решение,

опасаясь, что по своей глупости сделает все не так и не этак. Когда доктор открыл для себя местную библиотеку, этот лабиринт из шкафов, в которых чудовище с головой быка всегда заменяла сварливая библиотекарка – пусть голова у нее и была самая обычная, но с морщинистыми веками и гнилыми зубами, – Фауст стал пропадать там днями напролет, и его не то что за уши, буксиром оттуда вытянуть не получалось. Тут он глушил призрачный ужас на краю сознания: в книгах он находил героев, героев, жизнь которых казалась ему такой насыщенной и правильной, – читая, не надо было принимать колючие пугающие решения; достаточно просто наблюдать, как эти самые решения принимают персонажи, кусочки слов и букв на пожелтевшей бумаге – наблюдать, анализировать и, как ни парадоксально, бояться еще больше, понимая, что сам так точно не сможешь.

А потом Фауст, дойдя до одного из дальних шкафов, стоящих словно на границе с вражеским государством или, того пуще, с голодной преисподней, нашел там потерянный томик «Фауста».

И влюбился.

Доктор Фауст нашел для себя доктора Фауста, поняв: вот оно, вот так хочу и я, тоже хочу, чтобы *моя собственная* жизнь была *моей собственной*, такой же, как у Фауста. Получи все, отдав ничего – и, когда все кажется потерянным, сохрани свою душу. Фаусту, кстати, как читателю никогда не нравилась концовка – выходит, что за спиной у каждого летает ангел с дробовиком, готовый в нужный момент дать жару даже самому Князю Тьмы.

В те дни, зачитываясь Гете в пыльном зале библиотеки, за скрипящим столиком в свете слабой, болезненно моргающей лампы, Фауст наконец-то понял, как ему поступать, чтобы прожить именно свою жизнь, именно ту, которую хочется.

Спустя несколько лет в городе очень удачно появился Клуб Не Анонимных Литературных Героев, свалившись, как бидон воды в жаркой пустыне, – совершенно неожиданно, но очень к месту.

Режущий голову кривой мелодией скрипки скрип половиц отвлек Фауста от зеркала – доктор поправил бороду и повернулся в сторону лестницы.

– В следующий раз, – забасил спускающийся Толстяк, шагающий, словно ожившая статуя, ну, весу в нем было точно не меньше, – попробуй найти бороду *еще получше*. Она до сих пор не выглядит натуральной. И прекращай опаздывать. Это выбивается из образа...

– Ты говоришь мне это каждый раз, и каждая новая борода тебя все еще не устраивает, – пробубнил

Фауст, потеряв острый нос, которым хоть дырки в бумаге делай. – И вообще, кхм, «волшебник не приходит рано, и не...».

– Это Гэндальф, а не Мерлин или Фауст, когда же вы все это уже запомните. Давно пора начислить вам штрафные баллы. – Второй Толстяк из трех задумчиво почесал щеку, размерами походившую на спутник газового гиганта. – И вообще, с каких пор ты начал выходить из роли? Уж кто-кто, а ты такого себе никогда не позволял.

Фауст внезапно сделался серьезным – по лбу, как по столетнему дереву, поползли глубокие морщины. – Я цитировал, уважаемый председатель. Я даже пытался сделать так, чтобы мои кавычки, – он сделал характерный знак пальцами, – можно было отчетливо услышать. Вы правильно говорите, я не позволяю себе...

– Ладно-ладно, пойдем наверх, все уже заждались – Фролло вообще из тебя скоро будет бесов изгонять.

Доктор Фауст выдохнул – самым трудным всегда было становиться напористым и непоколебимым, когда под слоем всего маскарада жил мягкий комок, мечтающий о плеле, горячем чае и теплых батареях.

Они поднялись на второй этаж, где Фауст галантно скинул шляпу, обнажив лысину, обклеенную искусственными волосами, уселся, и очередное заседание Клуба Не Анонимных Литературных Героев продолжилось. Мерлина – со слов капитана Немо, «старого опоздуну» – дожидаться уже не стали.

– Я требую штрафных баллов доктору Фаусту, – заговорил первым Фролло, с серьезным видом изучая доктора. – Прежде всего, за опоздание и за слишком недостоверную бороду...

– Ваше святейшество, – отозвался Фауст. – Моя работа не терпит задержек и недоделок, поэтому я пришел, как только смог.

Священник фыркнул.

– Ваша *работа!* Да, именно работа, конечно же...

– Да правда, какая муха вас сегодня укусила! – отозвался, как всегда, добродушный доктор Джекил (пока еще без мистера Хайда), и, как всегда, на «вы» – из него эту привычку битой было не выбить. – Ворчите больше обычного. Неужто опять цыгане?..

Фролло тяжело вздохнул, закатил глаза и сказал, обращаясь словно к небесам:

– Я встретил *ее*.

– Боже! – Джейн Эйр, та самая, которая давно уже мисс Марпл, перекрестилась. Второй раз за день у нее как камень с души упал – хорошо, что это



не она, при ее-то привлекательности... легко жить, когда считаешь себя юной леди, разящей мужчин наповал, – какая разница, что там думают остальные, если у них мозги не на месте? – И что же это за бедняжка?

– Ее *глаза*... и *волосы*... – Фролло словно уже ушел в астрал, давно разговаривая с ангелами.

Джейн Эйр еще раз тяжело выдохнула – да, такого Рочестера она никогда бы не ждала; женщина... точнее, эм, чтобы без обид, *девушка*, поправила нашейный платочек – движение получилось как у мумии, да и та наверняка двигалась бодрее. Джейн ждала жениха, даже не догадываясь, что ее уже давно задался только мавзолеей или кунсткамера – на выбор.

– Прелестно! – рассмеялся капитан Немо. – Ты же наш старый ловелас. И как у тебя сил хватает? Помню, я как-то раз...

– Так, так, хватит, господа, хватит! – Второй Толстяк из трех вскочил из кресла – окружающее пространство второй раз за день затряслось, как желе. – Очень рад, что его святейшество отлично вжился в роль, это замечательно... Давайте к другим темам. Уважаемый Фауст...

Доктор вздрогнул – главное, все сделать правильно, главное, все сделать правильно...

– Как ваши успехи? – Толстяк сел.

– О, – откашлялся доктор. – Давеча, дня два назад, я завел себе пуделя...

– Надеюсь, черного? – хихикнула Джейн Эйр.

– Чернее, чем уголь моих глаз, – кивнул Фауст.

– Но... – Доктор Джекил (явно не ждавший сегодня в гости мистера Хайда) поправил круглые очки в тонкой оправе. – Если меня не подводят память, вы терпеть не могли собак? Я помню, когда Джейн Эйр привела...

Фауст всегда любил кошек и только кошек, мог часами гладить их и терпел все их наглые кошачьи выходки, а вот с собаками у него всю жизнь особо не клеилось: иной раз ему даже страшно было проходить мимо, безобидные песики почему-то казались концентрацией вселенского зла, которая оттяпает ногу в любой момент. Особенно те маленькие и бесконечно лающие на таких высоких тонах, что соседние стекла просто чудом не начинали трескаться, разлетаясь на осколки. Но недавно Фауст подумал, что... что он, *Фауст*, завел бы именно пса, уж для полной гармонии – большого смольно-черного пуделя.

В питомнике у доктора чуть не случился инфаркт, но он все же сделал это. Два дня каждая утренняя прогулка с новым питомцем превращалась

словно в променад по старому подвесному мосту над жерлом проснувшегося вулкана.

– Что за доктор Фауст без черного пуделя? – улыбнулся доктор, еле заметно вздрогнув и подумав при этом: «И что за я без доктора Фауста?..»

– Смотрите! – крикнул вдруг молчавший Гамлет. – За окном уж тучи набегали! Ох, не к добру все это. Помню, мой дядя, что нечестных правил...

– Успокойтесь, – подхватил Том Сойер, крутя в руках соломенную шляпу, сделанную мастером так, что она не налезала ни на чью другую голову. – Дождь – это просто дождь, вот если бы тут была река, на которую мы с Геком...

Тут Фролло, все это время молчавший и задумчиво смотревший в окно, где серые тучи смыкали свою пасть над небом, сказал, не отводя взгляд от окна: – Я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке... – Вновь затих и добавил: – И кофе твоих волос...

Все члены Клуба, особенно те, кто любили перечитывать французскую классику до посинения, разом замолчали.

Фаусту показалось, что в самом углу его зрачка мелькнуло что-то *яростно-фиолетовое* – уж не гроза ли?

– Эм... я думаю, время выпить! Всем освежающего, наваристого пива! – хлопнул в ладоши Толстяк-председатель.

Фауста накрыла волна блаженства – он душу дьяволу был готов продать за кружку холодного, освежающего и любимого темного пива и уже было открыл рот, чтобы выразить солидарность, но только вот... *Фауст* пива бы никогда не пил.

Доктор нахмурился, «*спокойно, ты поступаешь так, как правильно; то, чего ты хочешь – не так, неверно, а вот то, что сделал бы Фауст... другое дело.*»

– Вина, – вскинул руку Фауст. – Хорошего красного вина...

– Проследите, чтобы оно чудесным образом потекло из неподходящего для этого бочонка! – рассмеялся Том Сойер.

– А мне тогда... – задумалась Джейн Эйр. – Чаю!

Она знала – благородные леди пьют крепкие напитки только после шести вечера. На часах было без пяти шесть.

Толстяк вздохнул. Ну почему никогда нельзя обойтись просто пивом?

– Еще пожелания?

Фролло все молчал, серым взглядом смотря в окно: мелкий дождь, бусинами сыпаясь из набухших туч, падал на брусчатку, и капли его со зво-

ном отскакивали от окна, постепенно застилая не то обзор, не то взгляд мутной пеленой. Священник прошептал так тихо, что услышать его могли только ключья пыли и клопы, и то вооружившись слуховым аппаратом:

– Дитя мое, мучь меня одной рукой, но только ласкай другою...

Фауст отвлекся от шумного обсуждения выбора напитков, где каждый упрекал другого, что коньяк, видите ли, слишком крепок, а чай – вообще грудничковый напиток, истина в вине, зато в пиве счастье, и так далее. Доктор посмотрел на Фролло, гипнотически глядящего на мостовые, – Фаусту почудилось, что он увидел витающие вокруг обрывки слов и букв, словно их чернилами написали в воздухе, пустили в свободный полет, выдрав со страниц, – они собирались, как рой мух над лакомым кусочком.

Внутри у доктора Фауста щелкнуло – и это было не просто переключение внутреннего рубильника, а звук отпирающегося засова, выпускающего наружу старый детский страх, призрак холодного белого ужаса прожить жизнь не так, неправильно, не на полную катушку.

Фауст вздрогнул и отогнал это оскалившееся ощущение, как осу. Даром что не прибил – газеты под рукой не оказались.

\* \* \*

Вечер зажимал свои холодные объятья, ухмыляясь во весь беззубый рот ночного мрака, который уже маячил где-то на горизонте, шля первые приветы.

Вечера в городе обычно стояли бархатные и нежные, словно щадящие людей, – они порхали бабочками с темно-синими, фиолетовыми, голубыми, серыми крыльями. Такие вечера опускались плавно, не спеша, от них веяло мягким осенним пледом и бабушкиным вязанием, которое кажется таким бесполезным летом, зато зимой излучает спокойствие, тепло и свет, без которых жизнь превращается в осколок льда, такой же одинокий, холодный и безнадежный.

Этот же вечер был... *туганщим*.

Девушка уже сто раз прокляла себя за то, что надела платье – подола его из кремове-зеленых стали серыми, грязь пропитала ткань так сильно, что, казалось, стала с ней единой; платье словно покрасили ядом. Нижняя часть девушки будто постепенно становилась призраком или каменела, увидев в зеркале отражение разящего взгляда Вассилиска.

Дождь лил водопадом, стремительными потоками стекал вниз, закручивался и несся по улицам, размывая дороги и собираясь в такие глубокие лужи, что каждая была похожа на миниатюрное море, только кораблей и портов не хватало. Под серой матовой стеной падающих с неба капель не выдерживали даже зонты.

Девушка взмокла с головы до пят, так сильно, будто бы дождь шел внутри нее, а не снаружи; она уже даже не пыталась прятаться под зонтиком – лишь бы добежать до дома. Там она высушит черные, как крепкий кофе, кудри, просохнет, снимет грязное платье, нальет чашку чая и упадет в мягкую кровать, чтобы заснуть и поскорее забыть этот день.

А ведь раньше, в такие особо понурые вечера, они сидели, смеялись и пили кофе, и в воздухе пахло приторно-сладким – то ли из-за сигаретного дыма, плывущего от соседнего столика, то ли от счастья и смеха, которые согревали сами по себе, лучше любого свитера, даже присланного далекой тетушкой в подарок на день рождения, который обязательно выпадал на весну, но далеких тетушек такие вещи обычно не волнуют.

Вселенная, великая шутница, подслушала все эти мысли – дождь полил еще сильнее.

Девушка увидела впереди освещенное фонарем крыльцо под навесом. Рядом висела табличка, но девушка даже не стала читать ее – главное, что крыльцо было сухим, там можно переждать пик ливня.

Когда вода оказалась где-то там, за крыльцом, девушка кинула зонтик в сторону и выдохнула. На улице ни единого дурака не было, даже психи, наверное, смиренно сидели в своих белых шестых палатах – конечно, это только ее угораздило нестись домой побыстрее, потому что день и так выдался не ахти, все валилось из рук, разговоры не клеились, а теперь еще вот это все, небольшой апокалипсис специально для нее – ха, конечно! Как обычно: хочешь, чтобы побыстрее наступило завтра, но вчера, которое пока еще сегодня, решает растянуться мерзкой лакрицей.

«Надо было слушать все эти дурацкие гороскопы, – подумала девушка, взглядываясь в дождь и не видя там ничего, кроме, собственно, дождя. – Ладно, главное – ждать. Хуже уже не будет».

Уж сколько раз твердили миру, что вслух эту фразу говорить не стоит, – уши есть не только у стен, но и у всего мироздания в целом; если подумать, то все вокруг – это какое-никакое, а ухо вселенной, ну или хотя бы ушко.

Мир, вселенная, судьба – у нее много имен – всегда была той еще манерной мадам, и, когда по ней ударяли молотом, как по листу железа, который нужно выпрямить, она вздрагивала в ответ.

Вибрация ее могла перевернуть все с ног на голову.

Фонарь поблизости – путеводная звезда во всем этом великом потоке – замерцал. Девушка вгляделась в дождь – на этот раз там было что-то еще, кроме воды.

Это что-то двигалось.

– Эй! – крикнула девушка. – Эй, вы не промокли? Вам нужен зонт?

Вопрос получился абсолютно типичным и глупым, но ничего умнее девушка не придумала.

Ответа не было. Фонарь снова моргнул. Потом из-за серой пелены дождя, будто бы кто-то приложил влажные губы стеклу и зашептал, раздался голос:

– Именно плоть всегда губит душу...

– Простите?

– Я плюнул в лицо своему богу! Все для тебя, чаровница! Чтобы быть достойным твоего ада!

Все-таки прав был Гамлет – не стоит ждать ничего хорошего от дождя.

\* \* \*

Прикрытая ширмой из дождя, на город глазела полная луна, широко раскрыв свой мистический зрачок. Приглушенной желтой кляксой повиснув в черном дождливом небе, она пускала свет по узким улочкам, прикрывая то, что должно быть прикрито, и обнажая то, что должно быть обнажено. Ее матовое свечение туманом кралось по сонному городу, неся с собой безмолвные тайны.

Город засыпал – не разом, не целиком, а, как и любой другой, постепенно, не спеша, от одного погасшего света в окне к другому, и сон, жидкий, душистый, скользил от сознания к сознанию, вытворяя там все, что душе угодно.

О сознание Фауста он споткнулся – доктор не спал.

Фауст сидел за письменным столом и работал, исписывал листы бумаги карандашом, хотя в верхнем ящике лежала целая стая ручек. В углу мирно дремал черный пудель, и доктор периодически вздрагивал – ему казалось, что собака проснулась и, чего доброго, сейчас откусит ему ногу.

«Нет, все-таки надо было завести кошку... – подумал будто кто-то другой внутри Фауста, тут же получив пощечину от самого себя. – Нет, все правильно...»

Доктор зевнул. Ему стало не по себе от выпитого вина, которое он – точнее, не он, а тот, кем ему *не подобало* быть, – на дух не переносил. После вина мир становился похож на шаткий мыльный пузырь: один неверный шаг – и он лопнет, а ты полетишь в глубокую бездну без конца и края, а если дно все-таки есть, то там ждет невыносимая головная боль и густой мрак обморока.

Фауст помотал головой. Он должен работать...

Конечно, ночью он всегда предпочитал спать, как все нормальные люди, – закрывать глаза, как только в дремоту начинало стремительно утягивать. Но доктор Фауст... *доктор Фауст так никогда бы не сделал*. Он бы сидел и трудился всю ночь, пока организм сам бы не выключился, – и, проснувшись за столом, доктор проморгался и продолжил бы работу, карандашом по желтой бумаге...

Когда-то давно Фауст окончил химический институт, хотя никогда не планировал туда поступать – трудная дорога, почти что босиком по колючему шиповнику, с терновым – нет, стальным – венком на голове. Доктор проклинал большую половину предметов и преподавателей и, откровенно, ничего не понимал – в душе горел лишь маленький шарик облегчения, напевающий: «хорошо, что не медицинский». Но это был важный шаг на пути к правильной, к его идеальной жизни, но...

«Но ведь химия, – думал он, – почти то же самое, что алхимия. Значит, я должен... да, так будет лучше для меня».

И теперь, в вихрем налетающей ночи, вычерчивал формулы.

Сегодня доктора трясло. Он пытался взять себя в руки, но не мог, да что там, не мог даже понять, с чего это он так разнервничался: не то от вина, не то от особо мрачного Фролло, то ли день просто не задался – он постоянно читал гороскопы, хоть и не верил им, но это *он* не верил, а вот Фауст бы точно поверил... поэтому надо было обязательно читать: если верить звездам, точнее, тем, кто за эти звезды получает не менее звездные деньги, ничего хорошего сегодняшней день не нес. Так оно пока и выходило.

На самом деле доктору стало не по себе еще тогда, в прихожей Клуба, когда председатель сделал замечание насчет бороды – конечно, это мелочь, но вдруг все дело в ней? Вдруг из-за этой микроскопической оплошности все накроется медным тазом и ему снова придется нащупывать ту тропку, на которой он – уже не доктор Фауст – будет собой?

Его снова передернуло. Холодный детский ужас, давно уже успокоенный до не столь пугающего со-

стояния, призрачным кораблем всплыл вверх, в открытые воды сознания. Внутри скреблись злые кошки, только вместо когтей у них были арктические льды. Всплывшее ощущение медным шариком ударилось в мозг, нагло ухмыляясь, – и в этот момент предательский взгляд Фауста упал на фотографию в рамке, перевернутую лицом к стенке.

Рука автоматически потянулась следом, но доктор вовремя остановил себя – нет, *он* бы так не делал. Потому что любовь... погубила доктора, значит, погубит и его.

Фауст молча смотрел на рамку – лишь издевательски тикали настенные часы и посипывал спящий пудель.

Доктор все же развернул фотографию: на ней за запачканным стеклом улыбалась загорелая девушка с волосами цвета утреннего кофе – слишком крепкого, чтобы пить без молока. Когда-то – он так хотел забыть, что сам не помнил, когда именно, – Фауст влюбился не просто по уши, а по самые пятки, так сильно, что внутри все кипело, загоралось, словно кто-то поджег плантации и без того адски острых перцев-халапеньо. С ней он встретился случайно, в магазине, конечно же, книжном – тогда он уже не ходил в библиотеки. Они говорили, казалось, вечность, а потом ту же вечность, но чуть поменьше, пили чай, и мир отливал яростно-фиолетовым, веял сладостным ароматом, как ее духи – апельсин, ваниль и корица. Запах этот казался ему таким родным, таким правильным, что они часами проводили в кофейнях: он брал крепкий американо без молока, она – капучино, всегда с карамельным сиропом; он научил ее читать наискосок, а она его – находить в гороскопах крупички правды, как золото в мокром песке; правды, шутила она, там столь же мало. А мир все мерцал и мерцал неуловимым яростно-фиолетовым.

Потом он понял, что поступает не так – не так, как всегда планировал, не так, как доктор Фауст.

*Не так, как нужно, чтобы прожить правильную жизнь.*

И он забыл ее: сжег все мосты, обрубил все каналы так же стремительно, как срезают лишний груз с падающего воздушного шара, и в те минуты этим шаром был он сам – он, которого занесло в далекие острые пики гор, далеко за грозовые тучи. Там, где судьба, нужная судьба, правильная судьба, обязательно разобьется и со свистом полетит в пропасть...

Фауста снова передернуло. Холод внутри подобрался к горлу. Доктор развернул фотографию обратно и понял, что ему срочно нужно выпить – только так оно пройдет, отступит хотя бы на время.

Фауст полез в бар и загремел бутылками. Проснулся пудель, с любопытством приоткрыв один глаз. Доктор достал бутылку, стакан, плеснул коричневой жидкости, поднес ко рту, сделал глоток и...

Осознал, что это все *он* – доктор Фауст так никогда бы не сделал.

Фауст выплюнул напиток прямо на исписанные листы и вытер рот рукой.

– Да что ж это такое, – поставил он бутылку на место и посмотрел в окно на густую ночь.

Внезапно раздался крик – далекий и приглушенный, как затухающая спичка.

Доктор икнул, пудель – громко залаял. Доктор икнул еще раз.

В такую противную и мерзкую ночь, только оправившись от дождя, он бы никуда никогда не вышел из дома, тем более в сторону крика, потому что там обычно происходит самое страшное, там – эпицентр неприятностей. По крайней мере, так всегда говорят в газетах, но их, как известно, порой лучше не читать.

Вот только доктор Фауст сделал бы иначе.

Резко схватив с вешалки плащ, проверив бороду и накинув шляпу, доктор выбежал на улицу под лай пуделя, стараясь не обращать внимания на растущую внутри холодную пустоту, тянущую свои мерзкие тени-щупальца прямо к сознанию.

Дверь не закрылась – и черный пудель выбежал следом, казалось, совсем не отбрасывая тени.

\* \* \*

У Мерлина начинались проблемы с головой.

И не те, которые обычно вынуждают остальных косо поглядывать на человека и держать руку на двух заветных кнопках «03», а самые обычные, старческие – он просто начал много всего забывать. Например, забывать даты собраний Клуба или, еще хуже, забывать то, что врач должен принять его в другой день, а не сегодня, когда этот дождь решил двести его до чертиков...

Мерлин вцепился в зонт так сильно, будто бы тот не давал унести его ветром, канатом пришвартовывал к земле.

Вообще, память у Мерлина всегда была отменная – он работал лектором в университете и помнил такие подробности и промашки студентов, что им становилось дурно. Никто уже не помнил, как долго Мерлин преподает, а вот сам он *помнил*, но числа не называл, – многие студенты уже стали его коллегами, и теперь они вместе травили неприличные анекдоты на кафедре. По крайней мере, так



жизнь, которая будет правильной, ту жизнь, которую будет не страшно жить, ту жизнь, которая будет лишь его и только его, – по правильным стопам, по навигационным маякам доктора Фауста...

Холодный мрак внутри давно уже превратился в клубящийся пар, от которого хотелось кашлять, – проще задохнуться, чем терпеть это... Фауст перевел взгляд на Фролло – на Фролло, ставшего *настоящим Фролло*. Они, все они, примеряли на себя чужие судьбы, нося их, как костюмы на маскараде, бережно выглаживая перед каждым собранием и снова кладя на полку, – но иногда личины твердели, как цемент, как засохший клей; тогда, когда они сами давали им это сделать, когда слишком вживались, когда игра выходила за рамки и судьбе надоело, что с ней играют, – вот тогда она наносила ответный удар, сотрясала воздух, и костюм становился стальным чехлом, отодрать который было невозможно, и сам ты становился стальным чехлом лишь с голодной пустотой и воющим ужасом внутри – ужасом, что стал другим, потерял в себя в надежде...

*...В надежде быть правильным собой, в надежде правильной жизни, в надежде своей жизни...*

Судьба с удовольствием играет в игры, но только с условием, что победит – не иначе.

Мир вокруг загудел, звуки смешались в оркестр глухих музыкантов, и через эту симфонию далеким морским ураганом летел белый шум, губкой вобравший в себя голоса, хлюпанье воды, слезы и собственные мысли... В этом месиве доктор Фауст услышал вопрос, абсолютно точно обращенный к нему:

- Простите, не из греческих трагедий вы только что читали монолог?
- Что? – перепугался доктор, схватившись за голову.
- Я говорю, – повторил второй Толстяк из трех, – с тобой все в порядке? У тебя губы белые, и ты еле-еле на ногах стоишь... а еще твой черный пудель прибежал сюда – ты дверь, похоже, не закрыл. Ого, ты не говорил, что он такой здоровый!
- Я...

...Как Фауст, как Фауст, как Фауст – конечно, тропинка из тонкого льда, из-под которой на тебя смотрят пустые, обреченные глазницы; тропинка, что ведет к ледяному озеру, где непременно ждет он – он, тот холодный и пугающий страх, не умеющий играть в прятки.

Как Фауст, как Фауст, как Фауст... *получить все, чтобы потерять все.*

Уже не понимая, где люди, а где лишь бледные тени, каскады из слов; где его собственные мысли, где – чужие, а где – слова, разговоры, шум послед-

них капель дождя, доктор посмотрел на черного пуделя, будто растекающегося чернилами, и снова услышал вопрос, и снова – обращенный к нему:

– Что вам угодно? Честь представиться имею.

Тогда, сам не понимая, нашел он себя или потерял, доктор Фауст ответил:

В любом наряде буду я по праву  
Тоску существования сознавать.  
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы,  
И слишком юн, чтоб вовсе не желать.  
Что даст мне свет, чего я сам не знаю?  
«Смирй себя!» – Вот мудрость прописная,  
Извечный, нескончаемый припев,  
Которым с детства прожужжали уши,  
Нравоучительную этой сущью  
Нам всем до тошноты осточертев.  
Я утром просыпаюсь с содроганьем  
И чуть не плачу, зная наперед,  
Что день пройдет, глухой к моим желаньям,  
И в исполненье их не приведет...





# КОМНАТА



## ТАТЬЯНА СТОЯНОВА

Поэт, инициатор, вдохновитель и куратор литературных проектов и событий. Автор сборника стихотворений «Матрешка». Родилась в 1990 году в Нишине. Училась в Московском государственном университете печати. Публиковалась в «Литературной газете»,

журналах «Нижний Новгород», «Наше поколение», «Русская жизнь», альманахе «Я и все». Участник студии литературного творчества «Я и все» под руководством В.Д. Майорова. С 2014 года занимается продвижением современной русской литературы в издательстве «Реданция Елены Шубиной» (АСТ).

Никто из них не хотел жить со мной. Приходили на раз, на час, на день-ночь, на время. Я всегда оставалась одна. Дверь захлопывалась, и продолжалась моя жизнь, закапсулированная в жестком стенном каркасе. Без свидетелей и очевидцев простых будничных таинств: приготовить кофе, высушить волосы, проветрить комнату. Никто, кроме меня, не знал, как я складываю салфетки, в какой позе сплю, с какой скоростью печатаю. Никто не запоминал, какие сны мне снились. Никто не смотрел, как я перед сном стираю косметику.

Моя жизнь, оставленная во вчерашнем дне, рассыпалась и исчезала безвозвратно.

Тогда я поняла, что хочу, чтобы они смотрели.

Кто они? Неважно. Чужие люди, посторонние, случайные прохожие, незнакомые имена профилей, буквы в анонимных чатах. Кто-то должен был видеть каждый день моей жизни в мельчайших деталях и унести с собой в неведомую мне реальность ее крупинки: хоть под ногтями, хоть на подошвах ботинок. Главное – унести и сохранить.

Так я стала моделью вебкама.

Просто установила несколько камер в разных зонах своей квартиры, настроила трансляцию и с тех пор ни на минуту не забывала о ее существовании. Все в моей домашней жизни происходило как всегда, но перестало быть бессмысленным и ритуальным. Потому что не было ни дня, чтобы за мной не

присматривали, чтобы мне не задавали вопросы, не просили выполнить простые задания в общем чате или привате:

*почитай для меня, выпей со мной чай, полежи на диване и расскажи что-то, посмотри фильм, который смотрю я, засыпай, а я буду тебе играть свою музыку*

Там не было виртуального секса, не было раздеваний, не было эротических сцен, как во всех других комнатах ленты. Простая будничная жизнь, которую я делила с самыми разными людьми. Одна на десятки и сотни компьютерных экранов. Моя жизнь рассыпалась по рабочим столам и заставкам. Моя жизнь становилось осязаемой и размноженной. Прошлое перестало исчезать с наступлением утра, как только я открывала глаза и видела мигающий экран с сообщениями в чате в своей комнате.

*ты замечала, что не можешь проснуться без будильника?*

*каждый раз переключаешь его ровно на 3 минуты вперед?*

*я посчитала 😊*

*на этой неделе твой рекорд 9 таких переносов*

Я и не знала, какие мелочи и детали могут стать важными для тех, кто смотрит на тебя со стороны.

Ни один человек рядом со мной не был бы так точен и разнообразен. Размноженное в сотнях вариаций сознание стало моим соглядатаем. Свидетелем моего существования.

Я перестала мыслить себя как замкнутое пространство. Стала зависимой от зрачка камеры, который фасеточным зрением транслировал меня в чужие дома и навсегда оставлял там мои отпечатки. И я его полюбила – этот взгляд. Окончательно и бесповоротно.

\* \* \*

Ее звали Кайла, и она потеряла способность ходить. Большую часть времени лежала в постели, смотрела на меня. В привате она просила просто танцевать под музыку, которую включает.

*мы так похожи с тобой 😊*

*если бы не эта авария, я б так же...*

*сделай это за меня*

*сделай как будто ты это я*

*пусть сегодня будет сальса ❤️*

И я танцевала.

\* \* \*

Его звали Пабло. Год назад он потерял дочь. В первый наш разговор он заметил фотографии моего отца над рабочим столом.

*– Вы часто общаетесь?*

*– Нет. Отец умер.*

*– Не знаю, что я здесь делаю. Не могу спать. Скуучаю по ней.*

*– По кому?*

*– Дочка. Два года, как ее нет. Вчера посчитал.*

*– Сочувствую.*

*– Можно, я иногда буду читать тебе по ночам?*

*– Все, что скажешь?*

И я соглашалась. Засыпала под его испанские сказки для девочки, которой больше нет.

\* \* \*

Ее звали Настя, она жила с родителями и мечтала быть свободной. Подумывала стать моделью веб-кама – в традиционном, не моем смысле. Женщина для мужчин. Или женщин, неважно.

*а что если я буду лежать в красивом белье как все они*

*и включу управляемую игрушку?*

*М?*

*что скажешь?*

*и приятно, и полезно! 😊*

*как скоро я заработаю себе на квартиру, интересно?*

*– Не знаю, я здесь не затем, чтобы играть или зарабатывать)*

*– а зачем?*

*ты же все время получаешь токены*

*я же вижу*

.....

*– ...чтобы стать видимой*

*реальной*

*сохранить себя, что ли.*

*– ОМГ 🤖*

*как в видеоигре?*

*– Нет, как в видеофильме, который смотрит весь мир, но однажды дойдет до адресата, и он его будет пересматривать всю жизнь.*

\* \* \*

Кто был моим адресатом?

Я не знала и не запоминала никого из тех, кто скрывался за никами в списке пользователей в чате. Просто жила своей жизнью под прицелом нескольких камер и время от времени заглядывала в комментарии. Некоторые из них цепляли, и иногда мы ненадолго оставались один на один, чтобы потом снова вернуться в анонимную реальность.

Это было похоже на жизнь в доме со стеклянной стеной. Она граничила с залом ожидания, где люди приходят и уходят, мимоходом рассматривая тебя, а потом исчезают. Никто не задерживается надолго. Возвращаются и становятся твоими наблюдателями десятки из сотен, тысяч в многострочной безымянной толпе.

Но однажды я стала узнавать в ней одного и того же человека. У него был ник 7\_D\_War, и он комментировал мою жизнь каждый день. Сначала ненавязчиво, потом все чаще, заметней, так, что с какого-то момента я поняла, что живу под непрерывным присмотром. Он всегда был по ту сторону экрана и пристально наблюдал.

*Ты моешь посуду, а после этого просто стряхиваешь воду с рук, не вытираешь полотенцем.*

*Совсем как моя мама.*

//

*Ты пишешь заметки в книге всегда только черной ручкой, видимо, чтобы встроиться в текст – даже цветом? Покажи мне знаки на полях.*

//

*Мы оба с тобой выбираем фильм дольше, чем его смотрим.*

//

*Ты чаще ходишь курить, когда плохая погода, чем когда хорошая. Если за окном солнце, просто смо-*



*тришь и не прикуриваешь, вертишь зажигалку в руках. Не хочешь, чтобы дым мешал?*

//

*Я заметил, что в углу твоей комнаты лежат красные гантели, держу пари, они уже покрылись пылью. Зачем они тебе? Это точно не сувенир?*

//

*Твои губы опухают, когда ты читаешь то, что тебе интересно.*

//

*Я научу тебя правильно разделывать мясо, это надо делать с любовью. Ты слишком рассеянная в такие моменты.*

//

*Твоя кожа блестит, как лезвие ножа.*

Примерно через месяц после своего появления он написал:

*Я знаю, где ты живешь.*

Это меня испугало.

И я его заблокировала.

\*\*\*

В мире вебкама меня звали NikaHomeland. В списке пользователей в моей комнате было в среднем 300 человек. В общем чате он не раз спрашивал, кто я, и говорил, что должен найти и завоевать меня, потому что *женщину завоевывают так же, как землю.*

Он запомнил весь мой гардероб и набор посуды, рассмотрел все детали моего дома, вплоть до того, в каком порядке расставлены книги. Словно разобрал по запчастям занятный механизм.

Он комментировал все, на что смотрел, с маниакальной точностью.

Он хотел знать, видеть больше. Стать частью моей жизни.

Готов был за это заплатить, хотя я не выставяла такой опции. Он просто отправлял мне деньги, заваливал меня токенами и писал, что мне нужно купить на них для меня и моей однокомнатной квартиры.

Моя комната на границе с залом ожидания превратилась в игрушечный домик без крыши. А я была живой куклой, на которую кто-то смотрит сквозь лупу сверху вниз.

После первой блокировки он вновь появился, теперь под ником 77\_D\_War. Каждая новая блокировка добавляла семерку в набор цифр, но война в имени оставалась неизменной.

Кем он был? Бывшим военным? Парализованным сотрудником спецслужб? Мальчиком-затворником с болезненным воображением? Влюбленной домохозяйкой? Сумасшедшим? Я не знала.

\*\*\*

Стала бояться выходить из дома. Особенно после первого конверта в почтовом ящике – с моей потрепанной школьной фотографией и подписью *«Ты так похожа на папу»*. Там я сижу на детском стульчике перед стеной с Красавицей и Чудовищем, шурюю и смотрю на фотографа исподлобья, с недоумением, как будто не понимаю, зачем он навел на меня объектив. У меня был такой же снимок в семейном альбоме.

Перестала гулять по району, из двери подъезда – сразу в такси. Все покупки – доставкой. Код на двери, домофон, вторая дверь, новый замок. Хотелось чувствовать себя в безопасности, хотелось вернуться в то время, где никто не знает моего адреса, а мой дом – это анонимная комната, не вписанная ни в какую географию и систему координат.

Но когда ты решаешь жить на виду у всех и решаешь другим подглядывать в замочную скважину, ты должна быть готова к тому, что твой дом перестает быть крепостью.

Никто не будет тебя защищать.

Никто не будет фильтровать людей, смотрящих на тебя. Или принимаешь правила игры, или не играешь в нее вовсе. Ты должна быть готова, что однажды тот, кто подсматривает, захочет проникнуть в твой дом или твое тело. Захочет присвоить тебя себе.

\*\*\*

Чудище с черным глазом, вспучившим все лицо – словно зрачок расплылся в лопнувшее яйцо, – прячется за дверь, смотрит в жизнь мою, как в замок. Смотрит, как будто учит всю меня – назубок.

Там, под прицелом лупы – бабочкой на игле – я трепыхаюсь тщетно: трещины бью в стекле. Он отпечаток снимет, и перламутра след впишет штрихом последним – в мой неживой портрет.

\*\*\*

Коллекция моих фотографий. У него их были сотни, распечатывал и отправлял каждый день. Всегда приписывал на обороте: когда, где это было, какой он меня там видит.

В мире, где есть система распознавания лиц, поиск по изображению и снимок экрана, шансы остаться не найденной, не узнанной, безымянной равны нулю. Я могла составить карту своей жизни по этим фотографиям, могла изучить себя, как фоторобот преступника. В какой-то момент осознала,

что не понимаю, где я реальнее, здесь – или там. Вживую – или на экране, где мы все еще продолжаем играть в онлайн-прятки, пока я в одну из самых отчаянных ночей не оборвала все провода и не отключила трансляцию.

Я стала видеть во сне, как камера меня поглощает, всасывает мое тело черным вихрем и не захлебывается. Мне хочется выbleваться, освободиться от этой темноты, но нет, легче не становится. Не станет никогда, я уже не вызволю себя оттуда.

Я уже часть этой дыры.

Через месяц после первого письма с фотографией нашла у дверей своей квартиры набор инструментов для вскрытия замков с запиской: «Бьюсь об заклад, об этом ты не позаботилась».

А еще через неделю меня ждал там же набор ножей. Вскрыла футляр, из него посыпались мои искрошенные в мелкие куски фотографии. Руки задрожали, звон металла об пол вывел меня из оцепенения.

Я стала судорожно собирать вещи и решила купить билеты куда угодно, подальше отсюда, уже по дороге к аэропорту, в самом такси, чтобы не терять времени.

Пока выкатывала чемодан из комнаты, что-то мимолетно блеснуло в сумраке лестничной площадки. Обернувшись, я успела уловить только камуфляжный силуэт и смутно знакомое лицо, выплывшее от куда-то из прошлой жизни.

\* \* \*

ты знаешь мама  
маньяк тот самый мальчик  
из детского сада  
который собирал мою постель  
после тихого часа  
потому что я никогда  
не умела делать этого  
без единой складки  
терпеть не могла эти ровности  
поспи со мной рядом  
я не буду тебя больше душить  
тот самый правильный мальчик  
за которого ты мысленно  
выдала меня замуж  
в десятом классе  
потому что он был послушным  
не то что я потому что он носил за своей тетей  
тяжелые сумки с рынка  
не отходя от нее ни на шаг  
ты говорила мне  
смотри какой милый

26

какой работающий  
а я отворачивалась  
чтоб не видеть его глаза  
потому что знала  
они смотрят на меня  
из любой точки  
куда бы я ни шла  
тот самый отчаянный мальчик  
который стал солдатом  
и ходил в разведку  
в сгушавшихся сумерках  
бесшумно как зверь  
он и вправду был похож  
на затаившегося волка  
такие же желтые глаза  
такой же пружинистый шаг  
каждый миг готовый к прыжку  
я никого не хочу убивать  
говорил он и шурился  
от закатного солнца  
это мой долг  
я смотрю на тебя и вижу  
пустоту окопа  
разорванную цепь  
брошенное поле битвы  
я вижу смерть  
она ужасно похожа на любовь  
а кровь на сперму  
сила в моих руках и есть ласка  
неужели ты не поняла  
что такое настоящая страсть  
неужели ты не поняла  
что всё это весь этот ад  
вся эта резьба  
все это показное паскудство  
из-за тебя  
он говорил и говорил  
и плакал  
но я ничего не слышала  
мое тело пригвожденное  
ножом к земле остывало  
и ноги в коленях были  
по-стрекозьи вывернуты

*25 февраля 2020 – 31 августа 2021 года*



# СВЕТ ГОРИТ



АННА ПЕСТЕРЕВА

Журналист, обозреватель телеканала РБН. Родилась во Владивостоке, живет в Москве. Публиковалась в журнале «Дружба народов» и сборнике «Нан (не) родные». Участвует в проекте «Медленные чтения» на YouTube-канале НЛНВМ by ADHD Projects.

- В деревне ночами так темно, что нельзя рассмотреть собственную ладонь. Даже если поднести ее прямо к лицу – вот так. Смотри, смотри – вот так. Если кто-то отпилит тебе палец, ты даже не заметишь. Проснешься утром, а у кровати лужа крови. – Девчачий голос звучал глухо, нагонял ужас перед сном.
  - В темноте можно все подменить, и ты ничего не узнаешь. Проснешься, будешь думать, что твои вещи настоящие. – Второй голос не спешил, раскладывал слова. – Вещи настоящие, дом, в котором ты живешь, настоящий.
  - Мы настоящие.
  - Да, а на самом деле тебе все только кажется.
  - И родителей можно подменить? – Третий голосок вибрировал от волнения.
  - Конечно, все что угодно. Даже душу можно украсть. Скрипнула кровать – это, наверное, Ева заворочалась, навели страх на пятилетку:
  - Перестаньте! Вы специально меня пугаете!
  - Можно украсть судьбу!
  - И что тогда? Я умру?
  - Нет, ты будешь жить не свою жизнь.
  - А чью жизнь я буду жить?
  - Тебе достанутся чужие проблемы, а вор заберет всю твою радость.
  - Да! Это как за ужином все будут есть мороженое, а ты – оливки.
- Фу.
  - Всю жизнь есть только оливки.
  - Замолчите! Я все маме расскажу. – Голосок совсем истончился, обрывался на гласных.
- Данила резко открыл дверь от себя, и та заскребла разохшимся краем по деревянному полу. Визг и крики, комната встала на дыбы, казалось, стены, мебель, окна орали.
- Да замолчите вы! Спать пора, хватит. Иначе выключу ночник.
  - Нет, нет, не надо, пап!
  - Мы молчим, все!
  - Накажи их, папа!
- Данила пожалел младшую. Проследил, чтобы старшая – Маринка – и ее подруга, которая приехала в гости на неделю, укрылись одеялами и отвернулись каждая к своей стене. Когда скрип кровати замолк, он притворил дверь. Глупые девчонки, двенадцать лет – дурной возраст. Думают, что бесстрашные, а сами в одиночку до туалета пятнадцать метров добежать не могут. Данила вышел на крыльцо и закурил. Первый день в деревне после трех лет отсутствия. И еще весь август впереди.
- Небо было чистое, схваченное наискосок морозной коркой Млечного Пути. В конце улицы брехала собака. Почему-то в голову пришло именно это слово – «брехала». Казалось, всю жизнь можно было прожить так – рубить дрова, топить баню, вставать

с рассветом, купаться в речке, верить в страшилишки, смотреть на небо перед сном. Завтра они с девочками поедут кататься на квадроцикле по полям, Лида будет солить огурцы и готовить обед – тихое счастье, с мозолями на руках, с землей под ногтями. Приятно дышалось сырым и тяжелым из-за тягучего цветочного запаха воздухом. Данила закурил еще одну. Он подносил сигарету ко рту, и огонек между пальцами вспыхивал, будто рад был кому-то, а потом затухал, обозначившись.

Данила задрал голову и нашел созвездие Лебеда. Когда-то на крыльце дома читать звезды его научил дед. И всякий раз, оказавшись на этих скрипучих ступенях, Данила искал глазами знакомые точки на небе, будто бы сверяя часы. Деда уже нет. А Лебедь и он пока на месте.

Шея затекла, Данила покачал головой вправо, влево и заметил огонек. Свет был метрах в пятнадцати и находился на краю участка или сразу же за сетчатым забором. Может быть, это его сигарета отражается в стеклянной теплице? Данила поднял руку ко рту и затаился – напротив без движения. Не отблеск, значит, а что? «Наверное, светлячок», – подумал Данила и затушил сигарету. Огонек с той стороны продолжал светиться, раскачиваться вверх, вниз.

Данила зашел в дом, на кухне достал из холодильника кефир и сделал пару глотков прямо из бутылки. Спиной ощутил на себе взгляд – он помнил это чувство с самого детства. Старая, потускневшая икона Николая Угодника следила за ним. Ей, поговаривали, больше ста лет, вроде бы бабка принесла из храма, перед тем как тот разрушили. Она учила Данилу общаться со святыми, для этого люди изобрели специальный язык – церковнославянский. Данила никогда не был верующим, но 50-й псалом он запомнил. Его восхищали и пугали слова «возрадуются кости смиренные», «избави мя от кровей», «благоволиши жертву правды». Он неловко перекрестился, не сразу вспоминая, как это делается, выключил свет и выглянул во двор. Было темно. Только брехали собаки, и ветер носил их лай по деревне.

\* \* \*

В деревенском доме обжилось и никуда не хотело уходить прошлое. Оно пряталось то в запахах чердачной пыли и чего-то церковного от иконы, то в скрипе дверных петель, а иногда было совсем на виду. Вот отметины на дверном косяке – зарубки каждое лето вырезал ножом дед, когда измерял рост внука. На верхних полках шкафа лежали старые аль-

бомы – кирпичи памяти. Данила подхватил их неаккуратно, уронил – и прошлое высыпало на деревянный пол, упало под ноги десятками фотокарточек, залетело под стол. Выглядело так, словно дерево сбросило листья. И что теперь с этим делать? Данила сгреб фотографии в кучу, начал распахивать по ячейкам, путая года и сезоны.

Сама собой вернулась традиция оставаться на кухне после ужина и рассказывать истории. Так же было и в детстве Данилы – бабушка любила пугать его быличками. Разливала по чашкам горячий, прямо с плиты, кисель и заводила разговор. А наболтавшись вдоволь, заканчивала всегда так: «Наговорили с короб, набрались страху?» – и гнала его с дедом по кроватям. Теперь он занял ее место. Девчонки слушали жадно, хрустели чипсами. За городской едой ходили в местный магазин. Как и тридцать лет назад, там собиралась вся деревня. Старухи, не зная отдыха, разносили сплетни: взялся продукты в пакете поправить – и заслушался.

- Все, что в Библии написано, в точности исполняется. И про времена эти там есть. Про коронавирус этот, и про пекло летнее, и про пожары. Телевизор хоть не включай, – басила толстая старуха, занимавшая отдельную лавочку. Она время от времени ударяла об асфальт тростью – отбивала точки. – Там и про деревню нашу написано. Все-все в Библии есть.
- Скоро придет божий суд, – поддакивал бородатый дед. – Кто в городах живет – погибнут, а в деревне кое-кто и останется.
- Только бы не было голода. Боюсь я его, – причитала тощая.
- Слышали, анекдот был? «Я живу в Африке. Мы ходим голые и едим бананы». «Я живу в Москве. Если бы мы ели бананы, то тоже ходили бы голые», – засмеялся дед.

А вечером Данила вспоминал историю про деревенского оборотня. Она звучала в его голове бабушкиным голосом: «Повадился в деревню ходить из леса. Начали пропадать куры. На лисиц подумали, а потом нашли след свежий, так он с детскую ладонь размером. А тут на опушке в сумерках подслеповатая старуха увидела странное существо – похожее на человека, но с руками длинными до колен и волчьей мордой. Кто посмеивался, кто верил. А потом пропал мальчик. Днем ушел играть на опушку у дома, посыпал дождь, его мать к обеду ждет, а он не возвращается. Спихватилась, а нет нигде. Обегала все дома, добилась к председателю, тот мужиков ей дал, пошли в лес. Вернулись ни с чем. Все на оборотня подумали. Люди как не свои были. Мне то-

гда лет двенадцать исполнилось. Или тринадцать? Не помню. Я стала везде с тяпкой ходить, у ней край острый. Забежала вечером в баню одна – и слышу: топает кто-то. Я тяпку в руках сжала, думаю, сунет чудище голову в окно, я ее прочь. Оказалось, отец папиросы забыл. Хорошо хоть окрикнул сначала, а то бы так и осталась я сиротой».

А на следующий день как бы между прочим вспоминала: «Мальчика-то нашли, кстати. Три дня пропал в лесу, а на четвертый, как высветлило, на опушке сидит. Его грибки увидели и матери привели. Ни царапинки на теле, одежда чистая – дивно. Вывела мальчика нечистая сила на полянку и оставила. Мать-то обрадовалась, да рано было. Ребенка как подменили. Он ни слова не проронил, ходил, глазами грустными на нее заглядывал. Прожил еще три недели и умер».

Данила, как умел, пересказал эту историю девчонкам.

- От чего умер? – шепотом спросила Ева.
- Так неизвестно.
- Душу у него забрали, вот он и умер, – вклинилась Маринка.

Ева подумала несколько секунд и заревела. Пришлось усылать старшую с подружкой спать, а младшую успокаивать. Через час дома стало тихо, Лида вернулась из детской.

- Давай пока без страшилок на ночь, – сказала Лида. – У Евы не тот возраст еще.
- Данила спорить не стал.
- А это правда такой случай был? – спросила она.
- С мальчиком? Бабка говорила, что да. Даже имя называла какое-то...
- Не важно. Не хочу знать.
- Хорошо. Ты же не испугалась? Засыпай спокойно.

\* \* \*

Ночью Данилу разбудил стук в дверь – бух-бух-бух. Тяжелый, низкий звук отдавался в затылок, будто кто-то бил по голове через подушку. Подскочил с кровати, из сна сразу на ноги – комната поплыла, зашептала голосами. Это жена и дети искали в темноте друг друга, боялись.

- Давайте свет включим, – захныкала Ева.
- Данила запретил – они с улицы как на витрине будут. Приказал всем оставаться в комнате и пошел открывать гремящую дверь.

- Но в темноте страшно. – За спиной звенел голосок Евы. – Вдруг грабитель уже внутри и украл что-то важное? Вдруг он притворяется одним из нас?

29

Данила нащупал на кухне у раковины подставку для столовых приборов и достал оттуда хлебный нож – хоть что-то.

- Кто там? – заорал Данила, и дверь успокоилась вдруг, словно устала биться.
- Открывай, грю, – ответила пьяным голосом.

Скрип петель, в дом проникли ночь, запах влажной травы и перегар. На пороге стоял местный алкаш дядя Толя и немного раскачивался, схватившись за стену. Данила крикнул в дом: «Все нормально. Это сосед спьяну перепутал», – бахнул дверью и схватил дядю Толю за грудки.

- Ты что делаешь, черт?
- Тих-тих-тих, пусти. Я по делу.
- В два ночи? Ты охренел. Какое еще дело, дурак?
- Просили передать высь. Я че? Мне шклик дали, я согласился.
- Какую вещь?

Дядя Толя достал из кармана куртки что-то и сунул Даниле под нос.

- Я ничего брать не буду. Иди домой, проспись!
- Дядя Толя попытался пожать плечами, но Данила крепко держал лацканы его куртки.

– Мне скзли. Я человек чстный. Водку выпил, дело сладил. – И положил неверной рукой небольшой предмет на выступающую раму окна.

Данила постоял еще чуть-чуть и отпустил дядю Толю. Тот, потеряв точку опоры, свалился с крыльца на спину и выругался.

- Иди, иди. Скажи спасибо, что ничего не сломал, – прикрикнул Данила. А потом спустился и выпихнул незваного гостя со двора. На тычки не скупился, бил по ребрам, под лопатки, по бокам. Дядя Толя визгливо ругался.

- Че ты, че ты. Пнаедут из города. Заразы кусок. Тише, гврю.

Данила вернулся на порог и достал пачку сигарет, которую прятал за рамой на случай, если захочется ночью покурить. Взял зажигалку из того же тайника и в ее свете увидел предмет, оставленный дядей Толей. Это был спичечный коробок. Данила открыл его, внутри лежали обычные спички. Он зажег одну.

\* \* \*

На следующий день Лида с девчонками отправились на реку. Чтобы забыть тревожную ночь, придумали устроить деревенский девичник: дойти до воды и плести венки. Лида ругалась на Данилу все утро – зачем он рассказал вчера эту историю про мальчика? Ева боится, говорит, что нас кто-то под-

менит. Ерунда какая-то. Откуда она это взяла? Тут еще этот сосед-алкаш.

После шумных сборов Данила остался дома один. К часу дня пришли трое: первый – крупный, бритый ежиком, с потным лицом, второй – худой и вертлявый, третий – квадратный. Все в спортивных куртках, как из девяностых. Данила увидел их еще с улицы. Они шли, тяжело наступая на землю, как бы втаптывая следы. Калитка бахнула от удара. Данила пошел открывать.

– Поговорить надо, – сказала мясистое, потное лицо.

Данила попытался выйти к ним, его впихнули обратно и вошли на участок.

– А ты намеков не понимаешь? – спросил худой и вертлявый.

– Да все он понял. Сидит, нас ждет, да? – неприятно улыбнулся потный. – Ты давай быстро впитывай, что тебе говорят, нам тут базланить долго некогда. Это наша земля. Понял?

– Что? Что?

– Смотри, несообразительный какой, – переминался с ноги на ногу тощий.

– Вы кто вообще? Это... Это дом мой. Я тут еще рабёнком... ребёнком рос.

– Дом может быть чей угодно. А земля наша, – сказал тощий, кривляясь, выкручивая голову, по-совиному кладя ее на бок. – Может, ему того, поможешь додуматься? – спросил он у потного.

Тот качнул головой – пока не время, – достал из кармана сложенную в два раза бумажку и протянул ее Даниле. Это был документ собственности на землю. Участок якобы принадлежал некоему Гаспитарову Артуру Валерьевичу.

– Я запомнил эту фамилию. И вас запомнил. У вас будут проблемы.

– Мужик, мужик, мужик! Мужик, послушай сюда. Ты не понял, мы здесь проблема.

Квадратный, который весь разговор стоял в стороне, закурил и показал пальцем на дом:

– Ночи-то хороши сейчас на крыльце курить.

Данила вспомнил огонек на границе участка, который видел в первую ночь.

– Так это... Вы давно за нами следите?

– Собраться надо, вещи вывезти, – игнорируя Данилу, продолжал потный, – мы не звери, понимаем. Неделя у тебя есть. Потом не обижайся, тебя предупредили.

– Что? Что потом?

Они развернулись и пошли к калитке, все так же тяжело ступая.

– Что потом? – заорал Данила вне себя от ярости и бессилия.

– Места здесь нехорошие, пожары случаются часто, – сказал квадратный и кинул окуроч под ноги.

Данила застыл: он не мог ни о чем думать, не мог понять значения произошедшего, не мог заметить, что сухая трава затлела и начала дымить. Ощущение собственного тела ему вернул громкий удар по забору и какой-то далекий крик.

– Погоришь, дурень, – заорал сосед и бросился открывать летний водопровод.

Данила, почувствовав суету, присоединился к ней бессознательно. Когда возгорание потушили, на улице собрались зеваки. За их спинами вдалеке появились фигуры жены и детей, возвращавшихся с прогулки.

Менты ехали часов пять. Поскучали у уазика, поскучали во дворе, позадавали вопросы. «Сколько их было?», «Какого цвета куртка у главного?», «Имущество повредили какое-нибудь? То есть ничего не пропало? Может, разбили что?», «А где они стояли, покажите конкретно», «С акцентом говорили?», «Встаньте у места поджога, сейчас вас сфоткаю для протокола», «Вы сначала подпишите, прочитаете потом. У нас столько вызовов, не задерживайте».

– Так а что нам делать? – спросил Данила, когда полицейские садились в машину. – Они мне документ показывали. Он поддельный!

– Может, поддельный, а может, нет, – сказал один из ментов. Подумав, добавил: – А дома в округе и правда горят. Осторожней.

\* \* \*

Данила будто превратился в другого человека, сам себя не узнавал. Откуда-то появилась резкость в движениях, взгляд стал тяжелым, про такой бабка говорила «нет приветствия в глазах». Ночи пошли сплошь беспокойные: ветка в окно стукнула – кто-то ломится; машина с дороги посветила фарами – всполохи огня.

Жизнь в деревне стала в тягость. В магазин больше ездить не хотелось, там обсуждали их. Смотрели в упор – каждое движение на людской суд. Сочувствовали радостно. Вступали в разговор охотно, но близко не подходили, соблюдали дистанцию. Деревенские суеверные, считали, что неудачей можно заразиться, в них боролось любопытство с опасливостью.

Данила с Лидой теперь выходили во двор поговорить, чтобы не пугать детей. Жене он сказал, что какие-то хулиганы ворвались на участок и подожгли траву. Больше ничем не поделился, не смог. Но



стал готовить семью к скорому отъезду. Придумал в качестве предлога ремонт. И это бегство волновало Лиду сильнее всего – она чувствовала, что не хулиганы причиной тому, но не понимала, кто именно.

Хуже дела обстояли с Евой. Она уловила общую нервозность, стала плаксивой и капризной.

– Ты изменился, – вдруг сказала Даниле за завтраком, – я тебя не узнаю!

Ходила возбужденная, нервная. Ночами просыпалась, совсем не могла выносить темноты. Ева, кажется, болезненно восприняла историю про украденные души и каждое утро спрашивала маму и папу. – А что я вчера говорила вам на ночь? – И так про-веряла, ее ли это родители или подменные.

Евой надо было заняться, но не хватало сил. Лида успокаивала дочь, обнимала, держала на руках чаще обычного, но этого было мало. Данила чувствовал, нужно что-то сделать, но откладывал до возвращения в город – слишком много навалилось сразу. Евочка, потерпи.

Данила несколько раз с укором смотрел на Николая Угодника – как же ты допустил? Знакомая молитва застревала комом, стало противно говорить про «жертву правды». Что это значит? И какую жертву требуют боги? Тут еще вспомнилась деревенская байка – в прошлые времена хватало жути. Снова бабкиным голосом звучала история: «Пил дядь Вова горько. Сердце обмирало, как колотил жену и детей. А младшенькую любил. Ей всегда гостинец какой припасал, то конфету, то игрушку состругает по трезвому. А перед смертью-то он все на развозях был, но ее не обижал. Сыновей до крови бил, они в школу то с синяком, то прихрамывая идут. Ее и пальцем не трогал. Все-все любили девчонку: и мать, и братья, и даже старухи наши злущие. А потом она угорела. Дом вспыхнул и пропал в огне, пожарные приехали, а тушить-то уже нечего. Дым черный стоял, аж звезды заволокло. Вся деревня на улице – интересно. Рядом мать плачет, она к соседям в гости ходила. Вокруг дети. А дядь Вовы нет, решили, что с папироской уснул, вот и полыхнуло. Кинулись всех считать, а девочку найти не могут. Мать думала, что старший вынес, сыновья – что мать справилась. Когда поняли, соваться было уже поздно, дом весь занялся. Их, говорят, так и нашли вместе – дядь Вову и дочку, он во сне ее так крепко обхватил, что она не смогла выбраться. Правда, нет, а рассказывают. Ей лет пять было, когда все случилось». А на следующий день бабка возвращалась к истории: «Еще говорили, что это Сенька, – начинала с полуслова, – сред-

ний сын, ему больше всех доставалось. Он в школе плохо учился, отца этим раздражал. Говорят, это он после очередных побоев дом подпалил, только не знал, что сестра там осталась. Думал, ее мать с собой в гости взяла. А как выяснилось, он кинулся в дом, да деревенские не пустили. Он после этого в себя ушел, школу совсем забросил. Одни говорили – горюет, другие – вину чувствует». А потом подмигивала и переходила на полусшепот: «Ты же знаешь дядь Сенью?» И только тут Данила понимал, что она говорила о сельском пастухе, мужике угрюмом и нелюдимом. «Так это он?» – спрашивал Данила, и она отвечала одними глазами: «Да».

Когда он слушал эту историю в детстве, было чувство, что кто-то невидимый подходил близко, дул сзади на шею, пересчитывал позвонки – шекотно и жутко. Теперь – только тяжелый, как похмельный, страх за семью. Неизвестная девочка, погибшая в огне, была ровесницей Евы. Он запрещал себе думать дальше. Теперь они сами вот-вот станут деревенской байкой. Все ждали, чем разрешится ситуация. О том, что финал близится, знает он. Это каким-то странным образом чувствуют деревенские. Детей надо было вывозить как можно скорее. Данила собирался сделать это сразу же, но старая машина его, как назло, сломалась. Он отдал ее чинить местному мастеру, тот взялся да запил. Так прошло два дня из семи.

На третью ночь разыгрался ветер. Данила не мог уснуть и поплелся на кухню. Дежурно выглянул в окно – никого. Он нажал выключатель, но свет не зажегся. Еще и еще раз – лампочка перегорела? В коридоре тоже – сколько ни старайся, темно. Обрезали кабель? Данила выскочил на улицу и увидел, как от дерева, стоящего на границе участка, отломилась ветка и повисла на проводах. Черт, да что же такое! Данила выругался, достал пачку сигарет и закурил, смотря куда-то в темноту. Он вернулся в дом на цыпочках, стараясь не наступать на старые, скрипучие половицы, чтобы никого не разбудить. Почти дошел до спальни, когда увидел, что в детской комнате горит ночник. Как это? Данила заглянул в приоткрытую дверь, блики мерцали по стенам. Девчонки просыпались, терли глаза.

– Горим! – крикнул Данила.

\* \* \*

Желто-оранжевый свет притягивал, на него собиралась вся деревня. Кто в чем был, бежали скорее посмотреть, огонь съедает дом быстро, с треском раскусывал бревна, как куриные косточки. Было

красиво и страшно. Высыпали все, даже мать с младенцем вышла на улицу.

– Я кормила, а тут... – показывала она на огонь, а потом подхватывала ребенка руками, укачивала.

– Ой, да кто же поджег?

– Тушили в огороде надясь что-то. Потом приезжали менты, протокол составляли. Не поделили чего-то с кем-то. Городские, одно слово.

Клуб стариков из магазина и тут собрался вместе.

– Вот в Библии все, что написано, все исполняется. И до нас адское пламя добралось.

– Ой, как горит. Когда же пожарники будут? Скоро соседний дом займется.

– А куда им спешить? Знаешь, анекдот есть? Пьяный пожарник упал с 40-метровой пожарной лестницы, но остался невредим! Спасло то, что он поднялся только на вторую ступеньку.

Детей и жену, пересчитав буквально по головам, Данила услал на дальний край участка. А сам встал почти на границе огня. В доме остались мебель, запасы, которые крутила Лида, игрушки девочек, телевизор, холодильник, скрипучие кровати, старые фотографии, икона Николая Угодника, детство Данилы. Все это горело. Данила нащупал в кармане пачку сигарет и понял, что хочет закурить. Зажигалки не было, видимо, выронил где-то. Вдруг пришла идея прикурить от пожара. Как бы это было красиво. Он подбежал ближе и подпалил сигарету. Жена и дети заорали, в толпе возмущались: «Совсем отуманел, сейчас же подпалится».

Данила отошел назад, затыкнулся и запрокинул голову. Небо заволочло тучами, ни одной звезды не видно. Нет лебедя над головой. И дома нет. В голову сама собой пришла мелодия, а вместе с ней и слова. Данила запел себе под нос: «Дом стоит, свет горит. Из окна видно да-аль. Так откуда взяла-ась, печка-а-аль?»

Пожарные приехали поздно. Данила и не надеялся ни на что: все живы – и ладно. Он подошел к семье. Старшие успокаивали Лиду, которая размазывала сопли по щекам, как это делают дети. Даниле стало совсем плохо. Он обнял жену, успокоил девочку. Маленькая Ева сидела чуть поодаль ото всех и улыбалась. Данила сел рядом с ней на землю. Она обняла его за руку.

– Ты мой папа, – сказала она.

– Конечно, Ева, я твой папа.

– В темноте страшно. А тут свет на всю деревню, ничего не произойдет плохого, пока так светит.

Он обнял дочь за плечи и почувствовал, что сейчас заплачет.

– Вдруг погас ночник. – Ева говорила быстро, запинаясь. – А потом шаги в доме, дверь бухнула. Я испугалась, что всех вас у меня заберут.

– Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я обещаю.

– Папа, я так испугалась. Но я всех спасла. Я всех спасла, папа, – сказала Ева, вывернувшись из его объятий и стали смотреть под ноги. Она схватила с земли и протянула ему коробок спичек. Те самые, что оставил дядя Толя на оконной раме.

– Я подсмотрела, как мама делает, и научилась. Гляди! – Ева чиркнула спичкой о бок коробки несколько раз, и между ее пальцами загорелся свет.





# СТРАХ ПОД ТЕМПЕРАТУРОЙ



АЛИЯ ЗАНИРОВА

Родилась и выросла в Уфе. Живет в Санкт-Петербурге. Стихи пишет с сорока лет, прозу — с семидесяти. Одно из первых стихотворений «Хочу» было

написано для спектакля уфимской студии творческого развития имени Н. Хабенского, иронической сказки «Ха-ха-чу». Участница форума «Таврида» 2021 года.

Я боюсь утонуть в колыбели несбывшихся снов  
И увязнуть ногами в мягких перинах, выбираясь из жаркой кровати,  
Задохнуться под одеялом, сшитым крепкими нитками, не найти сил на вдох  
И не выбраться никогда из душных кровати объятий.  
Среди плюша и шерсти, в бреду возникших картин  
Не найти панадола, малины, лимона и воздуха,  
Среди плотных подушек и влажных от пота простынь  
Не найти бликов света дневного, не найти голоса.  
Собирая все силы, звать маму, но знать, что мой голос слаб,  
Пережить тишину между первым и вторым криком,  
Лежать одному, надеясь услышать шаг  
Вблизи моего лежащего тела липкого.  
Собирать силы долго и много, чтоб тихо позвать,  
Бесполезно позвать, чтоб меня никто не услышал.  
И беспомощно ждать.  
И становиться тише.  
Пережить одинокою ночью, когда жар в голове,  
Когда сухость во рту и в ступнях упрямый холод,  
Не согласный на одеяло и плед,  
Когда постель — причина, не повод.  
Но проснуться после полудня, узнав за окном  
Жизнь и шум, суету среди птичьего свиста.  
Слышать: люди из офисов мчатся к обеду бегом.  
Не притронуться: к завтраку, неаппетитно остывшему.  
Бледным, слабым, но все же дышать и жить,  
И хрипеть, и стонать, но все ж выдыхать слова.  
Не боюсь подняться в температурную высь.  
Я боюсь только ждать. И не дожидаться утра.

# ВЕРА. ОСЕНЬ



НАДЯ АЛЕНСЕЕВА  
Родилась в 1988 году в Подмосновье, живет в Москве. Прозаик, драматург, редактор. Выпускница литературной школы CWS, мастерских Даниэля Орлова, Елены Холмогоровой и Николая Ноляды. Публиковалась в сборниках

малой прозы «Вечеринка с нарликами», «Пашня», сборнике пьес «Близкие люди» и других. Лауреат международной премии для драматургов «Евразия-2021», участница слета молодых литераторов в Болдино и литературной смены «Таврида.Арт».

## Сентябрь

Угол кухонного стола заострился и прожег бедро сквозь ситцевую юбку.

Обернувшись, Вера спихнула солонку, запаянную крышкой-мельничкой, подарок невестки на юбилей. Звяк-звяк по полу. Ничего не просыпалось, разве что зашептались внутри белые крупы. На бытовке за окном бутылки тонули в листве и хватили горлышками воздух. Вера смяла лицо руками, обернулась к раковине. На сливе брызги моркови, рыбные кости. Не надев перчаток, она вычищала мусор и бросала в ведро, что стояло под мойкой, сгибаясь-разгибаясь с десятков раз вместо того, чтобы, как раньше, взять да и стряхнуть все ситечко разом.

Не выбрав последнюю толстую кость, спешно отерла руки о юбку, подошла к холодильнику, где в двери хранила «Звездочку». Банка-пуговица, сгущенная едкая стужа. «До мозгов пробирает», – говорила покойница-свекровь. Да где ж она? Холодильник разросся на глазах. Вера купила его детям на свадьбу, гордилась высотой под потолок, хоть и приходилось влезать на табурет, чтобы достать масло. Вера с молодости была энергичная, но мягкая. Заботливая без нажима. Не названивала сыну, когда тот пропадал по ночам, муж, Семен, спал, а она все выжидала у форточки. И работа его в техподдержке: со слов Зины, невестки, «в Анапу на

оклад не съездить», а ей, Вере, было приятно, что сын пешком ходит до офиса, спит по ночам. В школе ее любили, ученики, уже начавшие сесть, приводили своих дошколят к ней заниматься русским языком. Приработок к пенсии, что уходила целиком на семью. Квартплата, продукты, то, се, игрушки внуку «тихие», без пищалок. На звуки Егорчик стал пугливым, невестка сквозь зуб обвиняла в том Веру: мол, по ее недогляду испугала его во дворе чья-то. Осенью в сад хотели, да мальчик без разгону не мог и слова сказать, выходило так: «Гы-гы-гы-гы-гы-где папа?»

Вера свою вину не признавала, но и не отрицала. Получалось так, что с весны она все чаще выпадала из своего тела, а когда возвращалась, находила мир не то чтобы другим, но подсунувшим ей, Вере, что-то новенькое. Как то пятно на гольфике внуковых шорт, серым по желтому, оно широко растеклось. Вокруг никого, первый одуванчик застыл в траве, и Егорчик ревет – аж лицо стало бурое. С внуком условились «молчок», только с той прогулки жилка внутри нее, Веры, пришла в движение, затренькала, застучала.

– Бы-бы-бы-б-б-ба, закрой! – Возле еще саднящего под юбкой бедра Вера обнаружила белобрысую голову, ощутила груз на локте, держащем дверцу, сошурилась и вдруг услышала писк датчика.

Она захлопнула дверцу, едва не прищемив детские пальцы, что потянулись внутрь холодильника. Егорчик с воем и запинаящимися всхлипами убежал в комнату.

В квартире стемнело: пошел дождь.

\* \* \*

В начале лета ее ученики разъехались, и всю малышню развезли по дачам, так что Вере приходилось вспоминать игры, чуть ли не из тех, что проходила в пединституте, чтобы Егорчик не скучал. Дачу в Калужской области они с мужем давно продали – с его больным сердцем боялись, что по бездорожью не успеет скорая. Зря. Инфаркт свалил Семена разом прямо тут, в Чертаново, под грохот тележек «магазина у дома», куда Вера отправила его под Новый год. Саша, их единственный поздний ребенок, писал диплом и пропадал не то в общаге, не то у кого-то на квартире. Скорая подрулила к магазину быстро, да Семен был уже мертв. «Скоропостижно», – сказал врач, а Вера услышала взрыв. Муж так пакеты прозрачные взрывал: надует, зажмет в кулак – бабах! – и нет ни пакета, ни воздуха. Вера всегда дергалась: «Ну вот зачем ты?», – а он лишь хмыкал. С той зимы Вера праздники, кутерьму эту не жаловала. До появления Егорчика и елку не наряжали: с ребенком она восприняла застолье, куранты, мишуру как спектакль в ТЮЗе, растянувшийся на неделю. И ее руки больше не тряслись, развешивая игрушки: советские еще шишки с блестками, витые сосульки и шары, где утопали в сугробах избушки с колечками дыма из труб. Когда Егор начал ходить, Зина, ее молодая невестка, стесняясь, спросила: «Вер Васильна, не многовато на одну елку?» «Да ну! Половину перебьем!» – ответила Вера, чувствуя, что квартира ожила наконец.

- И что же он? Так и лежит?
- Конечно, пять дней температура не спадает, взад-назад неотложка, а толку-то?
- В стационар бы...
- Ему семьдесят, больше, кому нужен? Дети, и те померли. В дом престарелых только свезут если: внук приезжал, предлагал на учет поставить. Голова-то тоже уже...
- В нашу дурку? Интернат?
- Ну да, я же говорю. А он, вишь, не хочет, своя кровать ему.
- Что там хорошего, правда? Пару месяцев – и выносят.

Вера, закемарившая на лавке, подскочила, огляделась. Села обратно. Егорчик расковырял в сыром

песке яму, куда с разгоном летел самосвал, красный, подаренный ею. Разговор угас в подъезде, под стук каблучков по ступеням. Егорчик, вставший против солнца, показался Вере взрослым парнем. Вере стало неудобно спать с ним в одной комнате, как когда-то с сыном, который ворочался и постанывал под одеялом, прежде чем уснуть. «В дом престарелых, в нашу дурку», – закопошилось внутри ее седого, опрятного пучка. Вера зажмурилась, прижала руку к голове: ну, точно, напекло. Увидела перед собой Егорчика, белобрысого, пучеглазого, с рыжими от песка ладошками.

Они карабкались на третий этаж, так и не дождавшись лифта. В темноте Вера все оборачивалась на внука, перечислявшего ступеньки, почти не запинаясь. Правда, цифру семь он забывал, как всегда, а Вера подсказывала. В третий раз обернувшись, увидела тень над его верхней губой – упала, как первая щетина.

– Иди вперед!!!

– З-з-зачем?

– Затем, чтобы я тебя видела.

## Октябрь

Двери из массива, справленные еще Семеном, питали осеннюю слякоть и не помещались в косяки. Из шелки вился «пу-пу-пу-хр» сына. Потом этот тяжкий, злой вздох невестки, будто свою станцию проехала, теперь возвращаться не хотелось. Вздох которую ночь выбрасывал Веру из забытья. Она лежала на полуторной кровати, втиснув себя между простыней и туго натянутым, как завел еще муж, одеялом. Под шеей ее подушка отяжелела от пота (как бы не заплесневело перо?), ноги, наоборот, свело холодом. В таких случаях помогало одно – опустить ступни под горячий душ и, вытирая, размять полотенцем. Вера встала бесшумно, не потревожить бы Егорчика, его кровать мягко светилась возле окна. Во сне мальчик дышал ровно.

– Дверь закрой хотя бы нормально, – услышала Вера в коридоре.

– Да ладно, мать спит. Давай уже. Ну?

– Надень... Еще не хватало нам... Черт, задолбала коммуналка. – Зина вскинула голову, Вера, не выдохнув, затаилась.

В грязном ночном свете колыхались там, за дверью, Зинины спутанные волосы. Отдуваясь, она откидывала их назад и что-то прижимала, давила под собой тяжелыми руками. Спинка кровати мерно стучала о стену. Сына Вера не видела – он утонул под весом жены, ширококостной, плечистой. Та от-

Она захотела шагнуть  
в эту спальню, вытащить  
сына из-под груза,  
встряхнуть и разгладить,  
как смятую сорочку, но  
пошатнулась, схватилась  
за косяк.

фыркивалась от своих волос все чаще. Сегодня утром Вера вытащила моток этих волос с застрявшей в них пылью и мусором из слива ванны. Высушенными и уложенными, на голове невестки они отливали в медь, а в сливе казались серо-коричневыми.

Вера сглотнула, сжались и по-птичьи вцепились в пол ее вконец замерзшие пальцы. Она захотела шагнуть в эту спальню, вытащить сына из-под груза, встряхнуть и разгладить, как смятую сорочку, но пошатнулась, схватилась за косяк. Скрипнул паркет, дверь раскрылась шире. «А!» – услышала Вера на резком выдохе и, следом, как гул поезда, «у-у-у-м». Из спальни запахло сырым мясом.

\* \* \*

В середине месяца Зину повысили до старшей смены. В «Пятачке», где она раньше сидела на кассе и с изможденным видом тянулась под потолок к коробу с сигаретами, приговаривая про себя «чтоб ты задохся», теперь выделили ей место в подсобке без окон, с диодной лампой. Лампа дрожала и мигала, зато Зина могла закрыться на ключ, позвонить маме и рассказать, что учудила ее ученая свекровь. Разговоры длились смену напролет. Зину звали в зал к покупателям, она выплывала из двери, придерживая пухлой рукой планшет, для виду стучала ногтем по экрану и, не поднимая головы, спрашивала: «Ну что такое?», словно покупатель с чеком наготове ей в дверь квартиры позвонил. «Мусик, говорю, давай уже отбой – убегаю, отпросилась пораньше, – возвратилась Зина к оставленной трубке. – Что? Да, отказалась вести к логопеду, представляешь? Вам, григ, сколько ни делай, все не так... И деньги, главное, я думала, все-таки из-за нее все пошло... Не! Ни копейки не положила на лечение. И сама

к неврологу тому, твоему, ага, наотрез. Ладно, ма. Все. А то сейчас опять притащится кто. Развоняется». Зина, втянув живот, уже дергала собачку на молнии высокого сапога.

Раньше Зина думала, отчего Вера одна мается. Уютная такая тетка. Даже хотела найти для све-крови какого «мужичка» (тайком от матери). С рождением Егорчика отказывалась от помощи своих, целиком положившись на «Верину педагогику». Года два толком своим не звонила, а те не спешили ездить из Сокольников. «Вера твоя мягко стелет, жестко спит. Увидишь еще». Когда же это было? В марте, юбилей справляли?

И сегодня утром Зина увидела. Лицо Веры осунулось, губы в нитку, молчит. И руки синие в венах – ее сына за плечо схватили. Тот хотел обнять ее, Зину, и застрял в решетке этих рук, не пролез. Егорчик говорил, «ба» в холодильник подолгу глядит или на плиту. Включит и стоит. Так ведь и дом спалить недолго...

«Что же там мама-то сказала – есть интернат в нашем районе?» Обходя лужу, Зина остановилась. Одно дело матери поддакивать, другое – мужу предложить сдать мать родную. «Вся пенсия будет им, конечно. Но квартира-то, квартира – ты подумай, послушай мать... Тебе второго пора». Зина остановилась и даже зонт закрыла, чтобы прочесть свои же мысли.

\* \* \*

«Б-б-а, б-б-а», – там, внутри кабинета, среди плакатов с пещерами-ртами, Егорчик звуками давился. Аж слезы текли. Зина за дверью вздрагивала и приказывала себе успокоиться. В брошюрах, разложенных веером в приемной, говорилось: такой возраст, заикание поправимо, новые методики, нервы... С мокрого раскрытого зонтика капало на пол, подросток напротив глядел на ее ноги. Пахло спиртом. Сбежать бы из этого коридора потных окон и пластиковых папоротников. Наконец, придерживая ее сына, вышел врач.

- Что сказать, есть прогресс, да, но тут рекомендуется регулярность, и психолога подключать, да.
- Зачем психолога? – Стоя, Зина прижимала сына к бедру и пяtilась к выходу.
- Сильный стресс, по итогам обследования, да, можно предположить, так как речевой апп...
- Я не понимаю.
- Он боится.
- Чего?



Вера прислонила чашку к виску, тепло зашевелилось, убаюкало ее жилку, но не сняло спазм, не дошло до ступней. Она не помнила таких вьюг в ноябре. Она не знала, куда подевалась вся осень и отчего ее как будто нет на этой кухне.

езжая в общагу физтеха, всю эту мешанину рук и головы он оставил на старой кушетке. Или не совсем.

На месте кушетки теперь детская кровать (из «Икеи»), спал Егорчик. Вернувшись с работы, где засиделся допоздна, Саша быстро разулся, прошел по коридору – проверить сына. Синие отсветы от телевизора, который смотрела мать на кухне, проскальзывали по рукам Саши, путая мысли, подмешивая вопросы. «Когда это мы перестали говорить с мамой? Какой у нее хоть голос?» – не вспомнить. Мамино «Са-ашенька» взрезал Зинин напор и хрипотца: «Саш!» Как незаметно Зина стала за обеих: болтала, знала, где что в доме лежит, наливая суп, говорила между прочим, что в интернате старикам веселее, там с «ними», с «такими», пообщаются.

Раньше мать была занята в школе, а теперь Саша постоянно натякался на нее, и ее губы, вытянутые в нитку, не располагали к разговору. Разве что вот эту неделю, когда Зина, уходя на работу, выкручивала пробки, мать жаловалась Саше, что ее выживают, называя его Семеном. Саша хмурился, переводил разговор на сына:

- Егорчик ел?
- Да, – отвечала мать, возвращался ее учительский тон.
- А днем спал?
- Жену свою спроси, у нее сегодня выходной был.

Еще в мае, когда праздновали день рождения жены, мать называла ее Зиной, он точно помнил. «Их осенью клинит, погодите: смывать перестанет

за собой, а то вообще, где туалет, забудет. – Вчера теща позвонила уже не Зине, а прямо ему. – Саш, она, конечно, мать тебе, я понимаю, но Егорчик там, с ней... Ты подумай».

Во дворе скрипнули тормоза машины, фары осветили лицо Егорчика, захватили кусок стены над ним. Егорчик засопел, сбил одеяло к ногам, скрутив жгутом. Вспыхнула над ним фотография матери с отцом в молодости. В широкополых шляпах, мать в бусах, у отца сигара гаванская, картонные пальмы за спиной. Фотография выцвела, а их глаза – нет. На юбилее мать говорила, подвыпив, что тогда Саша в «Артеке» был, а они с отцом «раздухарились», едва ему брата не сделали. Потом перевезли из деревни бабушку после инсульта, и о втором речи не стало. Седина пошла.

Саша шагнул в комнату, собираясь укрыть Егорчика потеплее. «Я договорилась с кем надо, приплатила чуток, вам с нее – только заявление взять, ну, уговорите как-нибудь, что ли. Да! И осмотр пройти. Но это формальность. Саш, але? Слы-ши-шь меня?» Вспомнилось, как теща понизила голос. Доверительно так. Саша постоял над сыном, обхватив себя руками крест-накрест, и вышел из комнаты.

\* \* \*

В окне напротив толпились огни, плясали гирлянды, под потолком болтался десяток воздушных шаров. Дорогих, с металлическим блеском. За столом перед Верой сидел закутанный в ее старую шаль Егорчик и водил высохшим фломастером по листу. Вжик-вжик! Пахло сгоревшим луком, из форточки сквозило по ногам, и снег, мелкий, как соль, насыпал на подоконнике горку. Он все нашептывал, о чем-то напоминал. Вера прислонила чашку к виску, тепло зашевелилось, убаюкало ее жилку, но не сняло спазм, не дошло до ступней. Она не помнила таких вьюг в ноябре. Она не знала, куда подевалась вся осень и отчего ее как будто нет на этой кухне.

Зина напевала, шлепала тапками по полу и, словно осталась наконец одна дома, с грохотом швыряла в мойку вилки, ложки, тарелки, не стряхнув в ведро остатки обеда.

- Зина, прошу тебя!
- Ну что такое?
- Что? – Вера почувствовала усталость. – Да так... Поаккуратнее бы... С тарелками.
- Пффф, новые купим! Тошно видеть эти розочки, не то что есть с них. И тяжеленные. Вот кружка эта – убить такой можно, не дай бог на ребенка уронить.



Егорчик поднял голову, фломастер закрипел живее, из нарисованной трубы колечками выскочил дым.

- Вот когда купите, тогда и выбросим.
- Да? Вообще, вы бы собирались уже, что ли. Там очередь небось: бабки сидят как привинченные у всех кабинетов. Надо было нам раньше, конечно, блин. – Зина осеклась.
- Б-блин! – вторил матери Егорчик. Он теперь заикался, только когда повторял новые слова за старшими: психолог обещал, что это пройдет, как и те сны про птиц.

Вера отставила чашку, сугроб на подоконнике еще вырос. Стука ботинками, сминая и расправляя коврик, вошел Саша. Егорчик бросил рисунок, побежал встречать, лист перевернуло, сдуло на пол.

Вера смотрела на сына не выходя из-за стола. Тот в прихожей что-то говорил Егорчику и бесконечно долго расшнуровывал ботинки. Не здороваясь с ней, сын прошел в ванную, вымыл руки, еще раз прошел мимо туда и сюда под болтовню Егорчика. «Вер Васильна, полис, паспорт, пенсионное взяли? Егор, уйди из-под ног, – засуетилась Зина, снова став пухленькой, скромной. – Саш, на вот сумку возьми еще эту сразу. Белье там, мусик говорит, сразу лучше». «Чтобы не возвращаться», – пояснил ее взгляд.

- Саша, что же не здороваешься? – Вера вышла из-за стола.
- Ма, не начинай.
- Посмотрите лучше вещи. На первое время хватит? – Зина опустила глаза.
- «Пару месяцев – и выносят», – услышала Вера из черноты подъезда.

Зина терла кухонное полотенце, на котором не было пятна. Отвела Сашу в сторону, пихнула ему заявление распечатанное, сложенное пополам, текстом, печатями внутрь, погладила по руке. Мягко, вкрадчиво.

- Егорчик? Обнимешь бабушку?
- Вера тронула белобрысую голову. Мальчик высвободился.
- Ба, уходи в п-престарелый! – И, увидев усмешку матери, повторил: – В п-престарелый дом.

Перед зеркалом Вера заправила блузку в юбку. В синем оконном стекле отражался холодильник, возле него вздрагивал, как подбитая капуста, рисунок. Вера перевернула лист мертвыми пальцами. Возле красного домика стоят трое, черточками рук зацепились: мать, отец и сын.

# СТРАХОЛОВ



ПОЛИНА ЖАНДАРМОВА  
Родилась в 1990 году.  
Окончила Белгородский  
государственный национальный  
исследовательский университет,  
биолого-химический факультет, живет

в Белгороде. Участник  
мастерской прозы в рамках  
образовательного форума  
«Таврида». Автор поэтических  
и прозаических сюжетов в жанре  
городского фэнтези.

*«Есть работа».*

Экран мобильного телефона мигнул, разогнав окружающий полумрак, комната наполнилась резким дребезжащим звуком, пространство возмущенно качнулось, но через мгновение все успокоилось. Марк Меров, мастер гильдии ловцов, а в миру – консультант отдела по работе с обращениями граждан крупнейшей энергетической корпорации «КОРС», протянул руку, нащупал телефон и, щурясь, прочитал сообщение. Холодный свет экрана ударил по глазам, вызвав в теле волну раздражения. Марк никак не мог привыкнуть к устройству современного мира. Прогресс, технологии, Сеть – все это невероятно раздражало того, кто видел закат Великой Римской империи и первые походы крестоносцев. Слишком много суеты и хаоса. Слишком мало истины и смыслов. И он был не один в своих убеждениях. Вся гильдия со скрипом, как колесо у старой телеги, переходила на современный уклад жизни. И, как бы ни старались кураторы, нет-нет да и появлялся какой-нибудь прокол, который тут же подхватывали современные газетчики, растягивали все по своим страницам в электронном пространстве и несколько дней бурлили и фонтанировали идеями и предположениями. Впрочем, довольно быстро находилась очередная «сенсация», и о проколе, как правило, забывали. Люди, конечно же, забывали. А вот кураторы подобного не прощали. И в луч-

шем случае накидывали срок отработки повинности, а в худшем – возвращали назад, на ту сторону Леты. Назад Марк не хотел. Поэтому изо всех сил старался подстроиться под стремительно меняющийся мир людей.

«Выезжаю», – медленно набрал на экране Марк и отправил ответ. После чего положил телефон обратно и встал с кровати. Огромный рыжий кот лениво приоткрыл один глаз, наблюдая, как хозяин кладет телефон на тумбочку.

– Мау?

– Да, время охоты, – ответил Марк, разминая плечи.

– Ма-ау? – продолжил свой «допрос» кот.

– Нет, ты сегодня остаешься дома. – Мастер почесал питомца за ухом.

– Мау! – обиженно фыркнул кот и отвернулся, демонстрируя полное равнодушие к хозяину и его проблемам.

Марк усмехнулся и еще пару раз провел ладонью по рыжему загривку. Затем подошел к шкафу, быстро оделся и вернулся за телефоном. Внимательно глядя в электронные буквы, Марк еще раз перечитал сообщение с координатами, подхватил с пола рюкзак, закинул на плечо и, оглядев напоследок комнату, двинулся к выходу.

Лифт спустил его с тридцать второго этажа на грешную землю. На выходе пожилой консьерж приветливо улыбнулся:



– Добрый вечер. Вернулись из командировки? Давненько я вас не видел!

Марк натянуто улыбнулся в ответ:

– Да, недавно вернулся. Важное дело.

Консьерж понимающе кивнул и снова сосредоточился на мониторе. Марк вышел на улицу. Он хотел бы объяснить старику, что последние три недели, пока все думали, что он в командировке, Марк сидел в логове и читал, восстанавливая силы после прошлой охоты. Что если бы не необходимость отрабатывать повинность, он бы вообще не возвращался из этой «командировки». Сидел и дальше на полу у окна с книгой в руках, читал, читал, снова читал до наступления темноты. А после – заваривал чай и вглядывался в ночное небо до первых признаков рассвета. Периодически заказывал коту корм с пометкой «доставить до двери». Не встречался бы с толпами людей. И, самое главное, не вникал в их страхи. От последнего Марка воротило сильнее, чем от достижений научной человеческой мысли. Но ничего с этим поделать он не мог. Марк был страхоловом. Охотником и избавителем людских душ от мерзких паразитов – присос. Забираясь в затуманенное тревогой сознание, эти твари начинали кормиться опасениями, паникой и ужасом. И, раздуваясь все сильнее, заполняли собой все пространство в груди несчастного. И заставляли, заставляли и снова заставляли человеческий мозг рожать жуткие образы, мысли, сомнения – все что угодно, лишь бы были адреналин и истерия. А он, охотник, Мастер, возвращенный с того берега Леты – реки Забвения, отрабатывал повинность перед миром, избавляя ничего не подозревающих людей от этой потусторонней заразы. Почти полторы тысячи лет он шел по следам рожденных Бездной монстров, вступал с ними в бой и выходил победителем. И все ради одной-единственной цели – получить когда-то освобождение от повинности, отпущение и второй шанс на лучшую человеческую жизнь.

Марк сделал глубокий вдох – ноябрьский воздух был настолько густым и влажным, что казалось, при желании можно зачерпнуть ладонями и попробовать на вкус. Опустившиеся на город сумерки сгладили острые углы, тени заполнили пространство, сделав его размытым и обтекаемым. Люди, спешащие кто куда, выбрасывали в окружающий мир волны напряжения и тревоги. Эмоции перекачивались, наслаивались друг на друга, смешивались и разбивались о редкие островки счастья и радости. А потом все повторялось снова. Марк дрейфовал в этом потоке чувств, медленно продвигаясь к своей цели. Он так и не научился пользоваться навигатором. Поэтому

те координаты, что прислал в сообщении заботливый куратор, мало о чем ему говорили. Гораздо больше информации он черпал из тонкого, едва уловимого следа. Вместе с буквами – электронным набором светящихся точек – куратор отправил Марку незримый ориентир, отсвет несчастной души, порабощенной, добравшейся до самой грани этого берега Ахерона. И сейчас именно он вел охотника вперед. Метро, темный парк с борцами за здоровый образ жизни и толпами собачников, пустырь, аллея с кое-где выбитой тротуарной плиткой и грязными лужами. Марк шел, постепенно чувствуя, как сосредоточенное оцепенение и напряженный ход по следу сменяются древним, как мир, охотничьим инстинктом. До конечной точки оставалась еще половина пути. Но охотник уже видел перед собой лицо несчастной – девушка, такая молодая. Сколько ей? Двадцать пять? Тридцать? Живет одна. Мать в другом городе. Семьи нет. Детей нет. Друзей тоже нет. Полное, беспросветное одиночество. С работы уволилась два месяца назад. С тех пор ни разу не выходила из квартиры. Марк подавил тяжелый вздох – с одной стороны, он понимал ее желание сидеть в логове, никуда не высовываясь. При этом она – человек. И без общения миг станет легкой добычей для всяких существей. Что, судя по всему, и произошло. Образ, пока еще смутный и неясный, с каждым мгновением становился все четче. Серые, уставшие от жизни глаза. Светлые, но уже поседевшие волосы. Глубокие даже не морщины – заломы на лице и темные тени под глазами. Она была истощена. Она устала. Она хотела одного – закончить эти мучения раз и навсегда. Избавиться от всеобъемлющего, обездвиживающего ужаса любой ценой. Даже ценой собственной жизни.

– Я уже близко, – прошептал Марк в темноту и ускорил шаг.

Войти в подъезд не составило труда – магнитный замок давно был выломан. Лифт не работал. Прокуранный грязный подъезд кишел разными потусторонними тваренышами. Марк не обратил на них внимания – так, не представляющие опасности для людей ошметки истинных теней. Противные, но безвредные. Путь по лестнице до пятого этажа прошел в полной тишине. Пространство замерло. Затихло, настороженно наблюдая за крадущимся охотником. Дверной звонок разразился неистовой трелью, едва Марк прикоснулся к пластиковой кнопке. Охотник поморщился – он не любил резкие звуки. Дверь открылась нехотя, с противным скрипом. Отчего Марк снова стиснул зубы. Он любил тишину.

– Вы санитар? – В приоткрывшейся щели, перечеркнутой посередине металлической цепоч-

кой, появилась половина женского лица. Вторая оставалась скрыта дверью. Один глаз. Одна впалая щека. Остальное – лоб, нос, подбородок – располовиненное стеной и дверным косяком.

– Нет, – ответил охотник, вглядываясь в мрачные недра квартиры, оценивая обстановку и уже примеряясь, откуда удобнее шагнуть в пасть к Бездне.

Марку не надо было смотреть на жертву, чтобы видеть тьму в ее груди. Огромная черная пульсирующая тварь ворочалась в тесном человеческом подреберье. Она лоснилась сытостью и удовольствием от получаемой энергии. Она жрала истрепанную душу заживо, ничуть не боясь, что питательный адреналин прекратит поступать в кровь жертвы. Она была тупа, ведомая лишь первобытным голодом, а потому не понимала, насколько близка ее жертва к краю. К той самой грани, вернуться из-за которой удастся не всем. А тот, кто возвращается, столетия после задается вопросом: а стоило ли оно того?

– Врач? Психиатр? – Все тот же напряженный голос вырвал Марка из собственных рассуждений. – Вас прислала моя мать? Соседи?

Паника. Марк почувствовал, как в воздухе плотными щупальцами закручиваются сквозняки Бездны. Как они обвивают хрупкие запястья, накручиваются тугими кольцами, просачиваются сквозь тонкую сероватую кожу ничего не подозревающей жертвы. Как по телу присосы пробегает восторженный импульс, и кольчатые сегменты начинают судорожно сокращаться в такт учащающимся ударам сердца девушки. Как в кровавое русло выбрасывается первая доза адреналина.

– Я из службы поддержки, – постарался как можно спокойнее ответить Марк. – Меня прислали в ответ на ваше обращение. Проверить.

На половинчатом лице отразилось замешательство. Охваченный паникой мозг не мог с ходу вспомнить, куда его хозяйка обращалась. Марку надоело стоять на лестничной клетке, и он устало проговорил:

– Уважаемая, на дворе почти ночь, давайте уже займемся решением вашей проблемы.

Он прислонился к дверному косяку и исподлобья поглядел на девушку. Та окончательно растерялась и, переминаясь с ноги на ногу, пыталась сориентироваться.

– Я вам помогу. Снимаете цепочку, открываете дверь и говорите что-то вроде «проходите, пожалуйста». Можно еще сказать, чтобы я следовал за вами. Или, на худой конец, обычное «входите». Не так вежливо, но тоже подойдет.

Девушка замерла, стараясь сосредоточиться и наконец принять решение.

– Меня котик дома ждет. – Марк добавил пару жалобных ноток в голос. – А начальство ругает за каждый провал, понимаете?

Девушка прекрасно понимала. Марк это считывал в пульсирующей ауре. Еще немного – и она впустил его. А дальше останется дело за малым – освободить носителя, сдать присосу на взвешивание, получить плату и вернуться к книгам и коту. Но у паразита на этот вечер были другие планы. Присоса съезжилась и резко распрямилась, голова и кончик жирного хвоста уткнулись в ребра, отчего девушка почувствовала, как в груди все сначала онемело, а потом словно рухнуло куда-то в пропасть. Дыхание перехватило, и новая волна паники накрыла жертву с головой. Марк мысленно выругался. Но сделать ничего не мог. Пока несчастная не пустит его в дом, он бессилён. Именно поэтому он так не любил заказы в жилищах потерпевших. Парки, скверы, подворотни – там было больше возможностей для того, чтобы успеть и спасти. Но кураторы не одобряли подобного. Улица – множество свидетелей – лишний шум. И вместо добычи – проблемы с Тайной. Поэтому уличная охота случалась редко. И чаще всего была спонтанной и несогласованной.

Девушка пошатнулась.

– С вами все в порядке? – продолжил свою игру Марк. – Может быть, вам нужна помощь? Вызвать врачей?

– Нет! Никаких врачей! – Новая волна паники.

Марк снова мысленно выругался. Вместо того чтобы успокоить, сам раскачал лодку. Времени оставалось все меньше. Присоса пульсировала сильнее и сильнее. Сердце жертвы стучало громче. Казалось, этот стук должен слышать весь подъезд. Но слышал его только Марк. Слышал отчетливо, ясно. И с каждым ударом понимал – этому сердцу в таком темпе долго не продержаться.

– Ма-а-ау! – Протяжный кошачий вопль заглушил звук сердечного ритма.

– Нокс! Иди сюда! – Черная тень пронеслась мимо хозяйки, выскочила из квартиры и, взобравшись по штанине, оказалась в руках Марка. Котенок. Полугодовалый, не больше. Легкий, дерзкий, черный, как сама Бездна.

– Отличный кот! – Марк подхватил кота, почесал его за ухом и уставился на дверь.

– Верните его! – недружелюбно бросила девушка, тяжело дыша.

– Мне затолкать его в щель? – Охотник постарался изобразить удивление.

Девушка медленно выдохнула. Послышался щелчок и новый скрип. Дверь наконец отъехала в сторону. И Марк увидел целое лицо. Изможденное, но довольно милостивое.

- Давайте сюда. – Девушка протянула руку вперед.
- Через порог не передают! Плохая примета! – хитро улыбнулся Марк.
- Господи, да входите уже! Только Нокса отдайте!

От упоминания Имени все Марк вздрогнул и отшатнулся. Но в следующий миг ринулся вперед – нельзя было терять ни мгновения. Котенок тут же соскользнул с рук и унесся куда-то вглубь квартиры. Хитрый шерстяной комочек прекрасно понимал, что происходит с его хозяйкой и кто явился в гости. И отлично выполнил свою миссию – оберегать ничего не подозревающих людей. Марк проводил кота благодарным взглядом и повернулся к девушке. На фоне светлой стены она казалась эфемерной тенью. Тонкая, дрожащая. Марк хотел взять ее за руку, чтобы убедиться – точно ли она живой человек? Не решила ли Бездна поиграть с ним, подсушив в качестве работы уже перешедшую тень? Марк моргнул, прогоняя из головы глупые мысли, и сухо улыбнулся девушке:

- Я пришел помочь вам.

В усталом, потухшем взгляде тут же вспыхнул протест:

- Слушайте, я понятия не имею, кто вы такой и зачем явились. Я точно знаю, что никого не вызвала!
- А как же молитвы по ночам? – Марк скрестил руки на груди, не без интереса наблюдая за реакцией девушки.
- Молить... Что? Что за бред вы несете!
- Не меньший, чем тот, что творится в вашей голове, усиливаясь с каждым новым приступом! – не дал договорить ей Марк. – Я страховлов. Считаю, специалист по борьбе со страхами. И я действительно могу помочь!

Горькая усмешка исказила лицо девушки.

- Я обошла всех именитых врачей города. Я лежала в клинике неврозов. Я горстями глотала таблетки. Вы думаете, я не пыталась помочь себе всеми доступными способами?
- Возможно, настало время для недоступных? – Марк подошел ближе и продолжил: – Я знаю, что с тобой происходит. Непроходящее, огненное жжение в груди. Зуд в воспаленном мозгу в ожидании очередного панического приступа. Сведенные от напряжения мышцы, которые попросту забыли, что такое расслабление. Поверь мне, я прекрасно все это знаю.

- Откуда ты... – огрызнулась девушка, но Марк снова не дал ей договорить, подняв ладонь вверх.

– Я профессионал. Забыла? Я же только что сказал. Девушка судорожно вздохнула, прикрыла глаза и прошептала:

- Меня постоянно тошнит от мерзкого привкуса страха. Адреналин. Я чувствую каждый раз, когда он поступает в кровь. По меняющемуся вкусу слюны чувствую, понимаешь? Я устала от этого. Единственное, чего я хочу, – прекратить это раз и навсегда.

Голос звучал сухо. Без надрыва и обреченности. Тупая усталость измотанного, доведенного до предела организма. Когда сил не осталось ни на что. Даже на страдания.

- Так, может быть, приступим? Если я не справлюсь, твое желание исполнится автоматически, – довольно бодрым голосом, мало подходящим к ситуации, предложил Марк.

«А если справишься?» Страховлов ждал этого вопроса. Он мельком проскользнул в усталом взгляде серых глаз. Но так и не был озвучен.

К его радости, согласия жертвы на помощь не требовалось. Считалось, раз она его пригласила, значит, заведомо согласна на помощь охотника. Правила, написанные сотни лет назад, когда люди еще помнили истинные смыслы бытия, в современном мире были лишены этих самых смыслов. И продолжали работать по инерции – как старое колесо водяной мельницы, не способное противостоять напору бегущей вперед воды.

Марк скинул рюкзак на пол, достал из кармана заранее приготовленные бахилы и натянул на кроссовки – он давно заметил, что современные жертвы начинают нервничать, когда незнакомцы ходят по их квартире в уличной обуви. Но там, куда он собирался отправиться через несколько мгновений, без обуви будет совсем не просто. Берег Стикса – не лучшее место для прогулок босиком. Наконец Марк шагнул вперед и обхватил девушку руками за плечи.

- Что вы себе позволяете! – возмущенно вскрикнула та, вырываясь из затянувшейся паузы и неожиданных объятий.

И Марк не смог скрыть удивления. Он ожидал новую волну паники, переходящую в ледяной ужас. Думал попытаться тут же подцепить присосу за хвост и вытянуть из человеческой души на поверхность. Но вместо этого получил шквал негодования и едва уловимый отсвет облегчения.

- А вот это уже интересно, – пробормотал страховлов, вглядываясь в серые глаза. Так обычно реа-

гируют те, кто долго, очень долго ждал чего-то фатального. И наконец дождался.

– Да уберите руки! – продолжила трепыхаться жертва.

– А теперь давай-ка ты постоишь смиренно, а я наконец поработаю. – Марк приложил ладонь к щеке девушки, и та замерла.

Пространство завибрировало, закручиваясь в спираль, в центре которой стояла эта пара – страхолов и его работа, охотник и жертва. Зрачки потерпевшей расширились. Ноздри затрепетали, а тело напряглось. Девушка чувствовала близость иного мира. Интуитивно, необъяснимо. Его чувствует каждый, кто прикоснулся к грани бытия. А уж тот, кто стоит почти одной ногой за ней, – ощущает ясно, почти осязаемо. Но чтобы понять, что происходит, не хватает знаний. А потому рождается страх перед неизвестностью. Страх непонимания. Но бывают и исключения. Те, кто ждет этой встречи с неизвестным, как манны небесной. Кто ищет этот переход. Планово и расчетливо. И одно такое исключение стояло сейчас перед Марком.

– Ну, давай, покажи мне, чего ты боишься, – прошептал Марк, чуть притягивая девушку к себе. Вглядываясь глубже. Сквозь черный зрачок в самую Бездну. В ее глубину, в недра. Пытаясь увидеть дно, достать до него, провалиться в черное ничто, чтобы там найти ответ на главный вопрос: чего Она боится?

Таковы были правила. Только назвав имя истинного страха, можно освободить поработленную душу. А значит, Марк должен разгадать эту загадку до того, как впереди покажется берег Стикса. Правда, имелся запасной вариант. Но про него Марку думать не хотелось. Все пройдет как обычно. Без сюрпризов и по плану. Марк замер на мгновение, успокаивая поток мыслей, и начал ритуал погружения.

Воздух в коридоре сгустился. Напряжение звенело в пространстве, сливаясь со звучащим со всех сторон сердцебиением. Понять, чье оно – охотника, жертвы или порождения Бездны, – было сложно. Звуки смешались в единый нарастающий гул. Порыв ледяного ветра возник из ниоткуда. Сорвал со стены рамку с фотографией. Опрокинул вазу с комода. Растрепал светлые волосы девушки. Марк сжал пальцы сильнее.

– Сейчас потрясет, – скорее для себя сказал он.

Девушка не видела происходящего. Остекленевший взгляд вперился в глаза охотника. Все, что она видела сейчас – два черных, бездонных озера с тлеющей в глубине искрой изначального пламени.

Окружающий мир начал прогибаться. Сначала медленно и неохотно, с каждым ударом сердца

искажение становилось все заметнее. Стены, пол и потолок – реальность съезживалась, как горящий лист бумаги. Марк расставил ноги чуть шире – еще пара ударов, и его вынесет на ту сторону реальности. Вместе с этой блондинкой и ее присосой.

Тишина. Абсолютная и непроницаемая. Она случилась как всегда внезапно. Еще мгновение назад в ушах ревел ветер, крушил квартиру, заставляя мелкого кота орать во всю глотку. Еще полмгновения назад стук сердца гремел сильнее грозовых раскатов за окном. А сейчас все смолкло. Марк напрягся. Удар об эту сторону реальности вышел такой силы, что охотник не смог удержаться на ногах. Припал на одно колено, потянув за собой тело застывшей жертвы. Но главное – не расцепил рук. Марк выругался, но звуки исчезли. Здесь могло звучать лишь одно Слово. И произносить его могло только Пресветлый. Всем остальным суждено было благоговежно внимать. Поэтому Марк, пошатываясь, поднялся и огляделся. До Стикса далеко. Есть время рассмотреть все внимательно. И если этой девушке повезет, разгадать истинную причину ее страхов. Раскрыть ее Тайну. Не тратя время на лишние мысли, Марк накинуд на девушку привязку и двинулся вперед. Та послушно поплыла следом. Ходить по подземному миру был способен лишь тот, кто однажды пересек черту. Остальным потрескавшаяся почва, опаленная дыханием Бездны, была недоступна. Поэтому блондинка, подобно призрачному видению, парила в воздухе чуть сбоку, за спиной охотника. Безвольно и тихо.

Двигались долго. По бескрайней безжизненной территории – ни ветра, ни холода, ни времени, ни движения – сплошное, абсолютное ничто. Пустынное плато – так называли это место между собой охотники. Непосвященному могло показаться, что в окружающем мире ничего не происходило. Но это было не так. Каждый, кто приходил сюда с Намерением, испытывался на прочность. И если цель не была смыслом всей жизни, нечего было и пробовать пройти плато. Смыслом существования Марка было спасение несчастных душ, попавших в лапы присос. Потому он шагал вперед, не обращая внимания на неподвижность и серость, царствующие в округе. Невесомая, холодная женская рука в его ладони служила якорем и маяком. Светом, заставляющим его шагать сквозь сумрак к берегу реки мертвых. Чтобы там найти ответ на вопрос, чего боится эта хрупкая девушка. Что за страх овладевает ее сознанием настолько сильно, что она готова предстать перед Паромщиком, лишь бы закончить эту адреналиновую лихорадку.

Сквозь полог абсолютной тишины пробился первый, едва уловимый отголосок:

- Ты настолько ничтожна, что не в состоянии сделать элементарного. – Первая тень, слабая, практически неразличимая на фоне сумрачного, затянутого плотной пеленой туч неба, рассеялась сразу, как только Марк прошел сквозь нее.
- Посмотри на себя, на кого ты похожа?
- У людей дети как дети, а ты... – Еще два отголоска появились вдалеке и так и не добрались до жертвы.

Но чем дальше продвигался Марк, тем чаще появлялись порождения Бездны. Тем ближе звучали обрывки фраз. Они возникали резко, внезапно и невероятно громко.

- За что мне досталось такое наказание! – Очередная тень метнулась прямо в лицо страхолова.

Марк резко выставил вперед ладонь, развеивая черное марево. Но не заметил, как земля под ногой поднялась. Марк споткнулся и потянул за собой девушку. Та вздрогнула, и впервые во взгляде проскользнуло то самое чувство, с которым сейчас работал охотник. Страх. Паника. Желание сбежать.

- Мы на верном пути, – погладил он девушку по плечу, успокаивая, и двинулся дальше. Стикс приближался.
- Ты что, совсем тупая? Это же простейшее...
- Опять ты со своим...
- Нелюбовь? – осторожно, внимательно вглядываясь в окружающее пространство, предположил охотник.

Ответом стал плотный сгусток тьмы, метнувшийся в их сторону. На полете он взорвался перед охотником, разбрасывая вокруг ядовитые шипы. Марк прошептал слово, и воздух перед ним сгустился, принимая шипы на себя. Охотник зашагал быстрее. Обрывки фраз стали отдаляться и звучать тише. Не угадал. Нужно искать еще.

- Хватит орать! Прекрати немедленно!..
- Что ты за создание такое!..
- Да сколько можно!..

Суровый женский голос то приближался, то отдалялся.

- Страх быть наказанной? – Резкий свист раздался над ухом.

Марк прижал девушку к себе и отскочил в сторону.

- Страх боли? – Почва под ногами прогнулась, превращаясь в трясины.

Не разжимая стальных объятий, Марк прыгнул вперед.

Серость сменилась багряным заревом. Холод пробрал до костей, вызывая во всем теле непроизвольную дрожь. Стикс напомнил о своей близости. Ответы Бездны становились все более опасными. А разгадка все никак не находилась. Попыток найти правильный ответ, как и времени, становилось все меньше. Чем дальше, тем суровее будет наказание за каждую ошибку. Марк посмотрел на свою подопечную – по лицу девушки катились слезы. И пусть она не понимала, что происходит и где она сейчас находится, она слышала звучащий отовсюду голос. Потому что он шел из глубины ее души. Сделав несколько вдохов, Марк отстранился и, продолжая держать жертву за руку, двинулся дальше.

- Ты никогда не найдешь...
- Кому ты нужна с таким...

Пламя вырвалось прямо из земли. Долина огня – пространство с лавовыми гейзерами преграждало путь к Стиксу. Берег был совсем близко. Нужно было ускоряться.

- Ну, давай же, покажи, чего ты боишься? Взрослая, самостоятельная, успешная. Боишься остаться неоцененной? Боишься одиночества?

Два огненных вихря выросли из трещины под ногами. Зависли над землей, отбрасывая в воздух алые отсветы. И, как по команде, одновременно ринулись на охотника. Марк снова прижал к себе девушку и ринулся вниз, на спину, удерживая жертву сверху, – живой человек не мог касаться этих земель. Только такие, как он, охотники и им подобные создания, давно забывшие, что когда-то тоже были людьми. Марк проскользнул на спине под одной из воронок, чувствуя, как жар облизывает лицо. В воздухе поплыл запах гари – кожаные рукава куртки съезжились под натиском температур. Марк зашипел в унисон с материалом. Но продолжал ползти на спине, перебирая ногами быстрее. Чтобы оказаться как можно дальше от воронок, прежде чем Бездна поймет, что они попросту сбежали, не приняв бой.

Когда огненные смерчи остались позади, на безопасном расстоянии, Марк вместе с девушкой на руках медленно поднялся, не переставая прокручивать в голове варианты страхов. Он чувствовал, что ответ лежит где-то рядом. Страх тянется откуда-то из детства. Но никак не мог подобрать отмычку к этой Тайне. Еще один сгусток пламени взвился в воздух, опалив подошву. Голубые бахилы съезжились в пару черных лужиц под ногами. Марк снова зашипел. На краю сознания проскочила мысль – опять придется идти в обувной за новой парой. Но мысль эта затерялась в череде новых вопросов. Если он не найдет ответ до того момента, как они



доберутся до берега Стикса, судьба девушки будет решена. Ему придется вести жертву к водам следующей подземной реки – реки Забвения, чтобы напоить мертвой водой и оставить там навсегда. И тогда избавитель превратится в палача. А к сроку отработки, увеличенному куратором, добавится клеймо неудачника.

Мысль о возможной неудаче пронзила сознание охотника. Страховол вздрогнул, почувствовав во рту так хорошо знакомый его жертвам привкус страха. Адреналин. Человеческий мозг, пусть старый и прошедший через множество времен и эпох, оставался все же человеческим. Он мгновенно среагировал на случайную мысль. Зацепился за нее, как утопающий за трухлявую корягу, торчащую из воды. И послал сигнал – тревога. Что-то представляет опасность. Нужен адреналин. Марк замер и прислушался. Да, так и есть. Он испугался клейма неудачника. Он, первый мастер гильдии, не ведающий поражений в своих делах, испугался проиграть какой-то присосе посреди Долины огня. Магистр мог выдохнуть, оставив эту человеческую слабость там, на задворках сознания. Но времени было слишком мало. А присоса в груди девушки слишком сильна и изворотлива. Внутренний голос настойчиво шептал, что пришло время для запасного плана. Эта охота не будет обычной. А значит, есть лишь один шанс спасти эту девушку. Снять броню, обнажив душу. Впустить в себя страх и стать новой жертвой. Петля Хлодвига – так называли этот ритуал охотники. И каждый мастер гильдии старался работать со всем усердием, на какое только был способен, лишь бы не примерять на себя эту петлю. Но сегодня, судя по всему, иного пути не было. Марк бросил взгляд на бледное лицо девушки и сделал выбор. Сердце страховола забилося чаще, разгоняя человеческий гормон страха по всему телу. Он испугался проигрыша? Да. Он испугался. Он почти проиграл. Из охотника стал добычей. Бездна не прощает подобного.

Багряная тень кинулась в их сторону через три удара сердца. Тварям Долины было известно лишь одно чувство – голод. Первобытный, неутолимый. Здесь, у берегов подземных рек, твари не имели ни плоти, ни облика. Голодные бесплотные тени, готовые разорвать в клочья любого слабака, не способного противостоять Бездне. Марк извернулся. Тень скользнула по рукаву кожаной куртки, расплосовав его. Пролетела в сторону, но на ее место пришла другая. Еще одна тень, очертаниями похожая на богомола-мутанта, прыгнула вперед. Но угодила прямо в вырвавшийся из-под земли огненный столб.

Этих мгновений хватило страховолу для того, чтобы достать нож. Длинное лезвие с выкованным у рукоятки Словом прошло сквозь третью тень, превратив ее в клубы сероватого тумана. Почувствовав опасность, твари отступили. Марк, все это время одной рукой сжимающий ладонь девушки, сплюнул на землю и шагнул вперед, держа перед собой нож. Чувствуя Слово, твари нехотя расползались, но нападать больше не решались.

Багрянец сменился мраком. С каждым шагом становилось все темнее. По ногам пополз все тот же туман. Он клубился, накатывал волнами и доходил до колен. Марк шел, продолжая перебирать варианты страхов, но понимал, что не успевает. Голос, дающий подсказки, стих. После нападения теней в Долине Марк знал, что уже проигрывает во времени. Он не сможет найти ответ. Он не сможет спасти эту жертву. Ему не достать черное лоснящееся тело подземной твари из груди этой девушки, а значит, он должен отвести жертву к Паромщику. Марк стиснул зубы, мысленно споря с самим собой. Он справится! Насилие? Издевательства в песочнице? Что такого могло случиться с этим милым созданием в детстве, что отравило ей всю жизнь?

Земля под ногами дрогнула. Из-за тумана Марк не видел, но отчетливо чувствовал, что тропа начала движение. Теперь он мог вовсе остановиться – совсем скоро пространство само вынесет их к берегу Стикса. Из-за этой смены движения Марк едва не пропустил другое – неосознанное, слабое. Рука девушки в ладони Марка дернулась. Охотник вцепился в нее сильнее.

– Мать?

Никакой реакции.

– Друзья? – Снова тишина.

Тропа двигалась быстрее и быстрее. Воздух наполнился сыростью. Тридцать ударов сердца – все, что осталось у страховола на отгадку Тайны. Марк запретил себе паниковать. Давно. Еще на первом заказе. Паника туманит разум и не дает мыслям перемещаться в тесном пространстве черепной коробки. Паника мешает хладнокровно рассекать человеческую грудину, вытаскивая оттуда извивающуюся присосу, а после – безжалостно, резко, как пуповину, перерезать связующий канат между паразитом и жертвой. Марк давно не реагировал на вопли, полные боли, которые издавали в этот момент оба – и тварь, и доведенный до края человек. Единственное, к чему никак не мог привыкнуть Марк, – это бег времени у берегов Стикса. Хаотичный, беспорядочный, непредсказуемый. Кому-то Стикс давал дни и недели на разгадку Тайны. А кому-то и тридцати



ударов сердца не оставлял в запасе. Только этот неуправляемый временной поток мог заставить дрогнуть закаленные самой Бездной нервы страховлова. И Марк поддался. Отпустил сознание на волю, возводя до абсолюта страх надвигающегося провала. Позволил сердцу стучать о ребра, высекая черные искры сомнений и слабости.

– Во власти берегов Леты, Стикса, Ахерона, Коцита и Флегетона зываю к тебе, Хлодвиг-прародитель. Призываю силу твою и проклятие твое, – шептал Марк, рассекая пространство свободной рукой.

Ленты белесого тумана взмыли в воздух, опутывая руки, плечи и грудь страховлова, и потянулись к шее, создавая пульсирующую во мраке петлю. Осознание того, что время безжалостно убегало от него, а паника, которую он, как казалось, давно выкорчевал из своего сознания, внезапно накрыла охотника с головой, пришло ожидаемо, но от этого не менее резко. Марк снова почувствовал, физически, как над ним нависает клеймо неудачника. Он знал таких страховловов. Тех, кто не смог выполнить работу. Кто повел человека на избавление, а привел на заклятие. Многие развоплотились, не в силах смириться. Марк хотел жить. Неистово. До жжения в груди. А значит, ему было жизненно важно спасти эту блондинку.

– Ну же, что? – закричал во весь голос Марк, чувствуя, как в груди расплзается холод.

Адреналин, раскачивающий сердце, еще быстрее заструился по жилам. Твари Бездны, снова почуяв слабость, потянулись вперед темными лентами со всех сторон. Туман Стикса начал обретать плотность и форму, создавая прямо из воздуха чудовищных монстров, жаждущих лишь одного – сожрать это слабое, жалкое создание, неудачника, рискнувшего бросить вызов самой Бездне. И не совладавшего с самим собой. Марк, одной рукой сжимающий ладонь девушки, вторую выбросил в сторону и поднял взгляд к небесам. Туда, где восседал прародитель Хлодвиг, первым познавший всю боль поражения и сладость возрождения. Марк искал его взгляд. Далекий, тяжелый, суровый. Петля медленно затягивалась на шее, становясь плотнее с каждым ударом сердца. Как только Марк перестанет быть всецело преданным, он проиграет. Но Марк шел вперед, не смотря на панику и время.

– Несчастливая любовь? Темнота? Смерть? Призраки под кроватью? Неоцененность? Высота?

Марк выкрикивал, перебирая все варианты, с которыми встречался на *работе*. Но ни один из них не был верным. Он спрашивал, спрашивал, спрашивал,

но ответом было ледяное молчание – глухая, беспросветная стена. И когда казалось, что вот сейчас он нащупает правильный ответ, найдет верную опору, чтобы наконец поймать присосу, все распалось. На пол-удара сердца он перенесся в свое прошлое. В момент, когда страх взял верх и паника накрыла его с головой. Трескающийся лед и он, барахтающийся в холодной воде в такой же неистовой надежде найти опору и выбраться. Спастись из этого безнадежного ледяного плена. В тот раз он не выбрался. И осознание, что если он продолжит вот так безумно барахтаться – река снова одержит верх, – отрезвило разум охотника. Петля сомкнулась на напряженной шее, и Марк распахнул глаза. Время пришло. Страховлов успокоил мысли, прекращая панику. Адреналин еще плескался в крови, но охотник знал, как обернуть это себе на пользу. Три удара. Осталось три удара сердца.

Марк прижал девушку к себе и выдохнул ей в лицо. Присоса, почувствовав чужой страх так близко к своей жертве, тревожно заворочалась в груди. По телу пробежала дрожь – от кончиков к центру. Туда, где таилось средоточие страхов. Туда, где пульсировала черная пуповина. Охотник ослабил – вот для чего ему нужен был собственный страх. Выманить врага из логова, обнажить слабое место, нанести удар. Резким движением Марк вскинул руку с ножом. Блеск серебристой стали разогнал сумрак, туман и теневых существ, кружащих рядом в ожидании легкой добычи.

– Не сегодня, – процедил охотник сквозь зубы.

Одним движением он вонзил нож в мягкое тело девушки. Серые глаза распахнулись в удивлении.

– Что?

– Страх! Чего ты боишься? – твердо, глядя прямо в глаза, проговорил охотник.

Нож вошел плавно, погружаясь все глубже и глубже. Вот черное тело присосы дернулось, пытаясь послать в мозг жертвы сигнал – паникуй, кричи, беги, ты в опасности! Но Марк одним поворотом лезвия пресек этот импульс.

– Я не смогу тебе помочь, если ты не захочешь избавиться от страха. Покажи!

Серые глаза закрылись. Удар. Один удар сердца. Окружающее пространство наполнилось звуками скрипящего голоса:

– С таким поведением ты никому не будешь нужна! Дружить с тобой никто не будет! Поняла? Мерзкий ребенок! Попомни мои слова, никому нужна не будешь! Никто водиться с тобой не захочет!

Резкие слова буквально прогрызали себе путь из глубин искалеченной страхом памяти. Женщина.

Тучная, пожилая. С тяжелым взглядом, полным горечи и злобы. Мать? Нет, скорее, бабушка. Бабка. Злая. Мерзкая. Она стояла, нависая колоссом над маленькой девочкой, забившейся в угол. И раз за разом внушала, что никому в целом мире она не будет нужна. Даже если найдет себе друзей, они непременно, рано или поздно, узнав, какая она на самом деле, отвернутся и уйдут. Даже если кто-то полюбит ее, все равно правда раскроется, и она снова останется одна. И так будет повторяться снова и снова, раз за разом.

– Страх быть отвергнутой! – прищурившись, прошептал Марк.

Старуха, бывшая лишь тенью воспоминаний, резко развернулась. В блеклых глазах зажглись два багровых огонька. Утробно взревев, она кинулась вперед, прямо на страхолова. Он был близко, но все еще не нашел верный ответ. Марк отклонился, пропуская руку, ставшую внезапно когтистой лапой, мимо лица. Но нож держал крепко, медленно проворачивая его в груди. Вокруг заматались обрывки воспоминаний жертвы – лица, ситуации, случаи и случайности. Разрозненный калейдоскоп мелькал перед Марком, не давая ему подобраться к разгадке Тайны. Слова старухи звучали в воздухе, разломанные на слоги. Но Марк видел в глубине серых глаз затаенную боль, не дающую вздохнуть каждый раз, едва мозг возвращался к этим мыслям.

– Еще один раз! Пожалуйста! – Утекающее время можно было ощутить. Ладонь девушки, до этого плотно лежащая в руке Марка, внезапно сделалась скользкой и неуправляемой. Стикс разводит их по разные стороны. Время вышло.

– Нет! Не оставляй меня! Хотя бы ты не оставляй! – Девушка дернулась вперед, навстречу страхолову. Беззвучный крик, шедший из глубины души, искажил лицо до неузнаваемости. Серые глаза, полные ужаса, смотрели прямо на охотника, умоляя не оставлять.

Марк понял. За мгновение до того, как время вышло, страхолов нашел свою цель.

*«Не так страшно прожить всю жизнь одной, как найти того, с кем хотел бы встретить закат своих дней, и остаться без него. Не так страшно быть отвергнутой, как познать счастье дружбы и лишиться этого в горниле предательства. Не так страшно...»*

Старушечий голос скрипел и изрыгал слова, идущие из самой глубины болящей души. Черная, как сама Бездна, зияющая рана открылась перед Марком.

– Потеря! – уверенно проговорил страхолов.

Старуха, ставшая в мгновение корчащейся, извивающейся тенью, рассеялась после очередного

поворота ножа. Жертва дернулась назад, но Марк вцепился намертво, продолжая свою работу. Полудара сердца.

– Избавляю тебя от страха твоего, – повторял раз за разом Марк, прокручивая нож, отсекая черные щупальца присосы, оплетающие сердце и душу девушки.

– Жить тебе без боязни, во принятии и свете.

Тонкие руки схватили страхолова за плечи и с силой оттолкнули от себя. Марк пошатнулся, удивляясь тому, откуда в столь хрупком теле такая сила. Видимо, дух девушки был силен. Иначе присоса не выросла бы до таких размеров. Чем ты сильнее тем, тем глубже может разесть тебя страх. Тем сложнее до него добраться, чтобы искоренить. Но и Марк был силен. С каждым поворотом ножа, с каждым движением тумана он обретал силу. Уверенность в том, что он все делает правильно, вела его вперед. Поворот. Еще поворот. И еще один. Истощенный вопль, распоровший пространство, оглушил Марка. Тело, безвольно висящее в воздухе, дернулось в последний раз и обмякло. Марк рванул нож на себя. Послышался противный хруст. Из раны хлынула черная, густая масса.

– Избавляю тебя от страха твоего. Жить тебе без боязни, во принятии и свете.

Страх вытекал медленными толчками. В такт судорожным сокращениям твари. Та, потеряв связь с источником питания, извивалась в груди, вопила и пыталась дотянуться до новой жертвы. Марк ждал этого мгновения.

Последний удар сердца. Туман расступился, открывая вид на темные, гладкие воды Стикса. Страхолов наклонился к сочащейся черной жижей ране и выдохнул. Присоса, почуввав адреналин, пусть и чужой, зато такой желанный, расслабилась, выпуская ставшую ненужной душу из своей смертельной хватки. Червеобразное тело скрутилось и в одно движение рванулось к Марку.

– Вот так, молодец! – Охотник расчертил рукой с ножом воздух, срезал с шеи петлю Хлодвиги и, перебирая тонкую субстанцию пальцами, создал новые пути.

Черная тварь, пища и извиваясь, влетела в тонкую энергетическую сеть. Едва корчащееся тело коснулось плетения, сеть схлопнулась, пленяя присосу. Новый визг заставил Марка в очередной раз за вечер поморщиться. Не любил он резкие звуки. Еще больше, чем современный уклад.

Волна тупой боли накрыла Марка в тот момент, когда он довязывал последний узел в сетях. Тихо застонав, страхолов сполз на землю. Единственная



# ПАРАДОКС СТРАХА: ДРЕВНЕЕ ЧУВСТВО ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ НАШЕЙ «ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ»

О КНИГЕ ФРЭНКА ФАРАНДЫ «ПАРАДОКС СТРАХА. КАК ОДЕРЖИМОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЕШАЕТ НАМ ЖИТЬ»



АННА УТНИНА  
Выпускница филологического  
факультета МПГУ, журна-  
лист, маркетолог, редактор  
портала nonfiction.ru

Человечество привыкло думать о страхе как о чем-то неприятном. На самом деле, парадокс страха заключается в том, что с древних времен именно это чувство помогало нам избежать опасностей. Страх был нашим другом, защищающим homo sapiens от диких животных, заразных болезней, недругов своего вида или стихии. У страха есть плюсы и минусы, и главный минус заключается в том, что капля страха содержит лекарство, а ложка – яд. Именно так можно кратко описать идею книги клинического психолога Фрэнка Фаранды, взявшегося за исследование самой природы страха.

Обычно книги о страхе содержат десять способов его избежать или двадцать – никогда его не испытывать, но «Парадокс страха» – это серьезное исследование, а не прикладная психология «для самых маленьких». Автор этой книги опубликовал ряд научных статей о человеческих эмоциях, глубоко погрузился в тему и сосредоточил свое внимание на основных причинах, которые заставляют нас становиться буквально одержимыми безопасностью и перекрывают этой страстью само дыхание жизни.

Страх эволюционировал вместе с нашим видом, перестав быть надежным союзником в борьбе за выживание. Сегодня он нередко становится проблемой, провоцируя возникновение тревожного расстройства, депрессии и панических атак. Свои рассуждения Фрэнк Фаранда подкрепляет историями из личного врачебного опыта.

Несмотря на то, что в книге не так много советов о том, как контролировать страх, именно понимание его природы помогает достичь предельной искренности в наших отношениях с самыми древними инстинктами, порождающими стремление избежать опасности. Ведь поиск золотой середины между безрассудством и тревогой, сдерживающей дальнейшее развитие, невозможен без того, чтобы встретить «врага» лицом к лицу.

Мы приходим в этот мир уязвимыми, но нуждающимися в безопасности. В отличие от животных, мы заводим со страхом очень сложные отношения, полные парадоксов и противоречий. Страх для нас – не просто система охранной сигнализации, но и источник возможных психологических трудностей. Наладить контакт с нашими чувствами – важная задача, справиться с которой поможет эта книга, интересная не только студентам психологических специальностей, практикующим психологам, педагогам, но и простым «пользователям» страха.

«Теперь я осознаю, насколько сам похож на черепаху. Приближаются опасности – и я втягиваю голову в плечи. На случай, если что-то обрушится на меня, есть защитный панцирь. Честно говоря, я мог бы при необходимости провести в этом панцире всю жизнь, но я стараюсь всегда помнить, что, хотя мир может быть опасным местом, он оказывается поистине прекрасным, когда мы рискуем высунуться наружу», – пишет Фрэнк Фаранда.

# ХАОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА  
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной российской и зарубежной прозе. Руководила

PR-отделом издательства «Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной» и начальником отдела общественных связей «Российской газеты». Старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

Что случилось с тетей Марусей, мы точно не знали. То ли последствия инсульта, то ли прогрессирующая деменция – мы воспринимали болезнь соседки как данность. Она просто казалась нам, двенадцатилетним, очень старой, а сейчас пытаюсь прикинуть: сколько ей было? Семьдесят – семьдесят пять? Едва ли больше.

Мы с М. проводили на даче все каникулы. Маленький поселок в черте Москвы, начисто лишенный примет городской жизни, с одной стороны ограниченный лесом, с другой – полем и железной дорогой, за которую местные ходили только иногда – в «большой» магазин. Остров, маленькая Внутренняя Монголия, где все не просто знакомо между собой, но знают друг про друга все на несколько поколений назад. Приезжая сюда, я тотчас становилась «правнучкой Петра Михайловича», хотя прадеда живым не застала.

Тетя Маруся жила одна. Про мужа ее мы ничего никогда не слышали, на нашей памяти не только его самого, но и разговоров о нем не было. Сыновья-близнецы давно уже обзавелись своими семьями, а потом и следующими, один из них жил чуть ближе и приезжал чуть чаще, привозил стандартный набор продуктов: яйца, молоко, чай, крупы, хлеб, замороженные брикеты фарша – и снова исчезал на неделю или две. А она вставала с кровати и медленно, нерешительно, словно в самой возможности каждого

шага приходилось сомневаться, шла на крыльцо. Еще в прошлом году она так же неспешно ходила по поселку – из магазина или по каким-то иным делам, а в этом уже не покидала пределов дома.

– Саааааш! – звала она их обоих именем одного. – Сааааш! – Протяжно и монотонно.

Это был не плач даже, а что-то сродни камланию, лишненное всякого практического смысла сакральное действие, ритуал, который нельзя было не совершать. Иногда она просыпалась ночью – и все повторялось. Тогда ее голос сливался с пением цикад, и на него неохотно и коротко отзывались сквозь сон местные собаки. Соседи иногда навещали ее, но в коммуникацию она почти не вступала, а художественно обслуживать себя могла – убедившись в этом, гость, как правило, не слишком спешил заглянуть к тете Марусе снова.

Однажды утром она кричала особенно долго: поймала ноту и на каждом выдохе тянула ее: «Саааааш!»

Мы с М. сидим на ветках дикой груши – верхних, но достаточно крепких для того, чтобы нас выдержать. Большая часть наших игр той поры заключалась в рассказывании друг другу историй – реальных и вымышленных – и ведении гипотетических диалогов: мы помогали случиться разговорам, которым случиться не удалось, строили окружающий мир из себя самих, создавали дополненную нашим сознанием реальность. Мы жили в мире слов – дей-





ракан может сделать человеку? Он неприятен, противен, но не страшен. Но перед иррациональным ужасом рации пасует, сдаётся сразу, не желая слышать объяснений.

Люди странно устроены: все эти наши совершенно невообразимые фобии – откуда, зачем? Хронофобы боятся времени: опоздать, не успеть, не смочь исправить ошибки. Символы и приметы времени, часы, смена дня и ночи и времен года, календари – все это внушает им опасение и тревогу. Есть люди, которые боятся жевательной резинки, ванны, дырочек в губке, косточек от авокадо, танцев, зеркал. Нас способно напугать что угодно: даже деньги или пупки (пупки, ну кто бы мог подумать: кого, казалось бы, способен напугать собственный пупок?). В то время как трихофобы опасаются волос, пеллофобы – лысых людей. И ведь они как-то сосуществуют на этой планете, ездят вместе в метро, стоят в очереди в супермаркете. На планете, где есть еще, например, софофобия – страх перед получением знаний. Потому что многие знания умножают скорбь и открывают ящик Пандоры перед новыми и новыми потенциальными фобиями. Или – вишенка на торте – страх перед чувством страха. Фобофобия – королева боязней, змея, кусающая себя за хвост. Сёрен Кьеркегор писал о двойственной природе страха: мы одновременно боимся заложенной в страхе возможности и стремимся к ней как к запретному. Иррационально. В каждом из нас затаился маленький ребенок, который отвернулся к стене и притворяется спящим, а сам в отражении телевизора на полированной спинке софы затаив дыхание смотрит «Кошмар на улице Вязов».

Заглянуть в бездну внутри себя. Безуспешно попытаться управлять хаосом. Бояться – но покупать авокадо, танцевать, смотреть в зеркало и идти в дом с тараканами. Ради чего-то. Снова и снова.





Юность №11  
Ноябрь 2021

# ПОЭЗИЯ



ИГОРЬ МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в Приморском крае. Живет в Ногинске Московской области. Работает инженером на атомном предприятии. Автор книг «Лис», «Дом», «Там, отсюда облака», «Норнюшон и Рылейна», «Маян», «Номах». Дипломант премии «Хрустальная роза Винтора Розова» и фестиваля «Золотой Витязь». Финалист премий «Ясная Поляна», «Большая книга» и «Русский Бунер».

# ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ С ФАНТАЗИЯМИ НА ВОСТОЧНЫЕ ТЕМЫ

Сегодня мы играем спектакль последний раз.  
Последний, самый последний. Больше не будет.  
Цикады в ветвях и отзвук далекой лютни,  
Целый мир исчезает – волшебный Шираз.

Последний спектакль и Шираз накрывает мгла.  
Воды Стикса приходят, смывают город.  
Актер немолодой, зритель тоже уже не молод,  
Шираз уходит под воду с криками «Иншалла».

Где теперь раскрашенная марля твоих минаретов?  
Где крик муэдзина, стертый с магнитной пленки?  
Всё исчезает, как в море слеза ребенка.  
Как пропадают строки забытых поэтов.

\* \* \*

Где-то далеко на свалке-помойке  
Гниют мои шорты и детские распашонки.  
Синтетика может до сорока лет храниться.  
Даже на свалке, даже в сырой земле.

Где-то совсем далеко под небом морозным  
Ржавеет бидончик, в котором отец нес мне молоко козье.  
А звездочка моя октябрятская, от нее хоть что-то осталось?  
Может, хотя бы какая-то малость осталась?

Галстуки пионерские, первые часы, шариковые ручки  
Наверняка еще где-то есть, как грязь, как глина, как невнятные закорючки.  
Где-то есть то, что хранит нашу детскую память.  
Мы оставляем следы, и они нас переживают.

\* \* \*

Так и живем, бесконечный все строя сруб.  
До самого неба, чтоб Бога увидеть, чтоб Он нас вызвал на суд.  
Так и живем, стаканы ненависти запивая глотками любви.  
Самой чистой, настоящей на крови.  
Так и живем, упершись головой в рушащийся потолок.  
То свежий березовый, то глиняный глотая сок.  
И песни наши всегда достают до самого неба.  
Там Бог наш сидит, и не факт, что во что-то верит.  
Бог наш суров, часто несправедлив и горяч.  
Но только он наш, только он и наш.  
Да, мы построим сад и взорвем еще пять вселенных,  
Но сад наш будет вовеки благословенен.  
Да, мы умрем и сотню миров уничтожим,  
Но выстроим мир, на рай очень похожий.  
Чавкая кровью и задыхаясь на горных вершинах,  
В рваных лаптях и наглухо сдутых шинах  
Мы все бредем, сознавая, что идем к краю,  
То трупы переступая, то младенцев у псов отбивая.  
И нет нам ни большей радости и ни меньшей.  
Русские – не унтерменши и не уберменши.  
Просто люди, ищущие счастья в отсутствии счастья.  
Находящие, теряющие и вновь находящие.

\* \* \*

Начало зимы. Лег на реку вороний лед.  
Тот, что ворона выдержит, а человек пропадет.  
Я смотрю на реку, как она подо льдом течет.  
И знаю, что мир наш – всё тот же вороний лед.

Только весна отыщет, только река отпоет  
Всякого, кто, не будучи вороном, ступил на вороний лед.  
Мир не мед и не сахар, в реке не отыщешь брод.  
Но как не оставить свой след меж вороньих? Не ступить на вороний лед?

\* \* \*

*Посвящается Максиму Попову,  
любимым фильмом которого был  
«Тот самый Мюнхгаузен»*

Что там, барон? Как там в божьих библиотеках?  
Так же тебе интересно? Всё так, как здесь?  
Так же капли росы повисают на веках,  
Когда продираешься в дождь сквозь лес?

Как там архангелы? Хороши ли им твои рассказы  
О том, как ты в русских снегах замерзал?  
Верят ли? До краев стакан наливают ли?  
Пуускают ли в свой небесный спортзал?

Что там в почете? Шаги или бои без правил?  
Упрекают ли, на кого ты нас тут оставил?  
Носишь ли ты там свои по-махновски лихие усы?  
А огурцы там под водку всё так же вкусны?

Как там летают архангелы в небе? Стаями? Клиньями?  
Как тебе в схемах их? Удобно? Не тесно ли?  
Пробовал задевать крылом гладь воды Авангарда?  
Слухи какие в вышних? Наступление? Ретирада?

Какие костры, барон, мы разводили в лесах!  
Какие невиданные звери к нам тогда приходили!  
Никогда мы не знали, сможем ли вернуться назад.  
Но, господи-боже, какие мы хороводы водили!

Барон, я пишу, и мне слезы едят глаза.  
И, дружище, одна мысль мозг мой травит.  
Знаю, что никто никогда не вернется назад.  
Я просто хочу, чтоб ты знал, как тебя нам здесь не хватает.

...

А давай, барон, как всё кончится, мы опять поиграем?  
Сходим на Авангард, и опять разведем костер.  
В ледяной искупнемся воде, поорем под гитару.  
И Вселенная будет слушать победный наш хор.



\* \* \*

*Еще одно стихотворение,  
посвященное Максиму Попову,  
любившему фильм «Тот самый Мюнхгаузен»*

Что, барон, мы опять объявляем войну?  
Мирозданию, тоске, дуракам и всей этой глупости?  
Всему тому ненавидимому, что нас тянет ко дну,  
Нас, изнывающих под бременем этой лунности.

Я знаю, барон, штыковая опять захлебнулась в снегах.  
Здесь всё против нас, но в этом и прелесть игры.  
Вспомним давай наше детство в июльских стогах.  
Мы псы этой бесконечно-прекрасной войны.

Барон, кавалерия уничтожена, пехота утонула в болоте.  
Как и обещано, всё против нас здесь. Против.  
Поднимайтесь, барон. Я перевяжу вам руку.  
Поднимайтесь, смерть ведь не правда и не разлука.

Победа будет за нами. Наше знамя дурацкое вьется.  
С нами Том Уэйтс, Дон Кихот, и еще много таких найдется.  
Цой, Курт Кобейн, Егор Летов, все как один.  
Короче, и ты не один, да и я, знаешь ли, не один.

Барон, всё прекрасно, и мы поднимаем стаканы.  
За твоё здоровье, и пусть ты ушел в нирвану,  
Знаешь, здесь солнце всё так же сквозь кроны светит,  
Мы рождаем детей, и наши смеются дети.

Всё хорошо, барон. Будет подкрепление и пехоте, и кавалерии.  
Настанет срок, отольем медали прямо из Солнца.  
И наградим всех достойных, ни одного не найдется,  
Не награжденного солнечным озарением.

Закат опалает багрянцем погибших ряды,  
И вскрытые горла алеют, как пионерские стяги.  
Мы никого не забудем и в неизвестности не оставим.  
Ты жив, барон. Ты безупречно жив.

# 1812

Друзья, нам не осилить этих пространств.  
Давайте съедим коня, и ему, и нам уже немного осталось.  
Чудовищная, бесконечная, как Россия, усталость  
Душит меня, как на ось намотавшийся шарф.

Друзья, давайте допьем вино и просто замерзнем.  
С мужественным, как и подобает воинам, выражением на лице.  
И увидим царевну в сияющем, будто снег на елях, венце –  
Россию. И она проедет по нам в санях на скрипучих полозьях.

Друзья, мы можем, как Кай, ухватиться за ее сани  
И остаться навеки среди этих людей странных,  
Открытых для всех стран и своими считающих все страны.  
Вот и утро, друзья. Вставайте. Она подъезжает.




---

**МАНСИМ ЗАМШЕВ**

Поэт, прозаик, публицист.  
Родился в 1972 году в Москве.  
Окончил музыкальное училище имени Гнесиных и Литературный институт имени Горького.  
Автор книг стихов: «Любовь дается людям свыше», «От Патриарших до Арбата» и прозы: «Аллегро плюс», «Избранный», «Нарт-бланш», «Весна для репортера», «Нонцертмейстер».  
Стихи Мансима Замшева переведены на пятнадцать языков. Лауреат премии в области литературы и искусства Центрального федерального округа России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
Главный редактор «Литературной газеты».

\* \* \*

Все завершается, как под копирку,  
Будущий год еще так одинок.  
Кто-то проделал огромную дырку  
В прошлом и смотрит оттуда в бинокль.

Пусть он увидит, как выше и выше  
Мы поднимаем преступную страсть,  
Как зацепляется солнце за крыши,  
Чтобы под утро совсем не упасть.  
Как удивительный век Двадцать первый  
Под мишуру новогодних речей  
Юношей стал, утонченным и нервным,  
И до сих пор он блуждает ничей.

Все завершается тяжким застольем,  
Посох стучит, Дед Мороз без лица,  
Кто-то проснется и сразу застонет,  
Можно бинокль докрутить до конца.

Все увеличить в последнем пределе,  
До отвращения, до сморщенных век,  
Тот, кто в прицеле, бесспорно, при деле,  
А Дед Мороз выбегает на снег.

Вот он бежит, он мишень для охоты,  
Глянь, из какого он тонкого льда!  
Вот он упал. Пьяный, что ли? Да что ты!  
Не раскрошилась его борода.

Смесью гремучей шампанское с дегтем,  
Бросили ложку, подумали – мед.  
Год перед нами неспешно пройдет,  
Что-то шепнет, но никто не поймет...

\* \* \*

Кто-то за руку меня в толпе хватает  
И ведет туда, где холм далекий висится.

Мне тебя так безнадежно не хватает,  
Что февраль не может плакать – слезы высохли.  
Словно камень, проглочу худое слово я,  
Положу любовь свою, как мыло в мыльницу.  
А чернил достать сегодня – дело плевое,  
С небом кровь смешай – и заливай в чернильницу.

\* \* \*

Сколько ты будешь помнить меня?  
Столько трамвай стоит на мосту,  
Столько орел кричит на лету,  
Столько крепка у танка броня!  
Сколько я буду помнить тебя,  
Столько закат с крыши течет,  
Столько гадать, нечет или чет,  
Столько живут, жизнь не любя.  
Сколько мы будем помнить друг друга?  
Столько трамвай ходит по кругу.

\* \* \*

*Есть свидетельства, что после 17-го года  
Осип Мандельштам панически боялся матросов.*

Я стихов не писал никогда. Я хочу в эту точку,  
Где я шел по Фонтанке в шинели и в окна смотрел,  
Я хочу, чтобы кто-то придумал под ноги мне кочку,  
Чтоб я больно упал, чтоб я больно лежал, чтоб прозрел  
Той бесшумной бездушной зимой девяностого года,  
Той беззвучной зимой, где вороны теряли ночлег,  
Где бродила во мне изумленная злая свобода,  
как вино, что не выпьют, а выльют на проклятый снег.  
Там скелет папиросы над городом смерть распростерла,  
А мужчины за водкой охотились до темноты,  
И несли ее, словно трофей, и лакали из горла,  
Чтобы горла обжечь до последней святой немоты.  
Я стихов не писал никогда. Я не помню, откуда  
Офицерскою улицей Блок доходил до огня,  
Только тот, кто боялся матросов, в надежде на чудо  
Попросил его слово одно передать для меня.  
Там смешались года, времена, а потом размешались,  
Словно порции каши овсяной. Солдаты, подъем!  
Мы вмешались куда-то, зачем мы куда-то вмешались?  
Мы должны были просто остаться навеки вдвоем.  
Я стихов не люблю, как соседи, назойливы рифмы,  
Я не в силах признать, что без цели и смысла живу.  
Я иду по Фонтанке, а рядом идут декабристы,  
Чтобы сесть в туристический катер и выйти в Неву.

\* \* \*

Опять мне снилась армия,  
Снежинки на плацу.  
Там погибал задаром я,  
Там вечность не к лицу.  
Там небеса несметные  
Давали только снег.  
Скрипели трубы медные,  
Сгорал двадцатый век.  
Не надо математики,  
чтоб сосчитать во сне  
Игрушечных солдатиков,  
Что мать дарила мне.  
Повсюду буквы стертые,  
И прапорщик орет,  
Что все мы будем мертвыми,  
Отчизна и народ.  
Народ с Отчизной выжили  
Кому-то на беду,  
Но наши души выжжены,  
Их в райском нет саду.  
Проснулся. Сон не кончился.  
Вокруг все тот же ад.  
И только колокольчики  
Незримые звучат.

\* \* \*

Я размышляю, что за небом,  
Не может быть, чтоб там тупик.  
Мои слова летят за снегом,  
Чтоб сесть тебе на воротник.  
Давно пропало то виденье,  
И то постельное белье,  
Когда я думал, что сведенье  
Последних счетов – это зло.  
Когда я видел, что над бездной  
Лишь птицы тешатся, скользя.  
Когда я помнил, что исчезнуть  
Тебе никак уже нельзя.  
Но в небеса нельзя с разбега,  
Там неприступная стена.  
Когда умру – то стану снегом,  
И ты пройдешь по мне одна.



\* \* \*

Навязчивые сны,  
дурацкий шепот строк,  
в окно вползает муть  
ненужного рассвета.  
Глаза мои красны.  
Я не извлек урок,  
Я так хотел уснуть,  
что позабыл про это.  
О чем я позабыл?  
Когда бы знал, то вспомнил.  
И каждый новый день  
таранит, как тиран,  
тиранит, как тиран.  
Тот бал, конечно, был.  
Но все невесты в темном.  
И вспомнить это лень.  
И кто-то кран украл.  
И нет воды. Есть кран.

\* \* \*

Сентябрь – военный месяц. У вокзак  
Кипят глаза и зацветают брови.  
И льется кровь. И знает школьник всяк,  
Что надо чтить святую память крови.  
За окнами еще один вокзал.  
Название запоминать не стоит.  
Я в поезде. Я чувствую сигнал,  
что если умирать, то лучше стоя.  
Земля до омерзения сыра,  
Безумец босиком по ней пройдет.  
А прошлое – как черная дыра.  
И в этот раз уже не обойдется.



| Юность №11  
| Ноябрь 2021

# ПРОЗА

# ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

ПОВЕСТЬ



АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ  
Альберт Анатольевич Лиханов — известный писатель, удостоенный за свою прозу Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Правительства Российской Федерации в области культуры,

не считая множества впечатляющих международных наград из Франции, Японии, Германии, США, Испании, Польши. Его книги изданы общим тиражом в 30 миллионов экземпляров, и в эту цифру, заметим с гордостью, входят повести

писателя, опубликованные на страницах «Юности» прежних лет. А печататься в нашем журнале он начал с 1962 года. Его книги изданы в переводах 150 раз, включая США и Японию, Францию и Китай, Испанию и Вьетнам. И многие иные страны.

*Посвящается тыловым детям войны.*

1.

«Коридорная? Система?» – удивятся иные читатели, услышав такое соединение двух слов. Что это такое?

Ну, есть система связи, есть электрические системы – ведь прежде чем попасть в лампочку, ток высокого напряжения, летящий между городами и электростанциями, должен снизить свою мощность и стать таким, каким его употребляют. Но коридорная система? И не только – даже не столько – я, а специалисты-инженеры и уж, конечно же, историки строительных наук подтвердят, что такое понятие и такой термин существует, а сейчас применяется только лишь при строительстве общежитий.

В общежитии – комнат много, и все они выходят в коридор. На всех жильцов один большой умывальник, один или два туалета, одна кухня, не очень-то рассчитанная на приготовление больших обедов. Но в комнатах живет много людей.

Вот это и есть общежитие.

А в старые, чаще всего в дореволюционные, времена большие дома с коридорной системой строили и для, например, больших семей. Там люди тоже пользовались общим туалетом и чем-то вроде кухни, но в каждой комнате жила только одна семья. До

той же всё революции такие дома назывались доходными, принадлежали, например, богатею, который за свои деньги строил такой дом, чтобы каждый месяц получать от каждой комнаты деньги. Жилье приносило доход.

А когда все стало общим, комнаты в таких домах, да и сами дома стали государственными, казенными, и жить там остались или прежние жильцы, или люди, въехавшие вместо них.

Вот в такой дом и привела меня судьба еще совсем небольшим человечешкой. Нет, я там не жил. Мои родители обретались в небольшом деревянном домике на берегу городского оврага, а в эту «коридорную систему» их пригласили друзья, которые там жили.

И вместе с родителями, ясное дело, пригласили меня.

2.

А все, что мы видим в раннем детстве, запоминается особенно хорошо и подробно.

Так что я, войдя в высокую, не по тем временам, дверь, оказался вместе с родителями на железной, глухо отзывавшейся лестнице. Она была узорчатой, эта лестница, черной по бокам и блестящей посередине ступенек. Меня этот блеск и удивил, и немножечко порадовал враз. Было понятно без всяких



взрослое курение на кухне, соединенной с железной лестницей, не обходится.

Иногда из комнаты приходила Ларка, но отчего-то у нас с ней разговор никак не шел дальше того, что я утверждал, будто она никакая не Ларка, нечего, мол, тут красоваться, а простая Лариска, и все тут, а она, соглашаясь, что хоть, мол, она и Лариска, но ведь когда они вырастут, к ней станут обращаться по имени-отчеству – Лариса Григорьевна. А это звучит строго. Да и вообще, я хоть ее постарше, но еще мал судить о женской красоте!

Ха! Мал! Да ведь она сама-то малее меня, пусть и на один год, но малее же! Что-то у нас с Ларкой-Лариской не клеилось. Тоже мне, Лариса Григорьевна!

Зато на кухне завязывались знакомства!

Не успевали папа с дядей Гришей выкурить по полпапироски, как в кухню кто-нибудь обязательно заходил. То заглядывали незнакомые нам женщины, то лестница начинала глухо и, конечно, с железной интонацией звучать под тяжелыми мужскими шагами, и в перешейке между туалетом и кухней появлялся взрослый мужчина. Он обязательно подходил «поздоровкаться» с дядей Гришей, ну и, понятное дело, познакомиться с отцом. Или эти взрослые сами говорили немного про себя: мол, работаю в стройконторе, на заводе, который делает школьные принадлежности, или вообще на железнодорожной станции, или, когда новый знакомый уходил к себе, дядя Гриша, понизив голос, если на кухне был еще кто-то, кроме меня и Ларки, или голоса не понижая, – говорил громко:

– Этот Леонид хороший прораб, но вот беда, простывает на стройках. Часто болеет.

Или, например, говорил:

– А этот Аркадий преподает марксизм в пединституте, но как-то закрыто себя ведет, много не болтает и учит иностранные языки. – Дядя Гриша делал ударение на букве Ъ в слове «языки». – Выучил уже немецкий, теперь выучивает аглицкий.

Я еще и понять не был в состоянии, что, называя английский аглицким, по очень-очень старинному обычаю, дядя Гриша как-то немножко – а может, и множко, – иронизирует перед отцом. Они-то никаких языков не учили.

Но я тогда ничего этого не мог понимать, даже не был в состоянии оценить, что это значит и почему какой-то тут дядечка учит иноземные языки.

Я просто запоминал, как зовут этих дяденек: Леонид, Аркадий, подходил потом шофер Владимир. Подходили попозже и их жены – с кухонными делами, и дядя Гриша уточнял отцу, кто тут кому приходит-

ся женой, кто чей муж, и тут моя головка все путала, как путаются взрослые люди всегда и во всех детских соображалках.

#### 4.

Потом я стал знакомиться с детьми.

Это заставляло поджиматься, отлепляться от отца, становиться самостоятельной фигурой.

Сначала ко мне подвели толстоватого Артура. Оказалось, что он сын того дяденьки, который учил иностранные языки. Ну, подвели и подвели – он протянул мне зачем-то руку – в ту пору так детский народ еще не знакомился, – ну и мне отец велел протянуть руку. Но ничего не произошло. Ничего во мне не вздрогнуло, как и в нем. Только я вдруг спросил, и для себя-то неожиданно:

– А почему Артур?

И тут его отец расхохотался. Только что он жал руку моему отцу и назывался совсем обыкновенным именем – Аркадий Васильевич, а тут почти напугал меня, да и папу, наверное, удивленно воскликнув:

– Ты счастливый человек! Тебе еще только предстоит узнать, что такое янки при дворе короля Артура!

– Ну какой же он король? – искренне спросил я.

– Не король, не король! – продолжал смеяться веселый Аркадий Васильевич. – И никогда им не будет! Но зовут его Артур! Это мы его так называли! Его бестолковые родители!

Вообще, этого смешливого дяденьку, отца Артура, я видел в дальнейшей жизни всего раз пять, не больше, проникая в коридорную систему этого странного дома, и всякий раз он, узнав меня, приветливо спрашивал:

– Ну, не прочитал эту книгу? «Янки при дворе короля Артура»?

И я мотал головой, пока классе в пятом не наткнулся в городской библиотеке на растрепанную книгу с таким названием американского писателя Марка Твена, быстро проглотил ее – в смысле, прочитал, – и потом отыскивал сочинения этого писателя до тех пор, пока не сделал в нашей главной детской библиотеке доклад «Любимые романы о старой Англии», получив за него не только грамотку с печатью, но и почти новую книжку Марка Твена про Тома Сойера и Гекльберри Финна, приняв которую несказанно удивился, никак не ожидая увидеть Марка Твена пахнущим типографской краской и свежим клеем: ведь только что прошла война.

После взятия такой высоты я стал прямо-таки искать встреч с Аркадием Васильевичем. Чтобы,

больше не срамясь, доложить, каким я стал глубоким знатоком Марка Твена.

Но Аркадия-то Васильевича я уже никак не мог увидеть. Он уехал куда-то учиться на целый год или даже три года, и знающие люди не могли даже и предположить, где так долго учатся и чему. А Артур молчал, и мать его Людмила Степановна, которую тетя Лина звала Милой, тоже молчала из каких-то таинственных соображений. А объяснять мои странные – да и случайные – познания Артуру у меня не было желания. Да и он-то, казалось, сторонился меня.

Однако тут я забегаю вперед... «Янки при дворе короля Артура» я прочитал уже в конце войны. А руку Артуру пожал над лестницей еще перед войной!

Сколько воды, сколько крови, сколько бед произошло и покатило над всеми нами и над каждым из нас!

И над коридорной системой, в которую мы лишь изредка заглядывали.

## 5.

Из всего, чего было перед войной, я запомнил еще Новый, 1941 год. А речь именно и конкретно – про последний день декабря 1940 года, в полночь превращавшийся в 1 января 1941-го.

Мама и папа, поговорив о чем-то взрослом между собой и в разговор этот меня не вмешивая, совсем для меня неожиданно заявили, что Новый год они вдвоем, без меня, решили отметить в том самом, известном мне доме, где двери выходят в широкий полутемный коридор. А я останусь дома, с бабушкой, вовремя лягу спать и когда проснусь утром, все мы опять встретимся, но уже в наступившем новом году.

Я даже не сумел еще толком разобраться, что это такое сказали мне мои родители, но нутро мое малое, что ли, тут же учуяло опасность. И еще до того, как сказанное оценила моя душа, взвыло все мои мыслимыми регистрами остальное существо.

Мне даже показалось, что выли мои руки, ноги, живот и, конечно, голова – но как может быть существо без участия головы!

Может, уж думаю из нынешнего своего взрослого бытия, что нутро и есть никому не понятная интуиция, проще говоря – чутье, которое все знает наперед! Но знает и чуёт каким-то потаенным знанием, и я подумал – может, оно раньше всех – раньше мамы и отца, раньше партии и правительства во главе со Сталиным, раньше всего и всякого – знало: это последний, может быть, Новый год я могу встретить

с отцом, дальше – война, обрыв, тьма, и сквозь нее ничего разглядеть невозможно!

А в Новый год все должны быть вместе, пусть и в гостях каких-то, а не дома – но в такой праздник люди не-по-дели-мы! И нас нельзя! Ни за что нельзя поделить – я дома, хоть и с бабушкой, – а они! Где-то в чужом месте!

Без меня!

Моя душа скорбела горестно и искренне, отчаянно и беспомощно, может, даже прощальную интонацию услышали родители, которые терпеливо слушали мою слезную арию. И были они словно завороченные: мой папа, совсем еще молодой, да и большевик к тому же, и мамочка, медицинский лаборант, а значит, человек естественных наук, почти всегда знающий, где проходит черта, за которой начинается нездоровье.

Она первая и сказала взрослыми словами:

– Будет тебе так заходиться! Пойдешь с нами.

Мое уставшее, натруженное предчувствием нутро будто разом отключилось от всяких горестных состояний. Ему требовалось доброе понимание, а может, сочувствие. Я глубоко вздохнул и, не требуя дальнейших подтверждений, стал собираться на Новый год в чужой дом.

Моя мамочка откуда-то знала, что на кухонной площадке, учитывая тесноту комнат, выходящих в коридор, будет установлена высокая елка и для нее не хватает игрушек. Она сбегала в магазин и елочных игрушек купила. Несколько из них она повесила на нашу собственную маленькую елочку – ее устроили прямо на столе, и я водил пальцем по сияющим поверхностям золотых шаров, по серебряным бусам – потому что сказочная гладкость рождала во мне предчувствия чего-то необыкновенного, волшебного и ни с чем не сравнимого. Особенно нравились мне ярко-красные пульки на ниточках с проволочными приспособлениями внутри. Пульки, очень даже не маленькие, сравнимые – если бы я что-то знал об этом в то время – с малюсенькими снарядами – висели на ветках, склоняя их своим весом. И были удивительным образом тяжеловесны и странным образом убедительны. Печально, пожалуй, слышится – но тяжело убедительными.

Что-то подобное сказал и дядя Гриша, когда мы вечером под Новый год пришли в тот, известный уже, дом, поднялись по железной лестнице и увидели елку с редкими игрушками в пространстве между кухонными столиками, на которую мамочка стала развешивать принесенные нами игрушки, среди которых оказалось штук пять красно-золотистых пуль. И вот дядя Гриша, вышедший нас встречать,



глянул на них, потрогал рукой, о чем-то подумал и сказал, обращаясь к отцу:

– Для какой, думаешь, это системы?

Отец, похоже, и сам был озабочен такими сравнениями. И ответил не раздумывая:

– Зенитные патроны. Крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина.

– Что вы говорите! – возмутилась моя мамочка, обнимаясь с тетей Линой. – Это просто елочные игрушки! И хватит придумывать лишнее!

## 6.

Новый год в коридоре оказался самым шумным и многолюдным в моей детской памяти.

Оказалось, что все столы и столики из кухни можно переместить в этот широкий коридор, к ним вдобавок вытащить столы позначительнее, почти из всех комнат, где жили люди, а к ним прибавить множество стульев разной конфигурации – от породистых, венских, до угловатых самодельных, табуреток, топчанов и всего иного, на чем можно сидеть – пусть без удобств, но надежно, уверенно и спокойно.

Поверх столов женщины раскатали скатерти не первой новизны, а кое-кто и простыни, а мужчины ввернули в электрические патроны, торчавшие вдоль стен, лампочки поярче, и коридор не то чтобы засиял, но просветлел, может, даже заулыбался людям, молчаливо укоряя их: а разве, дескать, нельзя, чтобы я был освещен так всегда!

Потом, вспоминая праздник, мне мамочка пояснила, что, конечно, нельзя и что лампочки, освещавшие общий тот коридор, сменили на маленькие и тусклые уже утром, потому что хоть и немного, но за электричество надо платить и все жильцы этого коридора дружно порешили вернуться в привычный сумрак, нежели тратить деньги. И так-то у всех не-большие.

Но в тот вечер!

Стол, протянувшийся вдоль всего коридора, от начала и до конца, блистал разнообразной посудой – от барских откуда-то фаянсовых блюд, даже блюдищ, до малюсеньких кофейных блюдец с такими же чашечками, в которые потом нальют вино, с вилками и ножами обочь тарелок разных пород и фасонов, а чашки, супницы, мисочки и даже различных размеров таз, полный салата, сияли, сверкали и, кажется, слегка шевелились, поскрипывая и постанывая в предвкушении празднества, готовые отдать свое содержимое щедрым устроителям такого парада.

Застолье собиралось долго. Возле стола энергично передвигались многочисленные женщины, большинства которых я не знал, как и не знали мои родители, и тетя Лина активно представляла их здешним старожилам.

Мама, поворачиваясь ко мне время от времени, охала и ахала, тихо причитая:

– Ой, как бы запомнить! Как запомнить!

И я сочувствовал ей, даже не пробуя запомнить имена и фамилии здешних хозяев и, кстати, их гостей, потому что таких, как мы, приглашенных, было еще несколько: все это вместе взятое называлось «складчина».

Впрочем, непонятное такое слово после его пояснения стало очень даже понятным. Оказывается, те, кто собирался на коридорный праздник, дали деньги, все поровну, и вот на эти деньги застолье и приготовилось: купили овощи, мясо, кур, колбасу и все-все-все, что требуется для праздничного стола. Только на шампанское не хватило, как скажет позже папа, но все дружно обошлись и без шампанского, а беленьким и красненьким.

Где-то к половине одиннадцатого застолье окончательно утряслось – все стулья и табуретки оказались заняты, кроме нескольких, тех, что поближе к входу возле лестницы и, таким образом, к елке.

Вся наша семья была пристроена у двери, ведущей в комнату дяди Гриши и тети Лины вместе с их дочкой. И они, наши друзья, сели справа и слева от нас, как бы окружая и помогая нам свободно чувствовать себя в коридорной системе.

Напротив нас сидела семья Андреевых, как мы узнали сразу же. Черноглазая тетя Зина, бледный, лысоватый, улыбчивый Леонид Петрович, попросту – дядя Леня, и их сын Левка.

Когда его представляли, мой папа вроде как пошутил, уточняя:

– Значит, Лев! Царь зверей!

Но мальчик моего возраста, совсем не теряясь и, похоже, не в первый раз, бойко откликнулся:

– Нет! Просто Левка!

И пояснил моему слишком разборчивому папе:

– Ну какой я лев!

Все рассмеялись. Вообще-то рассмеялись сначала мы, все, кто участвовал в разговоре, но скоро папин вопрос и Левкин ответ пошли по цепочке вдоль длинного стола, и там раздавался смех, и Левке хлопали издали, а он вставал и всем аплодисментам шуточно кланялся.

Так что Левка стал именинником на подступающем новогоднем празднике. За несколько буквально минут.

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронесся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из черного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлевские часы – по имени куранты – отбивали двенадцать тяжелых ударов.

Впрочем, ведь наш город был восточнее Москвы, и если там, в столице, по радио рассказывали еще разные шутки – а репродуктор вывели в коридор и включили на полную катушку, – у нас-то праздник наступал на час раньше. И взрослые, шумливая, переговариваясь, споря и восклицая, стали наполнять свои сосуды.

В это мгновение в проеме двери, ведущей на кухню, появились трое, и все как по команде стихли.

Мужчина был высок и строен, довольно молод, но одет в синюю военную форму.

Мы-то ведь с раннего детства знали, что военные в зеленой форме – это армия: и пехота, и артиллерия, и танкисты. В черной форме – моряки. А вот в синей...

Я толком не знал, кто носит синюю форму, а взрослые, видать, знали все, и я посмотрел на своего папу вопросительным взглядом.

Он понял меня и ответил мне шепотом на ухо:

– Энкавэдэ!

Я смутно догадывался, что это какие-то внутренние дела, милиционеры, например, а высокий человек громко сказал всем, ни к кому персонально не обращаясь: «С наступающим вас, дорогие соседи!» – и сел на табуретку. И возле него, с обеих сторон, устроились его жена с толстой косой, уложенной на голове будто царская корона, и его сын

Владька, про которого я уже кое-что слышал.

И все будто выдохнули воздух, набранный в себя. Чей-то женский голос крикнул:

– Спасибо!

Кто-то, из мужчин, добавил:

– И вам того же!

А Ларкина бабушка Лиза, полупарализованная какой-то жестокой болезнью, с рукой, висящей плетью, запоздало и вовсе не тихо проговорила:

– Вашими молитвами.

Её слышали все.

7.

И вдруг раздался тоненький звук колокольчика. Вначале мне показалось, что звук этот просто слышится.

Я повернулся к середине стола и увидел, что чем-то очень похожим машет в воздухе Аркадий Васильевич. Постепенно все угомонились.

А он громким, уверенным голосом проговорил:

– Дорогие соседи! Дорогие друзья! Через несколько минут к нам придет Новый год! На час раньше, чем в Москву.

Все притихли – как-то настороженно, тревожно.

– Что он принесет нам? Мы думаем об этом каждый по-своему и верим, что все будет хорошо. Но мир в тревоге. Немцы стали хозяевами всей Европы! И нам надо... надо собраться с силами. Сплотиться, сжаться, объединиться – не просто так... – Он обвел рукой стол. – А соединиться духом вокруг одной идеи, одной цели, одного человека.

Тут он помолчал мгновение и проговорил:

– Да здравствует СССР! Да здравствует товарищ Сталин! С Новым, одна тысяча девятьсот сорок первым годом!

У меня в железной кружке ждал своей минуты сладкий морс, а взрослые чокались своими напитками. И все кричали наперебой:

– Ура!

– С Новым годом!

А я услышал, как бабушка Лиза с недвижной рукой опять сказала как-то невпопад:

– Помогите им, Господи!

Я еще подумал про себя: о ком она? Кому – им? Все остальным, что ли, кроме нее?

Но стол бушевал, кричал, светился, и час, который отделял нас от столицы, пронесся одним мгновением, а потом мы услышали голос Москвы, который прозвучал из черного и круглого репродуктора. И услышав, умолкли: там кремлевские часы – по имени куранты – отбивали двенадцать тяжелых ударов.



А что бояться меня, не понял я, спросил что-то, уж не помню и что.

Вечером мамочка, уложив меня спать и подоткнув одеяло, несколько раз повторила, нутужно улыбаясь:

– Никогда не подкрадывайся, сынок! Не подкрадывайся ни к кому! Понимаешь!

Ничего, конечно, я не понимал, и слов таких не понимал – арестовали! арестовали! – но тетя Лина перестала к нам приходить, хотя они с мамой дружили еще со школы. Мамочка говорила отцу об этом при мне, но он почему-то отвечал, что надо подождать, пусть пройдет немного времени, и все выяснится, и Лина сама к нам зайдет, чтобы рассказать подробности.

Мама охала и ахала, но отца слушала, а потом к нам зашла ненадолго тетя Зина Андреева, мама Левки, который сидел в Новый год напротив меня и не желал называть себя Львом.

Единственное, что я услышал и понял, – были слова тети Зины, будто ее прислала Лина. Сама идти не хочет по какой-то такой непонятной причине. Но отправила ее.

И тут взрослые засобирались в магазин, а меня оставили ненадолго дома. Такое уже бывало и раньше, так что я не удивился.

Из магазина мама вернулась одна, с пустой авоськой, повесила ее на крючок и посмотрела сквозь меня. Обычно всегда спрашивала меня – что да как, интересовалась всякой мелочью, даже заглядывала в мой горшок, а тут молча села и так присела, пока не появился отец.

Едва он вошел, первое, что сказала ему:

– Гриша уехал в командировку.

Отец кивнул, не удивившись, ответил:

– Я знаю.

И на этом про дядю Гришу они забыли. А я вот почему-то не забывал. Зачем-то, без всяких причин и поводов, дядя Гриша вдруг возникал передо мной ни с того ни с сего.

Он был худощавый, жилистый, невысокого роста – самый маленький во всей их коридорной системе, но бодрый. Говорил четко, понятно всем, даже мне, но не болтал, а как объяснял сам же – высказывался. Ну вот и все. Уехал в командировку, так ведь это же по работе, так полагается. Никак я не мог взять в свой малой толк, отчего же при упоминании этой командировки мамочка как-то понижает голос.

Несколько раз опять приходила тетя Зина, и у мамы был всегда уже готов для нее небольшой сверток с едой, которую мы не ели, например, твердой колбасой и таким же твердым сыром, и она их

просто отдавала Зинаиде, разговаривая совсем о чем-то другом, и Левкина мама забирала этот, не такой уж большой сверток. Но однажды между ними проскочило словцо, не очень мне понятное, но в то же время и очень простое: «Передача».

Кажется, это тетя Зина сказала о какой-то передаче, но мама насторожилась, сделала паузу и тут же кивнула:

– Конечно, раз человек заболел, ему надо передачку отправить. В больницу не очень-то нынче пускают.

Так и проскочило это, случайно произнесенное словцо, и я, как хотела мама, не клюнул на него. Да и откуда я, начинавший жить малец, мог знать, что у некоторых русских слов бывает несколько совсем разных пониманий.

## 9.

Между тем никакую тайну не скроешь.

Однажды все та же тетя Зина пришла к нам не одна, а со своим сыном Левкой, и, приняв мамин сверточек, они позвали меня к себе, мама согласилась, услышав, что тетя Зина проводит меня обратно до самой калитки, и мы отправились к Левке, болтая о всякой мелочи, не оставшейся в памяти.

Комната, где они жили, была поменьше, чем у дяди Гриши с тетей Линой, и крайне просто обставлена. Широкая родительская кровать за ширмой и узенькая койка для Левки, а между ними, у окна, обеденный стол.

Я запомнил, что вся остальная часть пола была завалена детскими принадлежностями – кубиками, машинками, в большинстве своем поломанными и неновыми, медвежатами с оторванными лапами и безголовыми клоунами. Не было ничего, сделанного из стекла, а остальное валялось свободно и непринужденно.

Впустив нас в комнату, тетя Зина заворчала на Левку, дескать, опять он не убрал, но ведь и она тут хозяйка, так что ворчанье сменилось быстрыми шагами, и пол в две минуты очистился, а тетя Зина провела по нему влажной тряпкой. Стулья были приперты к столу, так то мы присели на край Левкиной кровати и о чем-то там болтали, заводили не заводящиеся машинки, тщетно пускали их по полу, они порой включались и непременно въезжали в тети-Зинины тапочки, а она всякий раз вскрикивала, хотя это ведь не больно, и все вместе мы смеялись.

И вот тут-то все мне стало известно. Потому что Левка, перебиравший в голове, чем еще передо мной можно похвастаться, сказал громко и с гордостью:

- А у нас дядю Гришу арестовали!  
Я увидел, как остановилась и сразу согнула плечи тетя Зина. Потом вскинулась и крикнула Левке:  
– Прикуси язык!  
Я знал, что прикусывать язык очень больно, и по-прежнему не знал, что значит – арестовали. Поэтому спросил вслух об этом.  
Левка опять отличился:  
– В тюрьму посадили!  
– Да нет! – воскликнула тетя Зина. – Его просто... Просто попросили задержаться. С ним беседуют. И вдруг воскликнула, сверкая черными глазами:  
– Он под следствием! И его отпускают! Он не виноват! Придрались к человеку!  
От таких взрослых выражений дети тогда прижимали уши, умолкали, прятались по углам. И я притаился, ничего-то толком не понимая... Только чувствую.  
Я почувствовал, что мне бы надо поскорее домой. И сказал об этом тете Зине. Она зорко посмотрела на меня, но ничего не сказала. Быстро оделась, и мы пошли по снежным улицам.  
Ведь стояла зима!  
Но перед тем как выйти из дома с его коридорной системой, мы столкнулись с тетей Линой. Мы выходили из коридора, а она вошла в него. И увидев меня, сказала, не удивившись:  
– Вот и Коля!  
Я поздоровался с ней дрогнувшим голосом. А она спросила:  
– Чего же ты к нам не зашел?  
Вот уж ударила она меня! Ведь Холодовы – то были наши давние друзья, не то что Андреевы! И если я не зашел к ним, когда узнал, что с дядей Гришей что-то случилось, то я – предатель?  
Я топтался. Потом неуверенно брякнул:  
– Могу зайти...  
Но голос тети Лины дрогнул. Похоже, она пожалела, что как будто укорила меня.  
– Нет, нет... – заторопилась она. – Все правильно, все хорошо, передавай привет маме! Скоро встретимся!  
И добавила смело:  
– Все вместе!

## 10.

Но мы так и не встретились до самого начала войны.

Снова, снова и снова вспоминаю я этот день – и всегда буду помнить, пока жив: мы сидим под цветущей вишней, а в цветах копошатся шмели,

жужжат монотонно и терпеливо, собирая сладкий сок, и солнце стоит прямо над головой, и я лежу на толстом, стеганом одеяле, а рядом мамочка, папа и дядя Миша, еще один его приятель, и взрослые пьют пиво из очень тоненьких стеклянных стаканчиков, предназначенных для чего-то другого, но тут пиво кончается, и мужчины встают, берут бидончик и уходят на угол, к магазинчику, где торгуют разлитым пивом из бочки. Но тут же возвращаются, идут быстрым шагом, будто куда-то опаздывают, подходят к нам уже почти бегом, и папа говорит:

– Война началась!

Тишина и покой сразу кончились, хотя и шмели гудели по-прежнему, и молчаливо цвели вишни, не принимая к сведению того, что там стряслось с людьми.

Папа переоделся и ушел на работу, а вернулся поздно и сказал, что записался добровольцем. Ведь он был партийным, как всегда объясняла мама.

А дня через два, к вечеру, к нам пришли нежданные гости: дядя Гриша и тетя Лина.

Увидев приятеля, отец молча поднялся, молча подошел к нему и молча обнял. Дядя Гриша, отступив и глядя папе прямо в глаза, неожиданно сказал:  
– Я ведь артиллерист, как ты знаешь. Комбат стодвадцатидвухмиллиметровых гаубиц образца тысяча девятьсот тридцать восьмого года. С опытом финской кампании. Таких мало. Могу пригодиться. Вот и отпустили.

Они присели на стулья, и тетя Лина заплакала, сказав:

– Из огня да в полымя!

Но дядя Гриша обнял ее за плечи и даже не сказал, а пробормотал:

– Это просто разумное решение. И я не осужден. Только под следствием, а оно ничего не нашло. На войне от меня пользы будет больше.

Они с отцом ушли на войну в разные дни, и дядю Гришу отправили первым – но не на запад, а почему-то на восток. Тетя Лина потом скажет, что ему поручили принимать в тылу артиллерийские орудия. А отец, по армейскому званию рядовой, был послан в военные лагеря, для переобучения.

И вот тогда мы с мамой, оставшись одни, пришли в гости к тете Лине. Они обе плакали. Одна бабушка Лиза с рукой, которая не работала, смотрела на них сухими глазами и повторяла:

– Все, что было, прошло. Готовьтесь к новому.

Будто каркала, хотя и произносила эти слова совсем негромко, себе под нос, но настойчиво и уверенно, словно какая-то предсказательница.

Только мы с Ларкой сидели, ничего еще толком не понимая. Да и посадили нас зачем-то рядом, как двух желтоклювых птенцов. Мол, хлопайте глазами да помалкивайте: детям еще рано такое понимать.

Эх, матушки, наши лапушки! Знали бы, что я спросил Ларку, когда мы вышли из-за стола и отправились погулять в коридор, где раздавались детские голоса.

- Значит, – спросил я, – дядю Гришу брали по политической?
- Ну да, – ответила она и выдохнула, как выдыхают откупоренные бутылки с морсом.

## 11.

Первый раз я видел коридорную систему после объявления войны. Ничегошеньки в ней не переменялось. Хотя нет! В дальнем от входа углу, повыше лампочки, тускло мерцающей, на каком-то огромном гвозде повисла детская ванночка – не такая уж и маленькая – из поблескивающего металла, которыми покрывают крыши новых домов, оцинковки, как я позже узнал.

Просто она тускловато блестела, и пространство широкого коридора от этого чуточку убавилось.

В коридоре возник Левка в каких-то коростах на лице: то ли заболел, то ли с кем-то подрался, но его бодрый голос означал его абсолютное здоровье и жажду действий.

- Ну че? – обрадованно воскликнул он, совершенно не принимая во внимание, что началась война и дядя Гриша уже уехал принимать тяжелые орудия.
- А через плечо! – откликнулся хрипловатый голос мало мне известного Дольки. Была тогда у пациентов вот такая словесная переключка, мало, надо сказать, цензурная, но не самая дерзкая. Как мне тогда казалось.
- У тебя-то отца не берут, – придирился лохматый Долька.
- Дак у него ТБЦ, – оправдался Левка.
- А что это такое? – спросила Ларка.
- Он болел туберкулезом, – почти крикнул Левка. – С ним не берут.
- Болел! – не унимался Долька. – А не болеет!
- Болел – не болел! – злился Левка. – Это дело врачей, а не твое, фриц!
- Что-о-о! – заорал Долька и кинулся с кулаками на Левку, да попал ему, похоже, в коросту, и тот взвыл, может, и не столько от боли, сколько от обиды, и проорал:

– Да хуже, чем фриц! Ты же не Долька, а Адольф! Как и Гитлер!

И закривлялся:

– Здравствуйте, фюрер! Адольф Фрицевич!

И тут началась свирепая драка. Долька был постарше Левки, ну, может, на год, но в дошкольные времена год – это не просто много, а о-очень много, даже если говорить только о росте и мускулатуре, – и Долька лупил бедного Левку почему зря. Тогда говорили: метелил.

Но Левка оказался живучим и упертым.

– Гитлер! – кричал он. – В нашем коридоре! Живет Адольф!

На крики выскочили из своих комнат дядя Леня Андреев и Нюра, Долькина мать, так ее звали все взрослые в коридоре. Вышли зачем-то и Аркадий Васильевич со своей женой Милой, а из-за них высовывался Артур.

Но Долька с Левкой не утихали, сражаясь друг с другом. Хорошо, что никто из них не упал, – другой непременно бы воспользовался случаем и пнул ногой, а это было бы уже за пределом простой потасовки.

Дядя Леня схватил Левку за шею, а перед Долькой выставил ладонь. Нюра хлопыгнула Дольку влажной тряпкой, которую, как орудие главного калибра, вытащила откуда-то из-за спины, и он скрылся.

– Ну и ну! – воскликнул Аркадий Васильевич, который, как я понял еще в Новый год, был здесь если и не за главного, то за самого уважаемого. – Ну и ну! – повторил он. – Военные действия в собственном коридоре! – И проговорил совершенно непонятное: – Разброд в собственных рядах – это первый шаг к поражению. Хоть на фронте! Хоть дома!

И сердито скрылся за своей дверью. Вместе с женой и сыном.

Потом Левка подробно рассказал мне, что полное имя Дольки – Адольф – он не у постороннего какого-нибудь узнал. А у самого Дольки.

Тот горевал, тосковал, говорил, что имя придумали родители, которые в Бога верить отказались, как того требовали с большевиков. Даже если это были самые простецкие большевики – у Дольки-то отец работал шофером на автобусе. Так бы назвали его просто Ванькой или Санькой, да и дело с концом, но ведь выискали же Адольфа!

И если бы Долька сам не начал, сам не стал кричать, что Левкиного отца в армию не берут несправедливо, никогда бы он не стал ссориться с Долькой. Даже драться.

Детская эта драка в общем коридоре стала предметом обсуждения и взрослой публики. Моя мамочка



ка сказала тете Нюре, что знает семью, где парень постарше Дольки тоже назван Адольфом, но все его кличут Адькой, а это может быть производным от Владьки, к примеру. Но Нюра не спросила, а сказала тоскливо:

– Да ведь в свидетельстве-то осталось?

Мама кивнула и сумела добавить лишь одно утешение:

– Ну кто их смотрит, эти свидетельства?

– Надо его переименовать! – твердо сказала тетя Нюра.

Говорила мамочка с Нюрой при мне, прямо в коридоре, теперь Долькиной тайны не существовало, и хотя он-то вообще ни в чем не был повинен, расплачиваться приходилось ему.

С одной стороны, это вызывало к нему сочувствие, а с другой – что же поделаешь: написано пером, а не вырубил и топором.

Под легкомысленным именем Долька скрывался всем ненавистный фюрер.

## 12.

Тот, сорок первый год, так счастливо начавшийся в общем коридоре, становился все непонятнее: страна голосом знаменитого диктора Левитана объявляла нам о все новых отступлениях.

И, может быть, всякий раз даже для взрослых, не говоря про нас, ребятню, уверенные, но и печальные слова этого неведомого человека из Москвы каким-то непонятным образом больно касались нашей жизни.

Вторым, после дяди Гриши, взяли на фронт Долькиного отца, дядю Володю, потому что, как сказала тетя Нюра, он был шофер, а требовалось множество шоферов, чтобы оказать сопротивление врагу. Они ведь и машинами рулят, и даже самоходными орудиями, если потребуется.

Ушел он, как говорила тетя Нюра, заглянув к каждому соседу и со всеми попрощавшись за руку. Ясное дело, это было без нас, мы ведь живем в другом месте.

Так что дядя Володя, как и дядя Гриша, ушел из дома пешком, с вещевым мешком за спиной, без всяких проводов.

Не попрощавшись ни с кем, исчез и самый обрванный из всех соседей – Аркадий Васильевич, отец Артура. Как сказал нам потом Арик, просто за ним пришла легковая эмка, и отец сказал, что едет на аэродром. Потом сообщит, где он. Довольно скоро пришла телеграмма, что он в Москве и зачислен в штат Комиссариата иностранных дел.

Услышав такие слова, коридор как будто сник, удивляясь и не понимая, что это значит. Но втайне эти слова глубоко уважали. Это же известно: чем непонятнее, тем уважаемее.

А вот уход того высокого и худого дяденьки в синей военной форме, отца Владьки Деньгина, я нечаянно застал. Мы зачем-то пришли к тете Лине, Ларке и их обезрученной бабушке Лизе и только налили чай, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел он. Только не в синей гимнастерке, а в зеленой, но с теми же ромбиками в петлицах.

Он улыбался лишь чуть-чуть, лицо было спокойно, и тетя Лина назвала его Ильей Сергеевичем, отирая стул тряпкой – чтобы он сел.

Но он не сел, а чуть-чуть наклонил голову и сказал:

– Не беспокойтесь, я зашел попрощаться. Вечером эшелон на Москву.

И тут глаза его опустились, как-то заблестели, и он добавил:

– Берегите друг друга. Всем нашим коридором! И семью мою не забудьте, дорогая Лина Павловна! Мою Ольгу и моего Владьку!

Он сказал это каким-то безнадежным голосом, как-то очень нетвердо, даже неуверенно, но уверенно шагнул вперед, к тетя Лине, неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.

Моей маме он руку просто пожал, и Ларке, и мне, и бабушке Лизе. И бабушка молча перекрестила его здоровой рукой. Он вышел. Было слышно, как он стучит в другие двери. Потом в другие. Ко всем заходит и со всеми прощается.

Потом мы с Левкой обсуждали, почему синяя форма сменилась у него на зеленую, и туберкулезный дядя Леня пояснил нам, что Илью, похоже, перевели из органов в действующую армию, вот и все.

Добавил, вздохнув:

– Под пули.

– А чего? – спросил Левка отца. – Пули в органы не попадают?

– Еще как! – усмехнулся его бледный отец, но мы не очень-то поняли это взрослое объяснение.

Итак, Илья Сергеевич ушел на войну последним из мужчин коридорной системы. Его спокойное лицо мне запомнилось надолго хотя бы потому, что он пожал мне руку по-взрослому, не улыбаясь, да и какие могли тогда быть улыбки, когда человек прощается, уходя на войну!

И все-таки лицо его выражало что-то особенное. Спокойствие казалось совсем не успокаивающим, наоборот. Какой-то безнадежностью, даже отчаянием тихо бледнело оно.



Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да еще не сильно, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон!

Все, кто был в своих комнатах, вышли на кухню, к чугунной лестнице, ведущей вниз. Илья Сергеевич появился на пороге своего жилья, а за ним его молчаливая жена, тетя Оля, Ольга Петровна. И Владька.

Владька неожиданно подскочил и повис на шее отца. Молча. Долго не отрывался от его щеки, пока тот не ссадил на пол своего сына, самого из нас высокого и, вроде, взрослого. Обнял Ольгу Петровну. Спокойно и сильно.

Потом резко повернулся и подошел к краю лестницы. Сделал шаг вперед, приспустился на одну ступеньку, вскинул голову и приложил руку к фуражке со звездочкой.

Это длилось мгновение, может, секунду, может, две. Но я запомнил это лицо и эту честь, которую отдавал Владькин отец всем нам, оставшимся в коридоре: женщинам и детям. И единственному мужчине – дяде Лене Андрееву.

Отчего я так отчетливо помню эту сценку и уход на войну человека, про которого ничего не знал, да и видел-то его пару раз?

Столько лет, даже десятилетий прошло и столько разных бед, как черные тучи, пронеслось над моей собственной семьей, а вот Илью Сергеевича помню. Будто сидит в моей голове фотография горького цвета – именно вкусом обозначена она почему-то, как будто все заранее известно про этого человека мне, совсем малому мальчишке. И вот этот по-

следний шаг на железную лестницу, ведущую не на улицу, а в войну, я могу если и не понять, то почувствовать. Даже вкус горечи ощутить. Хотя ничего этого мне совсем не было положено.

Но война входила во всех по-всякому. Не зря же говорится, что собаки заранее чувствуют землетрясения и воют, страшась и тем самым предупреждая людей.

Почему же человек, пусть и маленький, – а может быть, именно потому, что маленький, – не способен если не воем, так словами выразить тревогу? Не может предчувствовать беду всей своей небольшой душой?

Я почувствовал. И испугался.

Удивительно, но этот страх заставил меня реже ходить в знакомый дом, к коридору которого я уже чуточку привык.

Скажу даже и поточнее: я стал бояться этого коридора. Как будто был перед ним виноват.

### 13.

Я встречал на улице Левку Андреева, и мохнатоголового Дольку, и Ларку. Ни разу не видел только Артура, будто он куда-то пропал. И Владьку. Левка всегда звал к себе, остальные были более или менее приветливы, как просто знакомые люди. Кто кивал, кто поднимал руку в приветствии, а Левка звал, да мамочка моя иногда ходила проведать тетю Лину, но я всегда находил причину отговориться. Чтобы не ступать на железную лестницу общего коридора, которая теперь меня почему-то пугала.

В ноябре судьба одарила нас сразу бедой и радостью.

На фронте ранили отца, и его отправили санитарным поездом на Урал, но поезд этот шел через наш город. И он попросил, чтобы его «списали» в здешний госпиталь. А в госпитале работала мамочка.

Вот так: и беда, и радость.

Через пять месяцев после начала войны отец вернулся! Ну да, в госпиталь! А потом ему снова надо было ехать на фронт, второй раз идти на войну!

Как это можно представить себе из наших нынешних времен и как это совершалось тогда, наверное, можем знать только мы, ребята той поры.

Что зависело тогда от нас? Что могло зависеть? Да ничего! Страна страдала вся, поголовно, и пусть раненый, да еще не сильно, солдат, когда и руки, и ноги целы, хотя, понятное дело, после поправки в госпитале снова должен сесть в воинский эшелон! И это считалось удачей! И даже чудом.





– Это надо же! Надо же!

Она и отцу повторяла свое причитание, как только рассказала ему о встрече мальчика с птицами, очень даже знакомого.

Папа плохо слышал, ведь его контузила авиационная бомба, которая грохнула рядом с укрытием, и, если бы не мощная церковная стена, за которой прятались солдаты, не осталось бы там в живых никого.

Может, потому папа часто лежал, уставившись в белый потолок палаты, и хотя рядом сидел я, да и мама приходила, – думал о чем-то как-то вытянувшись, чем-то встревоженный, будто ищет он ответа, а его и нет, этого ответа. Не бывает.

Когда мама, повышая голос, рассказала отцу про Владьку, тот закрыл глаза и недолго так полежал. Потом сказал непонятное:

– До Благовещенья не долежу. – Полежал опять как-то встревоженно. Потом повеселел, будто до чего-то догадался, и проговорил маме: – А почему его надо ждать? Благовещенья?

Я потом спросил у мамы, что такое Благовещенье, и она сказала, мол, церковный праздник. Бывает перед Пасхой. И я кивнул, потому что на Пасху бывают куличи. Если не бывает войны.

Отец лежал в госпитале еще довольно долго. Время от времени он спрашивал меня про Владьку, но я того не видел, а идти к нему домой почему-то не хотелось. После выписки из госпиталя отцу полагалось еще десять дней до отправки на фронт, и его выписали домой. После уроков я бежал домой, и, кроме бабушки, меня встречал отец – в своей довоенной штатской одежде – брюках, валенках на босу ногу, иногда в старом пиджачишке с довоенным стажем и в такой же неновой фланелевой рубаше, которую иногда, когда он был на фронте, надевал я.

И вот на третий день примерно он спросил меня, сколько же птиц в большой клетке у Владьки. Я рассказал, что когда был в их доме первый раз, там чирикало, по словам Ольги Петровны, десять. Но он же продолжал их ловить!

– Тогда, – сказал отец, – пойдешь сейчас к Владьке, только говори с ним без его мамы, и скажи ему тихонько, что я, твой отец, нашел покупателя сразу на тридцать птиц. Однако есть условие: выпустит их всех в одном месте и сразу. Как на Благовещенье. И пусть он принесет к нашему оврагу ту большую клетку, про которую я рассказывал.

Все получилось как в сказке. Только с одним Владька не согласился – не понес свою огромную клетку. Ольги Петровны не было дома, поэтому

Владька уверенной рукой как-то мастерски, не доставляя птицам неприятных мгновений, пересадил их в две не такие уж большие западни, и мы двинулись к оврагу.

– Кто же это, кто? – допрашивал меня Владька, но я повторял давно разученное.

– Это мой отец нашел покупателя. Но покупает не он, не отец. Отец сказал только про Благовещенье, это праздник перед Пасхой.

– Может, кто из церкви? – предполагал Владька. – А он точно придет?

Я не знал искренне и честно ответов на его вопросы, и когда подошли к нашему дому на краю оврага, мне пришлось сбежать за отцом. Он вышел и громко сказал, почти крикнул Владьке:

– Сколько денег за всех?

Владька назвал.

– По сколько за душу?

Владька ответил. Отец громко посчитал. Получилось почти тысяча, но не тысяча. Чуть меньше. И отец деловито, будто выполняя чье-то поручение, убрал из своей руки в карман несколько бумажек. Остальные передал Владьке, сказал строго:

– Пересчитай.

Тот сосчитал, кивнул головой, сунул в карман, а отец ему велел:

– Открывай с Богом!

– Как открывай! – воскликнул Владька. – А где получатель?

– Он мне поручил. Доверил. Деньги у тебя? Открывай!

И Владька открыл.

Навеки осталась во мне эта картинка!

Зима сдается весне, но снегу полно. День клонится к концу, но еще светло. Небо серое, но какое-то доброе, потеплевшее.

И в тишине – треск крыльев, распрямляющихся на свободе! Чирикание освободившихся и отлетевших. А еще молчание тех, кто не вылетел. Краткое молчание, завершающееся радостным возгласом свободы.

Некоторые птахи даже далеко не отлетали. То ли хотели сказать что-то напоследок, чирикнуть – не то чтобы благодарно, а удивленно. То ли просто не знали, что им теперь делать, на свободе-то, которая требует трудов, а не только радостного чириканья!

Это длилось минуту! Две! От силы три – и стало пусто. Наш добрый, древний мудрый овраг спрятал среди оголенных ветвей своих деревьев и кустов стайку птиц, которым предстояло встретить весну.

До срока! Раньше поры! Но Благовещение грянуло свободой этих птах – желтопузеньких синиц, крас-







имена, да еще и людей, давших русским их азбуку, и Левка спросил отца не без ехидцы:

– А как будем звать их ласково? Кирик и Мефик?

Тетя Зина хихикнула, заметила:

– Были бы парень да девка, что лучше, чем Олег да Ольга! Никто не забудет!

– Тогда бы подошли Петр и Феврония, – проговорил дядя Леня, опять выбрав из каких-то дальних далей.

Тот младенец, которого купали, орал во всю мочь, а тетя Зина смеялась ему в ответ и нежно целовала его и в носик, и в попку, а я, уже насмотревшись, норовил протиснуться поближе к двери, пока та же тетя Зина не поняла меня и не сказала, отпуская:

– Привет маме!

Я же не каждый день приходил в этот коридор, и поэтому новости достигали меня как-то концентрированно, когда, например, встречал на улице то Левку, то Владьку, то Дольку.

Понятно, что именно Левка, повстречав меня, сообщил, что тайные воры похитили детскую ванночку, смиренно серебрящуюся в углу, и общее собрание решило закрыть дверь в подъезд. Так что теперь у них на улицу провели звонок, и там висит список, сколько раз кому звонить, чтобы дверь открылась. Это раз. Но, главное, все наперегонки размышляют, кто ходит по ночам и ворует ванночки, ведь главное-то заключалось в том, что могли украсть картошку, которая стояла под кухонными столами, даже примусы, да и вообще-то керосин для них имелся при каждом производственном столике, и его можно было пожечь.

Коридор, когда я зашел, как-то сжался. На общей, у лестницы, площадке столиков стало меньше, пожалуй, только у Денгиных остался. А дверь, которая вела в сам коридор, на ночь тоже закрывалась, и у каждой семьи был свой ключ.

На стенах коридора появились гвозди и крючки, впрочем, никаких авосек с продуктами на них не висело – даже лук хранился теперь в комнатах, наполняя их запахами, не вполне приятственными.

Владька с матерью оказались передовым подразделением, которое первым встречало прохожих, где слегка напоминал о своем присутствии двухэтажный туалет и где звонил во весь голос уличный звонок.

Удивительно, но уплотнили морскими офицерами почему-то только тетю Лину, у Андреевых теперь числись трое детей, у Долькиной семьи комната была мала, а на самую большую комнату Аркадия Васильевича Бутакова, хотя он служил в Москве и находился, как повторяли, в служебной командировке, никто не покушался.

Бутаковы с таинственным Артуром и вечно командированным отцом не обсуждались. Но кое-что обсуждалось, и очень даже невесело.

Однажды я сам услышал, как Долькина мать, не очень-то и снижая голос, произнесла примерно такую мысль:

– Почему-то одним снаряды ноги обрывает, а другие в это время мирно размножаются!

– Нюр, Нюр! – сказала ей тетя Лина. – Окстись! Народ гибнет! Рожать надо! И Зинка молодец!

– А почему, – почти крикнула тетя Нюра, – одним можно, другим нельзя!

Ох, не понравилась мне эта перепалка!

Показалось мне, еще малому созданию, что тетя Нюра позавидовала Андреевым-то!

Но чего тут завидовать!

## 18.

Да и вообще, в Долькиной семье билась какая-то тоска. Хотя ведь война для них, можно сказать, закончилась.

Где-то в далеком госпитале лежит дядя Володя, пусть без ноги, но ведь живой же, живой, и вот стоит ему окончательно поправиться, он вернется домой. И уже сейчас, еще до его возвращения, понятно, что он придет, приедет, – да даже если его и принесут сюда на носилках, – и они же все-таки обнимутся – тетя Нюра, Долька и его отец. И все! Задолго до конца войны, для них все – или почти все горькое – закончится!

А мой отец? Он три раза уходил на войну. А дядя Гриша, Ларкин отец? Где он и как? Да, он хоть присылает военные треугольники без марок, но Ларка говорит, что папка ни о чем не пишет: «Здравствуйте! Я жив! Как живете вы? Пишите мне чаще!» И все!

И Ларка, и тетя Лина одинаковыми словами жаловались нам, что их дядя Гриша пишет очень строго, даже сухо и ни о чем не рассказывает.

– Значит, не может! – утешала их моя мамочка.

И пожимала плечами. Ведь наш папа тоже писал короткие и сухие предложения.

Зато, оказалось, шофер по специальности дядя Володя, Долькин отец, присылает длинные письма. Любит в них пошутить, например, написал тете Нюре, что ему снится один и тот же сон, как они, когда он приедет, обязательно пойдут на танцы, и успокаивал жену, да и сына, мол, ну что вы печальтесь, мне сделают протез, а сколько одноногих мужиков во всем мире умеют танцевать! Чем он хуже.

Мохнатый Долька от такого письма – а точнее, от таких писем, – каким-то образом теплел, ста-



Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьева наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: «Ура!»

новился, мне казалось, добрее. Было понятно, что они с тетей Нюрой готовятся к возвращению отца с одной ногой. Долька даже меня спрашивал, заохужего гостя:

– Как он будет по нашей лестнице подниматься?

Но, оказалось, Долька с матерью готовились встретить отца и еще одной тайной.

Однажды ко мне прискакал Левка Андреев, просто так, по-пацановски, и вдруг, среди прочей болтовни, сообщил:

– А Долька-то! Имя сменил!

– Во дает! – выдохнул я, но сразу понял: они готовятся встретить безноготца из госпиталя. Ну, на самом деле! Как это может быть, чтобы Адольф – хотя этот Адольф ни в чем не виноват! – встретил тяжелораненого отца с фронта.

Конечно же, я спросил Левку, какое же новое имя выбрал Долька вместе с тетей Нюрой, и Левка забуксовал. Никак не мог вспомнить это новое имя.

– Но зовут-то, как всегда, Долька!

Что-то не сходились концы с концами у Левки, сразу понятно, почему он Львом быть не рискует. И мы пошли с ним на улицу. Как-то незаметно я проводил его до его дома, и тут нам навстречу выходит Долька.

Улыбается мне, улыбается и Левке, а тот спрашивает:

– Я позабыл твою новую кликуху.

– Не кликуху, – ответил Долька, не обидевшись. – А имя. Долиан!

– А такое имя бывает? – удивился я.

И Долька ответил:

– Ну если и не бывает, то теперь есть!

И полез во внутренний карман, вытащил бумажку, трепетавшую на ветру, и дал мне прочитать.

Там было написано: «Долиан Владимирович Воробьев».

Я еще подумал тогда про себя, что даже фамилии Долькиной не знал. Какой-то молнией меня пробило: как же он жил раньше – Адольф Владимирович Воробьев?

Ну, и главное мне тоже довелось увидеть. Снова по какой-то причине я зашел в знаменитый коридор и сразу почувствовал легкое возбуждение.

Из дверей то и дело выглядывали все соседки подряд – и Ольга Петровна, и тетя Лина, и дядя Леня с тетей Зиной Андреевой! И даже Людмила Степановна Бутакова с сыном Артуром, которого я не встречал целую вечность.

Я даже и спросить ни о чем не успел, когда Левка просто тремя словами обстановку разъяснил.

– Воробьевы за отцом поехали! Сейчас придут!

Подожди!

И я дождался.

Сначала дверь сильно хлопнула, и на чугунной лестнице нарисовался Долька. Потом как-то боком вошел человек в солдатской шинели без погон и в шапке-ушанке. Он продвигался медленно и опирался на два костыля. Но ноги-то у него были обе. Он с трудом, не раз передыхая, двигался, не поднимая головы, но в какой-то миг остановился, сдернул с себя ушанку и поглядел наверх.

Это был дядя Володя! Такой же, каким я запомнил его в Новый, сорок первый год, только... Только, мне казалось, что тогда он был черным, как цыган, не зря же и Долька мохнатый под отца. Впрочем, дядя Володя и сейчас был мохнатым, но только белым! Почти снежным.

Но он крикнул своим голосом: «Привет!» – и все его голос узнали. И все закричали: «Ура!»

Весь этот коридор, вся коридорная система выстроилась в тот миг возвращения дяди Володи Воробьева наверху, вдоль перил, которые защищали кухонную площадку от лестницы, все смотрели вниз и все кричали: «Ура!»

А дядя Володя, осторожно опираясь на костыли, сначала поднимал их на ступеньку, потом, опираясь на них, переставлял одну ногу, а вторую волочил.

Нетрудно было понять, что другая-то нога у него не своя, а протезная.

Сзади дяди Володи хлопотала тетя Нюра, но ей только это и оставалось – хлопотать, передвигаясь по каждой ступеньке то вправо, то влево, и еще, наверное, она страховала мужа, если он вдруг не удержится на костылях и начнет падать назад.



Ха-ха, конечно! О чем таком секретном могли болтать мы, в ту пору совершенно не разговаривавшие с посторонними дети? Да и какие посторонние могли быть возле нас? Мама и бабушки насквозь родные и ни о чем попусту не болтающие – до того ли им? Учителя в школе? Но это же особенные люди – они поставлены были учить нас всему хорошему. Я был совершенно уверен, особенно в младших классах, что подойди, например, к школе какой-нибудь незнакомый дядька или вовсе не известная тетка и спроси – ребята, мол, я ищу завод номер такой-то, на работу хочу устроиться – как ее бы скрутили всей школой, даже самые маленькие малыши, или побежали бы за учительницами, чтобы они помогли, или, бросив уроки, стали бы идти за такой личностью, пока не подоспеют милиционеры. Впрочем, за всю войну я не слышал ни одного сообщения, даже непроверенного слуха, что на такой-то улице или в таком-то месте задержали в нашем городе фашистского шпиона, свободно говорившего по-русски. Или не говорившего.

Так вот народный комиссариат иностранных дел казался совершенно таинственным и от нас далеким и потому совершенно не интересным.

Аркадий Васильевич за своей женой и сыном все не приезжал, но регулярно приезжали какие-то строгие люди, даже, однажды, я пораженно наблюдал двух молодых еще мужчин, но в шляпах – а в шляпах у нас в войну никто не ходил, – так вот эти в шляпах приехали к тете Миле на газогенераторке и долго переносили в кузов чемоданы и коробки из квартиры Бутаковых.

Вещи увезли, и комната оказалась пустой, и вот как раз в этот момент нас с мамочкой занесло в дружественный коридор.

Сначала, чтобы быть вежливыми, мы заглянули к Андреевым, и мама повосхищалась двумя пупсиками, которые, подрастая, верещали, как и принято радоваться любой живой твари. И тетя Зина, не переставая оживленно обсуждать с мамой здоровье малышей, успела отвесить подзатыльник Левке, разинувшего рот, но сидевшему за столом, и подать ему команду: «Не отвлекайся!»

Тут же она оправдала себя в наших глазах, выкликнув:

– Плохо учится! Двойки да тройки!

Тут же, мимолетно глянув на Левку, воскликнула сердито:

– Да еще на малышей валит! Они ему, видите ли, мешают! Я те помешаю!

Потом мы заглянули в комнатку тети Лины, всегда говорливой, но тогда молчаливой. Она сидела

на табуретке между двух венских стульев, на которых висели белые кителя морских офицеров, и подшивала к ним белые же ленточки, объяснив, что это свежие воротнички, пришиваемые каждый раз перед выходом, а ее квартиранты готовятся к какому-то торжественному случаю.

Тут же тетя Лина сообщила, что дядя Гриша исправно пишет и ему присвоили звание майора, а теперь ведь у офицеров погоны – видите, мол, какие красивые у моряков-то теперь мундиры, вот и у Гриши там где-то тоже. Но он ведь артиллерист, а там все не такие нарядные в сравнении с моряками, да и кто ему там, на передовой, свежий воротничок подошьет!

Тетя Лина всплакнула, мамочка ей помогла, и мы отправились попрощаться к Бутаковым.

Так вот, когда мама постучала и, наверное, раньше времени потянула дверь на себя, из комнаты раздался женский визг. И я торопливо сунул голову вперед. То, что я увидел, было не очень понятно. Перед нами, совсем близко, стояла вроде бы тетя Мила. В юбке, в тапках, в теплой кофте. Но голова ее была совсем голая. Просто лысая.

Она верещала, не переставая, потом кинулась куда-то за одинокий буфет и тут же вышла, поправляя кудрявую прическу. Во дает! На голове была ее отличная, даже с локонами пушистая прическа.

Я хлопал глазами, ничего не понимая, а разговаривать о непонятном происшествии было, конечно, неловко. Мама даже вроде поперхнулась и закашлялась. Потом с трудом пояснила, что мы зашли попрощаться и что она желает Бутаковым добра и удач, ведь тетя Мила уезжает в самую что ни на есть столицу – золотую Москву.

Тетя Мила, пришедшая уже в себя, махала руками, говорила, что им уже дали квартиру и на днях дадут пропуск в Москву – туда ведь в войну кого хочешь не пускали, – но квартира очень маленькая, хотя в самом центре, а у Аркадия должность не высокая, но с перспективой, и Артуру, который учит с детства английский язык, придется добавить еще и французский. А она, тетя Мила, будет работать в педагогическом институте и преподавать исторический материализм. Вот так, одной длинной фразой без перерыва она рассказала всю свою ближайшую жизнь и, будто споткнувшись, умолкла.

Эти два последних слова я тогда, конечно, не понял и не запомнил, сумев восстановить это уже только теперь, но и тогда мне удалось сообразить, что тетя Мила никакая не тетя и уж тем более не тетка, а может – чего не бывает! – какая-то такая ученая. Ученее, может быть, чем даже наши тутошние учителя.

















заканчиваются медленно. Как будто нехотя. Неторопливо, снова и снова обжигая задержавшимися сообщениями о найденных в окопах рассекреченных бумагах, с опозданием опознанных свидетельствах.

И тогда, скоро после Победы, узнавание и справедливость приходили не торопясь. А причины не походили друг на друга.

Одна такая зацепила и коридор.

Уже вернулся в свою старую семью дядя Гриша, уже почти наладилось довоенное бытие, уже окрепли голоса четверых братишек Андреевых, уже дядя Володя привык к своему протезу и ходил на нем, поскрипывая, но уверенно, уже давно коридор доел недетские конфетки с ликером из Франции от бывших соседей.

И, наверное, уже утешилась вдова Ильи Сергеевича Ольга Петровна, как и утешился сын их Владыка, как вдруг жизнь коридора взорвалась.

Одни говорили, что это произошло вечером, другие – что все началось ранним утром, но по чугунной лестнице поднялась высокая фигура – опять в солдатской шинели без погон, с поднятым воротником.

Впрочем, этого-то никто и не видел. Зато все услышали сдавленный короткий крик – не крик, а женский вопль, будто тяжелый выдох:

– А-а-ах!

Женский вопль трудно закрепить за личностью: нельзя понять, кто именно кричит, особенно поначалу.

Но кричала Ольга Петровна! А, открыв криком сдавленным что-то, выдохнув, умолкла.

На такой стон соседи не высказывают на площадку, мало ли какая боль ударила.

Но тут зачем-то вышли.

Ольга Петровна почему-то стояла на коленях, а ее пытался поднять худющий дядька – кожа да кости!

И этот дядька оказался Ильей Сергеевичем! Бывшим энкавэдэшником, потом пропавшим без вести!

Он оброс многодневной щетиной, был почти неузнаваем и наклонялся к жене, другой рукой обнимая Владыку, выросшего ведь за годы войны, длинного – в отца, и если не догнавшего его ростом окончательно, то почти догнавшего.

Соседи не знали, как себя вести. Даже орденосный дядя Гриша. И уж конечно, дядя Володя, бедный водитель, не способный больше водить автобусы.

Илья Сергеевич поднял жену, прижал ее к себе.

А потом, как рассказал мне Левка, просто отработовал совсем по-военному. Чтоб, наверное, сразу все знали его правду. И уже сами думали, что с такой правдой делать.

– Меня ранили. Я попал в плен. Работал у них на заводе. На военном. После победы меня осудили. И я был в нашем лагере. Теперь освобожден.

Левка сказал мне, что взрослые коридорной системы повели себя по-разному. Дядя Гриша шагнул навстречу дяде Илье, протянул руку и сказал:

– Раз выжил, надо жить.

А дядя Володя, хоть и простой шофер, наоборот, молча отвернулся и заскрипел казенной ногой.

Ну а дядя Леонид Андреев, Левкин батяня, обнял Илью Сергеевича. Тот стоял, не шевелясь.

Так сказал мне Левка. А я пересказал родителям.

Мы были все вместе, обедали, хлебали тощий послевоенный супец, и папа сразу отложил ложку. Опустил голову.

– Что скажешь? – спросила его мама.

– А что тут сказать? – ответил отец. – Ранение, наверное, подтверждено. А тех, кто попадал в плен, признавали предателями. Не позавидуешь. Хотя и живым остался...

А Илья Сергеевич вел себя интересно.

Левка говорил, что видел его в первое утро согбенным, почти горбатым стариком. Но, посидев дома денек-другой, вышел к соседям уже совершенно прямой, как до войны, в тот последний Новый год. И всем смотрел прямо в лицо, голову не опускающая и не отводя глаза.

Вот и мне он, встретив меня на чугунной лестнице, поглядел в глаза, неожиданно протянул руку и вдруг сказал совершенно нежданное:

– Знаешь, а я тебя там вспоминал!

Я дрогнул всем своим невеликим телом, всей душой: там, у немцев, в тылу – и я?!

И неожиданно для себя я протянул руку и потрогал его шинель. Я думал, что он в плену ее носил, и, наверное, хотел что-то ощутить, понять, почувствовать, как чует какая-нибудь животина, и сделал это молча. А он понял меня с полужеста и взял мою ладонь в свою.

– Нет! – ответил он на мой бессловесный вопрос. –

Те тряпки я сразу сжег.

Он пошел вниз по лестнице, а я стоял ошарашенный и своим жестом, и его кратким ответом.

Жили они очень бедно. Бродили разговоры, что Илья Сергеевич не может устроиться на работу, и он ходил разгружать уголь на станции. Потом его взяли на завод, потому что он оказался каким-то умелым работником, и все предполагали, что он обучился этому в плену.

Моя мамочка несколько раз относилась Ольге Петровне авоськи с мукой и подсолнечным маслом, а Владыка как-то спросил меня, не захочет ли мой





# ПРИЕМ, БАЛАБЭШКИН!



АГОН\_НОГА

На всю хату задребезжал телефонный звонок.

Дззззззрынь!

Мерзкий, протяжный и обнадеживающий. Дззззззррынь! Илья вылетел в кухню-веранду. Там, на другом конце жаркой комнаты, перед ярким витринным окном на белом столе разрывался настырным звоном желтый дисковый телефон. Дззззззррыыыынь!

– Алло? – Первой у аппарата, как всегда, была бабушка.

У Ильи просто не оставалось шансов. Бабушка все время проводила на кухне. То пекла, то варила, то жарила. Это давало ей вечную телефонную фору. Бабушка прижимала трубку к уху плечом: руки у нее по локоть запачкались в липкой муке.

– Да, говорите, алло?

– Это мама? – спросил добежавший Илья.

– Да!

– Это мама?! – обрадовался он.

– Что? Я не понимаю, вас плохо слышно!

– Это мама? – еще раз переспросил мальчик, уже настороженно.

– Что?

– Это...

– Да ты не «что?», нет, не мама. Все, давай, иди гуляй!

– Ладно, – разочаровался Илья.

– Нет, это я не вам. Да, газ: колонка и печь. Газ мы

уплотили уже. Да, квитанции есть! Как не уплотчено?..

Чем продолжился звонок, Илью уже не интересовало. Он протиснулся через бабушку, которая оккупировала своим разговором не с его мамой проем открытой двери, и вышел во двор. Летнее сухое пекло впечаталось в его гладкие детские щеки. Сегодня обещали +35 в тени. Пахло выгоревшей травой, плотной тенью ветвистого грецкого ореха и кроликами. Илья проверил уличный настенный термометр, испачканный белой побелкой. Да, действительно +35.

Бабушка закончила свой деловой разговор и повесила трубку. Она стояла в раскрытых дверях. Пожилая, но сильная яркая женщина в цветочном самодельном халате. Тысячи ее мелких морщинок заплыли кухонным потом. Она громко вдохнула и отпустила из легких весь воздух с тяжелым «Ох!..».

– А кто звонил? – спросил у бабушки Илья.

– Из газовой службы. Нада туда идтить разбираться. Говорят, что за газ не уплотчено...

– А мама когда позвонит? – перебил ее Илья.

– Не знаю, может быть, вечером. Вечером дешевле звонить, ты же знаешь. Может быть, в пятницу. Когда время будет, тогда позвонит.

– Давай мы ей сами сейчас позвоним?

– Ты совсем? Это ж межгород! Нет, сама пусть звонит. Нечего! – безапелляционно сказала бабушка.



Илья поплелся к забору. Спорить было бесполезно. Мальчик знал наверняка, что позвонить не разрешат.

- Со двора – никуда! – прикрикнула бабушка ему в спину.
- Ладно. – Илью не пускали гулять одного. Бабушка говорила, что очень волнуется и будет переживать.

Илья подошел к зеленой дырявой калитке, прислонился к ней лбом. По дороге, догоняя расписание, проехал автобус из города. Сюда мальчика привезли на этом автобусе. И мама, когда мама придет, тоже поедет в таком.

По другой стороне улицы шли местные мальчишки, человек пять. Они весело, залиристо ржали. У одного слетел шлепанец. Он, шаркая и хромая, догонял остальных. Пацаны возвращались с рыбалки. С длинными бамбуковыми удочками, молочными бидонами и шершавыми пакетами, в которых тащили свой скудный улов. Илья отпрянул от калитки. Ему показалось, будто мальчик без шлепанца его заметил. Но ребятам было слишком солнечно и жизнерадостно в собственной компании, а остальное не имело значения.

Вдруг проснулась и пропищала полдень радиоточка, которая еле держалась рядом с термометром. Проскрипела позывная мелодия, следом диктор пробурчал: «В эфире новости...» То, что сухим голосом говорили по радио, Илья не понимал и не слушал. А бабушка выбралась с веранды и внимательно, с тревогой смотрела на хриплый приемник, кивала в такт поступающей информации, прикрывая рот своей мучной ладонью.

Илья опять посмотрел на улицу. Рыбаки куда-то делись. Через дорогу, сгорбившись по-партизански, перебежал пестрый кот. Потом все застыло. Илья отлип от забора, пошел мимо бабушки. Бабушка заметила его краем глаза, и ее будто божьей искрой стукнуло!

- Ах, у меня ж там... – Бабушка скрылась в бурляще-кипящей веранде.

Илья подошел к уличному крану. С крана свисала свежая капля. На вентиле болталась дедушкина кружка. Илья приподнял ее и открыл воду. Дворовый родник брызнул вниз, в дребезжащее ведро. Ребенок прислонился губами к краешку крана, чтобы попить. Можно успеть сделать пару глотков, пока зубы и десны не свело от холода! Как дед пьет такую холодную кружками – непонятно...

- Не пей сырую воду, слышишь! Возьми из чайника! – Бабушка всегда начеку.
- Я просто умыться! – соврал Илья. Хотя, чтобы обман казался ему правдивее, действительно намочил шею и локти. Посвежел.

Ладно, тут делать особо нечего. Илья обошел во круг дома, проверил свою базу, которая размещалась под металлической лестницей, приставленной к чердаку. Там все без происшествий, к тому же довольно скучно. Он прошел мимо клеток с кроликами. Милые, но вонючие создания. Везде валялись черные жемчужины их экскрементов. Дальше начался огород: справа – кислая красная смородина, которую вкусно есть с сахаром, – бабушка скажет, что скоро обед и сахара не даст; посередине бесполезная рябина, неспелый виноград; левее вишня, слива и... черешня! Точно! Черешня.

Илья любил черешню. И ягоды, и дерево, на котором они висели. Черешня росла за уличным «нужником» – так его называл дед. С дерева было видно весь огород, бабушкин двор, даже соседский участок. Ягод она давала много, а залезать на черешню легко и удобно. Идеальный наблюдательный пункт, если бы не Белка!

Вообще, они с Ильей состояли в хороших отношениях, пока прошлым летом Белка не цапнула с голодухи Илью за руку, когда мальчик принес ей еду. Белку сильно тогда наказали, и, кажется, она поняла, что это каким-то образом связано с мальчиком. Поэтому старалась ребенка к себе не подпускать. Илья тоже остался не в восторге от такой собачьей благодарности за миску с объедками. Будка возрастной дворняги стояла на пути к нужнику, а стало быть, и к черешне. Значит, либо следовать в обход огородом, либо быстро-быстро пробежать, если собака спит.

Илья присмотрелся. Белка лежала в кривом прохладном домике и, кажется, спала. Так. Раз, два, три...

- А-а-а-а-а-а! – Мальчик побежал вверх по тропинке, мимо дурацкой собаки.

Вслед ему послышалось ржавое бряканье старой цепи, которая в момент натянулась, как струна. Бзынь! Раздался нервный пулеметный лай: «Тряф, тряф, тряф, тряф, тряф!»

- Ха-ха-ха-ха! – рассмеялся мальчик, но все же решил обратно вернуться через огород. Заодно можно будет клубнику поискать или зацепить огурец в теплице.

Черешня такая сочная, рыхлая и заслуженно вкусная! Каждая ягода величиной с большой палец на ноге! Шлепки соскальзывали с веток. Муравьи шныряли оголтелыми шеренгами, что-то там предпринимали. Сосед зачем-то поливал огород. Все же знают, поливать в такое пекло – спалишь весь урожай, так бабушка говорила. Илья запихнул несколько ягод в рот. Сорвал две на сросшемся хвостике



и надел это сокровище себе на ухо, как сережку. Съел еще ягоду.

Зазвенела калитка. Дед приехал с травой и велосипедом. Обычно он возвращался до завтрака, но сегодня, видимо, долго косил – привез четыре или пять мешков кроличьей еды. Он завел увешанную мешками «Украину» во двор и прислонил к белоснежной стене веранды. Снял свою кружку с крана, налил воды с горкой и залпом выпил почти до дна! Хрипло, от души крикнул: «Уорх, хорошо!», по привычке сбрызнул капли-остатки в подзаборные бархатцы. Кажется, бабушка что-то пробурчала ему с веранды. Наверное, что стену недавно белила и чтоб он свой «лисaped» не прислонял. А может, что он долго шлялся и что давно обедать пора. Дед встрепенулся, поволок добычу дальше, к крольчатникам. Распотрошил мешки, закинул свежую траву на крышу кроличьих клеток сушиться. Припарковал велосипед в зеленый сарай, закрыл провисшую дверь на щеколду и, шаркая калошами, двинул в сторону Ильи.

– Бека, Бека, Ср-р-р-ракобека! – поприветствовал он родную дворнягу.

Белка прогибалась, дергала круглым хвостом и улыбалась всей своей острой мордой. Собака сильно любила деда, вероятно, больше всех на свете.

Дед зашел за нужник и примостился, как он выржался, «поссять». Илья спустился с черешни, подошел к деду со спины.

– Дед, пошли на рыбалку?

– Илья! Ты? Фрух, напужал! – Дед засмутился, засуетился, закопошился в ширинке.

– Деда, ну пошли на рыбалку!

– Какая рыбалка, пекло такое! Днем рыба спит. Утром нада идти или вечером.

– Давай вечером тогда пойдем?

– Давай пожрем пойдем, Тося зовет. Там борщ и котлеты.

Есть Илье не особо хотелось, но не пойти он не мог. Дед придержал ногой Белку, чтобы Илья смог безопасно вернуться. Но мальчик на всякий случай пробежал мимо пулей. Белка проводила его косым взглядом.

Обедать сели на улице, за самодельный деревянный стол, в скупой тени навеса из прозрачной клеенки. Илья ел неважно. Кажется, черешневый десерт перебил ему весь аппетит. Он оставил полтарелки борща. Бабушка снова запричитала про остатки еды и орех. Мол, если Илья доест до конца, то станет большим и сильным, как грецкий орех. Мальчик искренне верил, ему пришлось поднажать. После котлет и компота дед крикнул, что хорошо поел. Сказал свое нежно-деревенское спасибо.

– Иди уже, – небрежно ответила бабушка.

– Ладно, подрубал маненько – пойду полежу!

Дед устроился на железной кровати здесь же, во дворе. Взял мухобойку, которую смастерил из куска автомобильной шины, и начал свою послеобеденную пассивную охоту:

– Н-н-н-на! О!

Мухи падали замертво.

– Дед, пошли на рыбалку! – опять попытался Илья.

– Да говорю тебе, рано. Рыбы нет! Спит вся рыба. – Дед поерзал и перевернулся на бок.

– Слышь! Чего ты улегся? Сходи с ребенком на рыбалку! – неожиданно вступилась за мальчика бабушка в повелительном тоне.

– Тося, какая рыбалка? Жарко же, – попытался откреститься дед, – да и удочек у нас нет! Ловить-то нечем.

– Сходи, сходи, ребенок просит! Давай, хватит валяться!

Дед поднялся, сел на кровать. Он тоже знал, что спорить не стоит. Дед даже не знал, а как бы жил с этим всем своим естеством. Такое особое знание проявлялось в его ?-образной осанке и добром, но осторожном взгляде, которым он посмотрел на бабушку Тосю.

– Ладно, давай, собирайся... Пойдем. – Дед бросил на подушку свою смертоносную мухобойку, а сам засеменял в сарай.

Илья зашел в хату, нашел выцветавшую кепку, залез в кухонный стол под телефоном и достал оттуда бидон побольше. Взял четвертинку влажного белого хлеба из эмалированной бельевой кастрюли со звонкой крышкой и пышными астрами по бокам. Во дворе дед прикручивал к длинной, кривоватой палке толстую леску и маленький согнутый гвоздик.

– Вот, смотри, удочка наша! – с гордостью сказал дед.

– А рыба на нее будет ловиться? – с недоверием спросил Илья.

– Еще как будет! – подмигнул дедушка.

Дед с внуком выдвинулись к реке. Идти не так далеко, жара уже начинала спадать, но асфальт нагрелся, словно утюг. Даже шлепки чуть-чуть прилипали. Воздух стал крепким и терпким, как двухдневная заварка индийского черного чая со слоном. По пути дед поприветствовал соседа, который теперь поливал свой сад.

– Здорова, Василь!

– Здорова, Витек!

– Что, поливаешь? – Дедушка знал, поливать слишком жарко...

Откуда-то из зарослей доносилось утиное покрякивание, лягушачье поквакивание и непонятно чье поерзывание. Камыши в какой-то момент расступились, показался кусок чистой заводи. Дед здесь выуживал ряску. Но сейчас ряска не зацвела, под водой виднелись спокойные, мрачные водоросли.

- Ага, а ты на рыбалку? – Сосед, заядлый рыбовод, знал, на такую удочку вряд ли что-то поймается...
- Ага, вот с внуком иду, – оправдался дед.
- Ну, давай!
- Будь здоров!

Дед с внуком подошли к реке. Дальше можно было либо спуститься к самому берегу, через камыши, либо пойти на пешеходный мост, где обычно сидели все рыбаки.

- Пойдем, я знаю место – во! – Дед поднял большой выдавший виды палец вверх. – Там рыбы полно!

Они пошли по тропинке, сквозь запах теплой речной воды и печеного камыша. Откуда-то из зарослей доносилось утиное покрякивание, лягушачье поквакивание и непонятно чье поерзывание. Камыши в какой-то момент расступились, показался кусок чистой заводи. Дед здесь выуживал ряску. Но сейчас ряска не зацвела, под водой виднелись спокойные, мрачные водоросли. Дед размотал свое изобретение. Илья достал хлеб из бидона. Дед насадил на маленький гвоздик кусок горбушки совсем не рыбьих размеров. Размахнулся и запульнул наживку далеко-далеко от берега.

- Теперь нада чуток подождать, – шепотом предупредил дед, усаживаясь на корточки.

Илья набрал в бидон воды, чтобы будущая рыба не задохнулась, и тоже сел на корточки. Солнце

ласкало коленки. Ноги выскальзывали из сланцев, касаясь мокрого грязного берега. Илья откусил кусочек хлеба. Ждать и жевать веселее, чем просто так ждать.

- Пора! – Дед встал и потащил свои снасти на берег.

Сначала – за кривой черенок, потом стал жадно выбирать леску руками. Только теперь Илья заметил, у удочки нет поплавка! С чего дед решил, что «пора» – загадка.

- Во, во! Смотри, Илья, поймали! Ура!

На крючке действительно висело что-то блестящее. Дед тянул все активнее и с гордостью поднял над головой на согнутом гвозде большущий шмоток зацепившихся водорослей!

- Ну, как тебе рыба? – торжественно спросил дедушка.
- Ха-ха-ха-ха-ха-ха! – по-летнему заливисто рассмеялся Илья.
- Говорил же! Ну, теперь вся рыба наша! – Дед улыбался желто-золотым ртом с прогалинами, распутывал улов с крючка и выпускал водоросли в бидон.

Дед снова закинул свою суперснасть, снова вытащил водоросли. Во второй раз получилось еще смешнее! Дед продолжал, выуживал на берег то моток длиной с руку, то шепотку – две-три водоросли. Это занятие его очень забавляло. А Илья к такому виду рыбалки начал остывать. Он косился на мост, который было прекрасно видно с заводи. Там потихоньку собирались первые настоящие рыбаки.

- Дед, деда, пошли на мост, там все рыбаки.
- Да зачем нам на мост, смотри, тут вся рыбалка! Вон, полный бидон наловили.

На самом деле дед рыбачить толком не умел. В лежачей охоте на мух он был большой специалист. Но в настоящей рыбалке – полный профан, если не сказать простофиля.

- Дед, ну пошли, пожалуйста, – заныл Илья.
- Ладно, давай. Но на мосту ты сам удить будешь, договорились?

Там деду могли встретиться соседи и товарищи. Сунься он туда с такой вот удочкой с гвоздем, его бы все засмеяли. А Илья, тот что? Ребенок – пусть играет.

- Хорошо, – согласился Илья.

Они поперлись обратно. Илья уверенно шагал впереди со своим бидоном, дед плелся сзади в образе индифферентного оруженосца.

Мост, сваренный из стальных листов в крупную дырку, сильно вибрировал под весом пешеходов.

Звук громычал, как паровоз или ансамбль медных тарелок, стучащих вне всякого такта. Здешние рыбаки увесисто шикали на топающих прохожих:

– Да тихо ты! Рыбу распугаешь!

Досталось и Илье. Мост будто загудел тысячекратно под его настойчивой походкой. Мальчик перевесился через перила, уставился в воду. Там стайка темных мальков неподвижно колыхалась около сваи, дрыгая мизерными плавниками. Дед зацепился с кем-то языком. Илья натер хлеб в ладонях и кинул рыбкам. Крошки упали на воду, медленно утонули, потом заметались и исчезли где-то в мальках.

Илья сел на мост. Металл кипел, нужно было немного привыкнуть, переминаясь с ягодицы на ягодицу. Мальчик размотал чудо-удочку, насадил плотный мякиш на кончик гвоздя и закинул к малькам. Мальки благополучно обглодали хлеб и отправили наверх пустой крючок. Илья сделал так опять – без толку. Дед распрощался с собеседником и приблизился к внуку.

– Клюет?

– Нет, – буркнул Илья.

– Ты скажи «Не клюет, а ловится!» – подбодрил его проходящий мимо сосед.

– О, здорова, Василь! Да, да, ловится, ловится! – неловко промямлил дед в ответ.

Василь нес профессиональные удочки, телескопические! Специальную сидушку и даже сачок – на случай внушительного улова.

– Не клюет, а ловится, – повторил магическое заклинание Илья.

Он смял мякиш в маленький шарик, нацепил на крючок и осторожно опустил в воду. Вдруг мальки вспышкой брызнули в стороны. Под водой показалась спина какого-то обитателя глубин покрупнее. Обитатель в порыве азарта, по неосторожности, по недосмотру схватил наживку! Леска дернулась вниз.

– Тащи-и-и-и! – заверещал дед.

Илья не растерялся, рванул леску вверх. Вжух! На мосту затрепыхалась молоденькая красноперка размером с ладошку. Илья подскочил и затопал ногами.

– Дед! Смотри! Это я поймал! Я рыбу поймал! Моя первая рыба! Дед, деда! Смотри! – визжал Илья.

Дед неуклюже прыгал, пытаясь накрыть красноперку ладонью. Схватил бедолагу и отправил в бидон, к мрачным водорослям.

Домой Илья не шел – летел! Он поглядывал на свою рыбку, поэтому немного спотыкался. Дед за ним едва поспевал. До забора оставалось еще метров сто, а Илья уже вопил:

– Бабушка, бабушка! Я рыбу поймал! Бабушка, слышишь, я рыбу поймал!

У калитки его нагнал дед, помог ему открыть. Илья бережно держал бидон с уловом. Бабушка вышла с веранды навстречу.

– Бабушка, слышишь, я рыбу поймал! – Мальчику мешала одышка.

– Ильюшенька, мама звонила, – осторожно ответила бабушка, – Теперь сказала, через неделю перезвонит...

– Мама... – Илья не смог ничего произнести.

Шея разбухла изнутри, в голову ударил пульс и холод. По щеке покатился кристаллик детской слезы. Илья с силой вцепился в бидон.

– Ильюша, Ильюша, – запричитала бабушка, потянула к нему руки, хотела обнять.

– Вы... Все... – Илью снова что-то придушило.

Бах! Бидон ударился об асфальт! Ребенок вырвался от бабушки и побежал прочь, рыдать в огород.

Дед молчал, бабушка качала головой, бидон валялся на мокром асфальте, красноперка скакала по двору в предсмертной агонии. Вечером ее скормили коту-партизану.

*Берлин, июль 2021 года*



# ЧЕРДАК С ПРИДАНЫМ



НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА  
Родилась в 1990 году в деревне Ворца Ярского района Республики Удмуртии, но вскоре переехала с мамой в маленький городок на юге Башкирии. Окончила факультет журналистики Уральского университета, жила в той самой комнате

в общежитии, где за четверть вена до нее жил Башлачев. Разговаривала с его портретом на стене. Работала журналистом, редактором, пиарщином. С 2018 года живет в Москве. Выпускница магистратуры «Литературное мастерство» Высшей школы экономики.

*Всем сильным женщинам, что живут в русских селениях и никогда не прочтут эту повесть.*

## ЧАСТЬ 1

Закрываю глаза. Летний день, шелестят листвою две березы, стоящие перед домом. Мне шесть лет, я бегу по двору, громко хлопаю железной калиткой и вдруг останавливаюсь. Я слышу березы, я вижу, как молодые зеленые листья танцуют на ветру, я чувствую запах. Это зелень травы, это взрыхленная жирная земля в саду, это солнце. Почему-то я уже знаю, что запомню этот день.

Закрываю глаза. Лето, мне лет восемь. Мы с мамой едем на велосипедах по обочине шоссе. Дорога огибает заполненный водой карьер, по берегу которого сидят с удочками рыбаки. Ветер в лицо, он пахнет стоячей водой, кувшинками и близким дождем. Мы с мамой поем: «Ведь ты человек, ты сильный и смелый! Своими руками судьбу свою делай! Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой». Я – во весь голос, мама – осторожно, боясь спутать мелодию, у нее ведь нет музыкального слуха. Иногда она перестает петь и быстро оглядывается на меня. «Ты чего, мам?» – «Ничего, так».

Закрываю глаза. Мне десять лет. Мы с мамой в огороде. Вообще-то это дача в дачном поселке,

но слово это в нашей семье не прижилось: больно интеллигентское. Мы выкорчевываем старую иргу. Ствол уже спилили с горем пополам, а теперь пытаемся извести пень. Мы подкопали его со всех сторон на две лопаты в глубину, а он даже не качается. Мама выбилась из сил и села на краю только что вырытой канавы. Я примостилась рядышком. Мама чернее тучи, я пробую спасти положение и начинаю тихонечко петь. «Плыл по городу запах сирени... До чего ж ты была красива...» Мама утыкается носом в колени, руки, покрытые грязью и царапинами, плетью лежат вдоль тела. Мама плачет. Короткие «ы-ы-ы» на вдох и длинное, горькое «ыыыы» на выдох.

Закрываю глаза. Мне семнадцать. Я собираюсь уезжать учиться в другой город. В голове – списки всего, что нужно взять с собой. Старая алюминиевая кастрюля с кривым дном и вмятиной на боку, трехкилограммовый железный утюг (год производства – 1990, цена 5 руб. 24 коп.), две тарелки из грубой керамики – глубокая и плоская, обе в мелкий невзрачный цветочек, небольшое махровое полотенце, голубое в цветную крапинку, – «хаер» соседки-татарки в честь чых-то очередных поминок. Мама лежит в своей комнате лицом к стене уже несколько дней подряд. «Мама, почему ты не идешь на работу? Ты взяла отпуск?» – «Я уволилась. Я тебя вырастила. Я больше не могу».

Набираю номер. Два гудка, три, пять. «Надю! Привет!» – тяжело дышит, бежала. Голос дрожит, теперь для нее это норма. «Привет, – говорю. – Как дела?» И, помолчав, будто пытаюсь разлепить внезапно слипшиеся губы, добавляю: «Мама».

\* \* \*

Мы жили в маленьком бревенчатом домике на окраине маленького городка. Снаружи домик был обшит тоненькими резными досочками и покрашен эмалью в оранжевый цвет. Домик глядел на мир рядами мелких окошек – по три на каждой стене, кроме одной слепой, что выходила в темный палисадник. Окошки были украшены голубыми ставнями, таким же голубым был фронтон – треугольник под крытой шифером двускатной крышей.

Внутри бревенчатый сруб был кое-как поделен перегородками на три комнаты: две маленькие спальни, в которые вмещалось лишь по одной двуспальной кровати, и просторный «зал». Двери в спальни были всегда открыты и заставлены мебелью. Почему-то бабушка считала дурным тоном их закрывать, и годами ей никто не смел перечить. Жизнь всех обитателей оранжевого домика была всегда нараспашку.

В таком нехитро организованном пространстве и прожили большую часть жизни мои бабушка и дед, в нем родились и выросли мои мама и тетка, в нем умерла моя прабабка. Это уже потом к дому пристроили просторную кухню, треть которой занимала беленая печь-голландка. Таким, подновленным и принаряженным, дом встретил меня, шестимесячную, на руках у мамы, вернувшейся в родительский дом после короткого неудачного замужества.

Шел девяносто первый год. Ничего не говорили в нашем околотке ни о «параде суверенитетов», ни о новом союзном договоре, ни об августовском путче. Дед выпивал и гонял по округе новенький красный «москвич», бабушка выкармливала сотню кроликов на мясо, чтобы за этот «москвич» расплатиться. Мама сидела со мной и вполсилы искала работу.

Вообще-то по специальности она технолог молочной промышленности. Но на молочном заводе, для которого техникум, собственно, и готовил рабочие руки, уже начались сокращения. Пару лет спустя зарплату оставшимся работникам стали выдавать банками с сухим молоком. А куда их девать, если в сарае стоит своя корова, а полки в двух одновременно работающих холодильниках уставлены трехлитровыми банками свежего молока, литровы-

ми – жирных сепарированных сливок и эмалированными тазиками домашнего творога?

Когда мне исполнилось два года и меня взяли в детский сад, мама устроилась работать почтальоном на телеграф. Она очень гордилась, что носит не тяжелые сумки с газетами, а маленькую борсетку с телеграммами. И что дают ей на работе «живые деньги», а не талоны и не продукцию предприятия по бартеру. Когда в девяносто седьмом году я пошла в школу, мама говорила, что только благодаря ее работе я иду на линейку в новом сарафане, новой блузке и новых туфлях. Другие, мол, наверняка придут в чужих обносках. Мама тогда получала две тысячи рублей в месяц.

Я сравнивала маму с другими почтальоншами, и сравнение было всегда в ее пользу. Вот, например, приносящая нам газету «Путь Октября» тетя Нина носила очки в толстой роговой оправе, а у маминих оправа была тоненькая, металлическая. А еще как-то тетя Нина рассказала, что накануне у ее сына Сережки – длинного тощего парня года на два постарше меня – был день рождения. Он просил торт и лимонад. «Печенья “Мария” купила, чаю попили, да и хватит с нас», – рассказывала она. На мой день рождения мама всегда пекла «Наполеон» с вкусным жирным кремом на сливочном масле.

Отчетливо я помню маму со своих пяти лет. Ей тогда было тридцать (как мне сейчас), а бабушке – пятьдесят семь (почти столько же, сколько сейчас маме). Мама всегда носила брюки или шорты, ездила на работу на велосипеде, красила только губы, выщипывала брови «в ниточку», редко и будто нехотя брила ноги (бабушка видела это и кричала: «Зачем ты опять их побрила? Волосы будут, как щетина у свиньи!»), считала, что арбуз можно есть только с хлебом («иначе не наешься»), вела со мной длинные разговоры о жизни и мечтала жить отдельно от бабушки.

Примерно тогда же мама начала строить планы о том, что она сделает, когда получит родительское наследство. Дед умер в девяносто четвертом от рака легких. Единственное, что я о нем помню, – это как он сидел на кухне у голландки и сворачивал «козью ножку», прикуривая ее от щепки. Видимо, его смерть убедила маму в том, что и бабушке недолго осталось. Самые задушевные мамини разговоры со мной всегда начинались со слов: «Вот когда умрет бабушка...» Она смотрела мне в глаза и строила планы, как хорошо мы с ней будем жить. А мне в такие моменты всегда хотелось прибежать к бабушке, прижаться к ее теплому боку, обнять и шептать: «Не умирай, не умирай, не умирай...»

Иногда с зарплаты мама тратилась на какую-нибудь симпатичную вещьцу – например, на трехлитровую керамическую супницу с розами на толстом боку и ручкой-капелькой на крышке, заворачивала ее в старую тряпку и поднимала на чердак – «на потом».

Мама всю взрослую жизнь собирала себе «приданое». Она покупала впрок тарелки, чашки, ложки, кастрюли, табуретки, простыни и скатерти. Все это хранилось на чердаке нашего – на самом деле, конечно, бабушкиного – дома. Иногда с зарплаты мама тратилась на какую-нибудь симпатичную вещьцу – например, на трехлитровую керамическую супницу с розами на толстом боку и ручкой-капелькой на крышке, заворачивала ее в старую тряпку и поднимала на чердак – «на потом». «Потом» или «со временем» – так стало называться светлое будущее, в которое верила мама. Будущее это значило только одно: «Когда умрет бабушка».

Я любила забираться на чердак и перебирать мамины вещи. Они все были новые. Нержавеющие ложки блестели, лежа в своих бархатистых коробках-гробиках, красные кастрюли в белый горох поражали чистотой и первозданной нетронутостью эмали. Мелкие чайные чашки – тоже красные, расписанные ромашками по бокам, – так и просили налить в них травяного чая. Вывязанные крючком салфетки ставили в ступор: зачем их так много? Обшитые вельветом табуретки будто приглашали присесть. Мне очень хотелось взять все это богатство и спустить в дом. Но стоило мне заикнуться об этом маме, как она приходила в ярость. «Ты с голой жопой хочешь меня оставить? Что я буду делать потом?»

В детстве это «потом» я просто ненавидела. Я и теперь его боюсь. Сейчас маме пятьдесят пять, а бабушке – восемьдесят два. Они носят одинаковую одежду и пользуются одними очками, одним мобильным телефоном и одними зимними валенками на двоих. Бабушка с трудом принимает в подарок одежду, потому что «все равно сдыхать скоро, лучше себе чего-нибудь купи». Мама подарила мне на свадьбу большую часть своего «приданого», а остальное так и побилось и погнило на чердаке за двадцать пять прошедших лет.

Я живу теперь далеко, и общаемся мы с мамой мало, в основном обмениваясь дежурными сообщениями о делах и здоровье. Но иногда мама звонит мне посоветоваться, что же ей делать «потом». Забившись в дальний угол своей темной спальни без окон и со старой шалью вместо двери, подальше от бабушки, она полным горечи шепотом рассказывает мне, что половины стоимости дома не хватит на квартиру (вторая половина полагается моей тетке, маминой родной сестре), и она не знает, как ей быть. Мне хочется завывать в голос и послать ее к черту, но вместо этого я говорю: «Успокойся, пожалуйста. У тебя все будет». Язык не поворачивается сказать «мама».

\* \* \*

У меня не укладывается в голове: еще недавно мне было столько же лет, сколько моему сыну Гоше сейчас. И мир вокруг меня был примерно такой же, как тот, в котором живет он. Мало что изменилось за двадцать три года, что нас разделяют. Вот мы с ним идем из детского сада, как мы с мамой шли двадцать три года назад. Вот он по дороге постоянно останавливается, отвлекаясь на что-то, а я его торможу, торопясь. «Мама, смотри я прочитал: “Сы-ры”! У меня получилось “сы-ры”!» – кричит он мне, остановившись, как вкопанный, у витрины магазина. «Бабушка, я поняла, как плести косичку», – закричала я однажды двадцать три года назад, присела на корточки прямо посреди улицы и стала заплетать волосы кукле Барби, зажав ее между колен.

В пятницу по телевизору, по первому каналу, всегда шло «Поле чудес». Вечером после садика я смотрела его вместе с бабушкой. Она уже тогда вздыхала, как надоел ей этот Якубович. Вчера (была как раз пятница), заходя с Гошей в подъезд, я увидела все те же седые усы на маленьком выпуклом экране в камерке консьержки. «Аавтомобиль!» – как и двадцать три года назад, прокричал









выходило дешевле. Скопив денег с продажи домашних кур, бабушка покупала на зиму два таких мешка муки: один высшего сорта, подороже, другой – первого, подешевле. Ста килограммов муки нашей семье из трех основных членов (бабушки, мамы и меня) и трех приходящих (тетки, ее мужа и сына) вприпрыжку хватало на три зимних месяца. Тридцать три килограмма в месяц, кило триста в день. Последний купленный мной бумажный пакет «Макфы» (масса нетто – 1000 грамм) стоит у меня в кухонном шкафу уже несколько месяцев. Неоткрытый.

Так вот, бабушка насыпала на доску горку муки, собирала пальцы в горстку – они уже тогда у нее были покрыты артрозными шишками и оттого казались заостренными на концах, будто специально вылепленными для пробуривания всяческих отверстий, – и превращала горку в котлован, куда заливала прямо из чайника кипяченую воду и разбивала два кривеньких домашних яйца, в которых часто бывало по два желтка.

Она замешивала тесто, тугое и упругое, как тело свежей селедки. Дырка от пальца на этом тесте исчезала с такой же быстротой, что и на рыбе. Бабушка делила сырой батон теста на три части, две из которых, хорошо вываляв в муке, отодвигала в сторону, а третью раскатывала по доске тонким пластом. Скалка у нее была старая, потрескавшаяся, и в трещинах забивались один за другим палеонтологические слои теста. Эта скалка казалась мне в детстве волшебной палочкой, способной обратить камни в хлебы. Остальные предметы кухонной утвари не пахли ничем, скалка волшебным образом пахла молоком и ванилином.

В это время на старой газовой плите, над синим-красным цветком газа, кипел густой куриный бульон. Бабушка им всегда очень гордилась: ее куры были такими жирными, что на бульоне всегда плавала желтая лужица расплавленного нутряного сала чуть не в палец толщиной. В девяностые это было символом достатка. «Не то что эти ваши синие американские окорочка с базара», – приговаривала бабушка, помешивая бульон половником из нержавеющей стали, подаренным ей кем-то из родни еще на свадьбу.

Мой двоюродный брат Женька как-то за столом обиделся на мать, вечно его одергивавшую, и неловко отвернулся от нее. Табуретка под ним была низкой, да и сам он тогда, что называется, пешком под стол ходил. Его лицо лишь слегка возвышалось над тарелкой. Отворачиваясь от матери, он угодил правым ухом в тарелку с бульоном. Ужаленный расплавленным жиром, он выскочил из-за стола и за-

ревел, а все почему-то принялись хохотать. С тех пор вот уже больше двадцати лет история об ухе в лапше пересказывается из уст в уста, год от года обрастая новыми подробностями.

Но вернемся к лапше. Бабушка раскатывала тонкий пласт теста и разрезала его на широкие и длинные полоски. Получались чуть ли не метровые ленты из теста, которые первыми шли в бульон. Минут через пять-шесть бабушка вынимала их и раскладывала по тарелкам. В это время трое за ее спиной – я, Женька и моя мама – ревностно следили, чтобы всем досталось поровну. Мы расхватывали тарелки и разбегались по разным углам. Сидеть всем вместе за столом без особого повода у нас в семье как-то было не принято.

Жевать лапшу с капельками жира на сероватой коже надо было быстро, пока горячая. Она пахла лавровым листом и куриным мясом, упруго жевалась и на вкус была лучше всего на свете. Но стоило ей остыть, как она превращалась просто в сваренную полоску обычного теста, которой ни глаз, ни рот не радуется.

Когда червячок первого голода был заморен, бабушка принималась за приготовление основного блюда – супа. Остатки теста она уже мелко резала и бросала в бульон вместе с картошкой. Мясо курицы всегда доставали и подавали отдельно, а не разрывали на кусочки и не клали в каждую тарелку, как это делают в иных семьях или столовых. Собственно, суп ела одна бабушка, нам он был неинтересен. А куриное мясо в ничем не накрытой тарелке заветривалось в холодильнике, и его на следующий день отдавали собакам. «Люди такого сроду не видят, а вы зажрались», – говорила, вынося тарелку на улицу, бабушка. Остатки супа обычно ожидала та же участь.

\* \* \*

Всю жизнь мама старалась как-то обособиться от бабушки, занять что-то свое. Очевидно, что с зарплатой почтальона накопить на собственную квартиру она бы не смогла; обменивать дом на две «однушки» не соглашалась бабушка. Она называла многоквартирные дома «казенными» и считала живущих в них людей находящимися существенно ниже ее самой на социальной лестнице. «С голоду хочешь подохнуть в казенном доме?» – коротко бросала она, когда мама, срываясь на фальцет, кричала в ссоре, что надо разъезжаться. Так и жили.

Но однажды мама накопила четыре тысячи рублей и купила дачный участок с маленьким кирпичным

домиком на нем, или огород, как попросту называли его в нашей семье. Это были четыре сотки рыжеватой земли, обнесенные забором. Домик не был жилым, и мама не собиралась его обживать хотя бы на лето. «Еще чего, бомжей и наркоманов привлечь. Двери выломают, нагадят, картошку истопчут», – говорила она. Поэтому дверь домика демонстративно закрывалась только на вбитый в косяк и согнутый пополам гвоздь. Внутри не было ничего, кроме непокрытой кровати с панцирной сеткой, двух лопат и одних граблей. Заходили мы туда редко, только чтобы переодеться или попить воды (которую тоже, разумеется, всякий раз привозили с собой).

Зато на чердаке домика кипела настоящая жизнь. В наследство от предыдущих хозяев нам досталась большая и не очень дружная осиная семья – три гнезда, будто три свисающих вниз кочана молодой капусты разного размера, в каждом из которых копошились мерзкие и злобные насекомые размером с фалангу пальца. Боялись мы их страшно и воевали с ними долго, пока кто-то из знакомых мужиков не присоветовал маме обмотать каждое гнездо щедро смоченной бензином тряпкой и поджечь. Так и сделали. Тряпки мигом вспыхнули, осы полетели в разные стороны, мама кубарем скатилась с лестницы и убежала в самый дальний угол огорода, на ходу отмахиваясь от разъяренных насекомых. Гнезда быстро погорели, но огонь перекинулся на чердак, и мы с мамой бросились в четыре руки его тушить. Я таскала ведра с водой из бочки для полива и подавала стоящей на лестнице маме, а она почти не глядя выливали их в чердачную дверцу. «И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». Мне кажется, после той расправы даже залетные осы облетали наш участок стороной.

Большая часть огорода была отведена под картошку. Сажать ее было тяжело. После того как однажды мама с бабушкой поссорились прямо на картофельном поле и бабушка зареклась ходить к маме в огород, нам приходилось справляться вдвоем. И если бабушкин огород перед посадкой основательно вспахивал мотоплугом теткин муж, то нам с мамой приходилось ворочать глыбы влажной с весны земли вручную и только потом бросать в неровные ямки проросшие картофелины. Обычно все майские праздники мы с мамой проводили за этим занятием. Картошка потом всходила, цвела и увядала волнами, так что всегда можно было довольно точно определить, какую часть мы посадили неделей раньше, а какую – неделей позже.

Еще у нас в огороде была старая яблоня, которая раз в два года давала такой урожай мелких и медово-сладких яблок, что девать их было некуда. Мама даже раздобыла где-то соковыжималку и делала из яблок сок, закатывая его в пузатые трехлитровые банки. Но яблоки все не кончались, все сыпались с дерева, устилая мягкую травку ровным хрустящим желтым слоем. Они гнили и пахли брагой и счастьем. На следующий год яблоня, будто в отместку за нерачность, не давала нам ни одного, даже самого маленького и кислого яблочка.

Было на огороде и два деревца черешни, которой мама ужасно гордилась, и одна желтая слива, и по паре кустов смородины и крыжовника, и густые заросли сортовой малины вдоль забора. Малину надо было собирать дважды в неделю. Мы надевали старые, пыльные «олимпийки» (наверное, еще дедовы) и штаны похуже, а потом забирались в густые колючие заросли. Мама шла впереди, вычищая малинник от крапивы, которая росла как на дрожжах, а следом я собирала спелые красные ягоды в красное пятилитровое ведро, купленное специально под малину. Ведро то не раз становилось поводом для мелких стычек мамы с бабушкой, которая норовила в нем то картошку помыть, то курам комбикорма намешать.

Теткин муж, когда мне случалось ездить с ним и моим двоюродным братом Женькой куда-нибудь за ягодами, настаивал, чтобы мы пели в голос, собирая. Так, мол, мы меньше ягод съедим и больше домой доведем, на варенье. Мама такого не требовала никогда. Она, наоборот, говорила, чтобы я сразу ела досыта, потому что была уверена: дома мне ничего вкусного не доставалось. Мол, бабушка отдавала всякую лишнюю клубничину или конфету Женьке, любимому внуку любимой, младшей, дочери. Конечно, это было не так, но я маме не перечила.

Я не любила огород. В основном за то, что там приходилось работать. Не переживать, скучая, пока мама закончит, а в полную силу помогать ей: полоть, поливать, сажать и собирать. С тех самых, «огородных», времен у меня повреждено запястье левой руки. Мне было лет двенадцать. Тем летом у нас как-то разом сломались оба велосипеда, починить их было некому, поэтому мы ходили в огород пешком. Однажды в августе (ненавижу этот месяц) мы с мамой зачем-то тащили домой по ведру свежескопанной картошки. Где-то на полпути до дома мое левое запястье как-то шелкнуло и резко заболело. Я тогда просто перехватила ведро правой, более сильной рукой, и молча пошла дальше. Мне почти тридцать. Запястье болит до сих пор.

Когда я уехала учиться в университет, мама как-то в одночасье огород забросила. Она просто перестала о нем вспоминать и делала вид, что и вопросы не слышит. А у бабушки было слишком много других забот, чтобы интересоваться мамиными четырьмя сотками. Тем более что она дала зарок никогда туда не ходить, а слову своему эта старушка всегда была верна.

Я побывала там года два назад, впервые с тех пор, как уехала из дому. С трудом нашла наш участок. Пятый ряд от въезда, повернуть направо, вторая калитка по левую руку. Забора не было. На месте бывшего домика остался только низенький бетонный фундамент, все заросло травой в человеческий рост. Ни яблони, ни черешен, ни малинника. Та же участь постигла и соседние участки. Обжитый когда-то садовый кооператив превратился в одно большое колоссающееся поле пырея. Маме я ничего не рассказала. Она и не спрашивала.

\* \* \*

Бабушка вышла на пенсию в 1993 году, когда мне и трех лет еще не исполнилось. Поэтому деловой женщиной – конторским «белым воротничком», инженером по труду в городском управлении по строительству дорог – я ее совсем не помню. На моей памяти она всегда была дома и занималась хозяйством.

А хозяйство у нас – в масштабах крошечной семьи из трех баб, двоих детей и одного «приходящего» мужика, теткинго мужа, – было колхозоподобным. Бабушка все сетовала на своих дочерей, что ни одна из них не стала «купи-продай» и не разбогатела, зато сама, пусть неосознанно, следовала этому основополагающему принципу капитализма неукоснительно: покупала подешевле суточных цыплят-бройлеров, сразу штук сто, выкармливала этих задохликов на лапках-спичках в тепле за печкой, а потом, в конце лета, жирными и еще теплыми обезглавленными тушками продавала по соседям. На «кур бабы Наташи» всегда стояла очередь. Наметанной рукой она спокойно и ласково могла обезглавить и ошипать четыре-пять куриц за раз.

К концу лета, когда «куриный» сезон приближался к концу, бабушка покупала двоих-троих поросят. Ездил по окрестным деревням, заходила в свинарники, выбирала у самых здоровых свиноматок самый шустрый приплод. Поросят любовно откармливали до крещенских морозов, а потом резали прямо во дворе, на свежевывавшем чистом снежку.

Сонную артерию старым и страшным ножом перерезал свиные всегда теткин муж. Это была его почетная миссия. Со всем остальным спокойно и ловко справлялась бабушка. Иногда она подпускала маму помочь. У меня перед глазами фотография: на ней мама улыбается, стоя рядом со свиной, у которой вспорото брюхо. В стороне стоит алюминиевый таз, в который содержимое этого брюха вот-вот выложат и понесут промывать.

День, когда резали поросенка, был в нашей семье настоящим праздником. Из самой вкусной части – заднего окорока – муж тетки сразу же вырезал хороший кусок и жарил парное мясо на сковороде с луком и приправами. Это было сродни жертвоприношению богам чревоугодия. Никто, кроме него, к этому священному действию не допускался.

Часть свиной туши бабушка продавала все тем же соседям сразу после забоя. Остальное мясо разрубали на крупные куски и закапывали в снег по огороду, чтобы сохранить до весны. Иногда бабушка забывала про свои схроны и вспоминала о них только по весне, когда стая воронья начинала подозрительно низко кружить над нашим домом.

А еще у нас была корова – Малинка. Ее мать, Жданку, дед привез в багажнике своего «москвича» откуда-то из Казахстана. Говорят, она была какой-то особой, высокоудойной породы, отличительной чертой которой были рыжие пятна на розовом носу. Малинка была здоровенная, как вагон, по-ирландски рыжая и умная.

Мы ходили с бабушкой за ней «в табун» в соседнюю деревню. Когда вслед за ватагой овец по деревенскому большаку начинали горделиво вышагивать коровы, бабушка, стоя поодаль, звала: «Малин-Малин-Малинка!» Малинка сквозь рев сородичей и крики людей слышала голос хозяйки и отзывалась утробно: «Мууу!» Чуть погода от стада отделялась ее величественная фигура. Она шла, временами прихрамывая на заднюю ногу, и в такт шагам молоко выдаивалось тугими струйками из переполненного вымени.

Однажды бабушка пожаловалась мне, что очень устала и сил у нее нет Малинку подоить. Мне было лет пять. Я взяла у нее из рук старое желтое эмалированное ведро с черными пятнами сколов у дна и пошла в сарай – доить Малинку. Через минуту я выбежала оттуда с воем: корова лягнула ведро копытом, так что оно со звоном укатилось в дальний темный угол, а в мою сторону так убедительно мотнула изогнутыми и острыми рогами, что мне этого урока хватило на всю жизнь. Ближе к Малинке я больше не подходила.

Раз в год, всегда зимой, Малинка приносила потомство – рыжих, как на подбор, телят, с трудом стоявших на тоненьких ножках. Бабушка всякий раз сама принимала у коровы роды, а потом, отпоив новорожденного теленка молозивом, заносила его в дом. Она специально отгораживала на кухне для него угол (отодвигала от стены старый шкаф и застилала пол соломой). Теленок жил с нами под одной крышей по несколько недель, пока не окрепнет. По утрам мы просыпались от его протяжного голодного рева. Бабушка бежала доить Малинку и поить теленка парным молоком. А когда он чуть-чуть подрастал, бабушка выселяла его в сарай, предварительно укутав в мою старую шубку и подвязав под пузо цветастым платком.

Всех телят, как правило, ждала одна и та же участь – стать говядиной. Но их никогда не резали у нас во дворе, как свиней: бабушка была категорически против. Она так любила Малинку, что не могла и подумать, чтобы собственноручно лишить жизни кого-то из ее детей. Поэтому молодых телок и бычков всегда задешево продавали перекупам, с глаз долой – из сердца вон.

Малинка прожила в нашей семье лет семнадцать – очень солидный возраст для коровы. Наверное, прожила бы еще, но бабушка заболела раком и больше не могла с ней справляться. Она продала корову кому-то в соседнюю деревню. Новый хозяин как-то слишком быстро гнал ее по вышербленному асфальту. Малинка запнулась и упала. Говорят, ее зарезали там же, на полпути от старого дома к новому. Когда бабушка узнала это, она слегла надолго.

\* \* \*

У мамы было красное пальто модного в 90-е кроя: широкие плечи на толстых подплечниках, длина чуть выше колена. Пальто досталось ей в подарок от тетки, большой модницы. Обычно теткины подарки мама презрительно осматривала и молча складывала в шкаф: «интеллигентские» вещи с «барского плеча» она носить не желала. А это пальто ей чем-то приглянулось. Как сейчас вижу ее в нем, в высоких черных кожаных сапогах, с маленькой черной сумочкой в руках. Конец марта. Размашистой походкой Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» мама идет, и сумочка в ее руке на каждый второй шаг отлетает далеко в сторону.

Мама не ходила в этом пальто на работу, она носила его только на свидания. Естественно, мне этого знать не полагалось, поэтому мама изворачивалась и врала. Работа на телеграфе у нее была

посменной, то с утра, то с трех часов дня, так что всякий раз, уходя из дома вечером, она прикрывалась «производственной необходимостью». Но обвести меня вокруг пальца было не так-то просто.

– Mam, ты отработала? – спрашивала я, когда мама возвращалась домой со смены.

– Отработала, – говорила она и валилась на кровать.

Чуть отдохнув, она красила губы перед старым трюмо и надевала пальто.

– Mam, ты куда?

– На работу.

– Но ты же сказала, что отработала.

– Не лезь. Подрастешь – узнаешь.

Когда мамы не было, я ужасно скучала. Особенно тяжело было засыпать без нее. Мы спали вместе в маминой комнате, на разложенном диване-«книжке», стоявшем на подпорках из кирпичей. В девять вечера я привидением слонялась по дому, выглядывала в окна, за которыми уже зажглись редкие на нашей улице фонари, спрашивала бабушку, где мама.

– Волки срать уехали, – зло бросала она и уходила в кухню греметь посудой.

Тогда я брала мамин халат, фланелевый, в мелкий невзрачный цветочек, утыкалась в него носом и засыпала. Мама приходила ночью и тихо ложилась рядом. Иногда сквозь сон я чувствовала, как она дрожит под одеялом.

Однажды летом в свой выходной мама велела мне одеваться. Сказала, мы пойдем в гости. Она привела меня в дом на улице Пушкина. Дом был большой, не в пример нашему, но недостроенный и оттого неуютный. Более или менее жилой была только кухня. Но и она была грязной, заваленной каким-то тряпьем и посудой с пристывшими остатками еды. Помню, как странно выглядела в этой обстановке мама, старательно намывавшая эту посуду в синем эмалированном тазу.

Строил дом и жил в нем дядя Вова. Он был как-то невзрачным и неухоженным: встретил нас с мамой без рубашки, живот у него был впалым, а курчавые волосы на груди – седыми. Не помню, чтобы он сказал мне хоть что-то в качестве приветствия. В тот день я впервые остро и больно почувствовала себя невидимой.

Домой мы шли с мамой за руку. Я уже успела отвыкнуть от такой ласки и млела. Мне даже захотелось запеть: «Но ты человек, ты сильный и смелый! Своими руками судьбу свою делай!» Но мама остановилась, притянула меня к себе поближе и опустилась на корточки.









очередного мамино «наказания»: угла и подзатыльников).

Я смотрю на фотографии и оплакиваю эту маленькую девочку, которая до сих пор сидит, насупившись, где-то внутри меня. Я оплакиваю эту молодую красивую женщину, которая так мечтала отъединиться от своей матери и не смогла, для которой такое желанное *потом* не наступило и уже никогда не наступит.

Тот, кто знал мою маму в молодости, вряд ли узнал бы ее в этой женщине: дешевый зеленый халат на молнии, руки в карманах (трясутся, стыдно показывать людям), короткая стрижка седых, чуть тронутых рыжеватой краской волос, разные брови и мешки под глазами.

Она не спит ночами, не может уснуть. Вместо этого она идет в комнату бабушки, где та свернулась калачиком под старым одеялом из ватина, и ложится с ней рядом.

«Почему ты не ложишься спать?» – спрашиваю ее.

«Сейчас, мы полежим с бабушкой, и я пойду», – отвечает.

«Мы всегда так лежим».

Мамочки.

\* \* \*

Седые волосы дергать тоже больно. Стою перед зеркалом, перебираю пальцами прядь. Стараюсь выбрать эти, чужие, невесть как оказавшиеся в моих темно-русых волнах тонкие белые ниточки. Дерну раз – мелкий вдох на с-с-с – и близоруко несущие пальцы к глазам. И больно, и не тот. Дерну другой, на этот раз тот самый, а все равно больно. Удивительно. Раньше я не задумывалась, что мне придется почувствовать это самой.

...Мне лет пять, и мама садилась на диван, а я забиралась рядом, вставала на колени и начинала копаться у нее в волосах. Кажется, ей нравилось. Она просила меня подергать ей седые волосы. Я шарилась пальчиками у нее по голове с вдохновением, то и дело отыскивая и вырывая добычу. Мама только слегка присвистывала сквозь зубы и спрашивала: седой? Я всегда говорила, что да, и незаметно роняла волос на пол. Седым он был далеко не всегда, но мамина реакция всякий раз была одна и та же.

Прошло совсем немного времени, и мама запретила мне выискивать у нее седину и уничтожать: ее стало слишком много. Тогда в нашем доме появилась миска для разведения краски и специальная кисточка, а я освоила азы техники окрашивания волос.

Краска была самая дешевая, естественно. В картонной коробке – алюминиевый тюбик с кремом, прозрачный пластиковый флакон с окислителем, бальзам в одноразовом пакетике и пара тонких полиэтиленовых перчаток, в каждую из которых поместились бы по две моих руки. Краска в тюбике всегда была белой, вне зависимости от цвета волос модели на коробке. Окислитель пах аммиаком – если поднести поближе к носу, шибало не хуже нашатырки. В тарелке запах становился мягче: сначала знакомо начинало пахнуть подъездом теткиной девятиэтажки, где я любила бывать, потом, смешиваясь с краской, он превращался в один из маминых: запах ее волос сразу после окрашивания, который я до сих пор ни с чем не спутаю.

Я наносила порозовевшую на воздухе массу крупными мазками на мамину голову, а она командовала, не глядя в зеркало: «Промажь виски. Не забудь прокрасить лоб». И виски, и лоб были покрашены так, что никаким самогоном кожу потом было не оттереть, мы проверяли.

Прошли годы. Теперь, раз в году приезжая домой, вздохнув и мысленно выругавшись на вконец запустившую себя мать, я беру все ту же кисть, развожу в той же миске все ту же краску – другой мама не признает – и повторяю все ту же нехитрую последовательность действий: разобрать волосы на пробор, промазать этот поредевший стриженный ковер из грязно-белых нитей, сделать шаг на сантиметр в сторону и повторить, пока не дойдешь сначала до одного виска, потом – до другого. И не забыть прокрасить лоб. Мама больше не командует. Она сидит, уставившись ввалившимися глазами в одну точку перед собой, и покорно ждет, когда же это кончится.

\* \* \*

Мы жили на южной окраине городка, хотя и не маленького по российским меркам – шестьдесят тысяч человек населения, – но провинциального до глухоты. Он застрял ровно посередине между двумя крупными городами – Уфой и Оренбургом. До обоих центров цивилизации было пять с лишним часов автобусного хода, то есть почти бесконечность.

Наша окраина даже имела собственное название – Жилпоселок. Это было семь маленьких, будто выстроившихся в шеренгу улочек, каждая из которых одним концом примыкала к объездной дороге. На этих улочках стояли домики – не большие и не маленькие, чаще всего деревянные, в три окна, одноэтажные с двускатными крышами. Такие, как наш.

А по ту сторону от объездной дороги была, ни много ни мало, тюрьма строгого режима, или, если точнее, мужская исправительная колония №7 УФСИН России по Республике Башкортостан с лимитом наполнения 1631 человек – самая большая тюрьма в регионе. Мы жили бок о бок с заключенными и не видели в этом ничего особенного. Одно время, когда в округе позакрывались дышавшие на ладан заводы – кирпичный, химический и железобетонных изделий, – «зона» осталась «исполнять обязанности» градообразующего предприятия. Тем, кто работал там, завидовали не таясь.

У моей школьной подруги Насти «на зоне» работал отец. Настина жизнь казалась мне недостижимым раем: они жили в большой квартире в новом доме, и у Насти была своя комната с огромным черным музыкальным центром Sony в нише «стенки». В гостях у Насти я слушала песни Рикки Мартина на CD-дисках, а дома помогала маме склеивать порванную стареньким магнитофоном «Весна» ленту в кассетах с песнями Modern Talking. Каждый год Настя с родителями ездила отдыхать на море, приезжала оттуда загоревшая до черноты, лоснящаяся внешне и сияющая изнутри. Мама слушала мои рассказы о Настиных поездках и говорила равнодушно: «Ничего, нам бог дал такую кожу, что мы и на огороде загорим не хуже». Мы и загорали.

Из нашей семьи «на зоне» когда-то работал мой дед. Бабушка рассказывала, что он был снабженцем. Он умер, когда мне не исполнилось и четырех лет, но какие-то обрывки воспоминаний о нем у меня все же сохранились. Например, я помню, как-то раз он принес мне с работы банан. Банан в девяносто третьем году в Мелеузе! Не то «зона», не то земля обетованная. Чудеса!

Есть еще одна причина, по которой я не чувствовала по отношению к зэкам, как называла заключенных бабушка, ни страха, ни неприязни. Каждое утро с сентября по май я шла в школу под звуки «Прощания Славянки», доносившиеся со стороны «зоны». Ровно в семь тридцать у заключенных начиналась зарядка. Ровно в семь тридцать я выходила из дома. Мне кажется, мы и шагали вместе в такт этому военному маршу: зэки – по плацу, я – по обочине выщербленной асфальтовой дороги на автобусную остановку. До сих пор эта музыка пахнет для меня влажным осенним утром: желтые листья с тополей по соседству уже опали и легли на траву ровным слоем, блестящим после дождя. Наверное, так же она пахнет и для кого-то из переживших свой срок сидельцев. Видите, как много у нас общего.

Моя школа находилась довольно далеко, почти в самом центре города, и ездить туда мне приходилось на автобусе. Мама решила, что лучше я буду тратить свое время и немного ее денег на дорогу и учиться в «гимназии», чем просиживать штаны в обычной школе по соседству. Я не спорила.

В нашем городе было всего четыре автобусных маршрута: «единица», «двойка», «тройка» и «четверка». От Жилпоселка в центр ходила «тройка», на ней я и ездила десять лет подряд в школу и обратно. Моими любимыми автобусами были желтые и красные ЛиАЗы, похожие на медленных и уставших коров. Их большие круглые фары светили мощным теплым светом, так что на пустынной утренней дороге автобус можно было заметить издали. «Идет, идет», – перебрасывались пассажиры друг с другом и высыпали из-под козырька остановки к обочине, туда, где автобус должен был остановиться.

Утром народу было много, давили со всех сторон так, что не было никакой возможности хотя бы уцепиться за поручень. Однажды какой-то дядька, стоявший передо мной, сказал, что в таких условиях держаться можно только за воздух зубами. Я запомнила эту фразу и с тех пор время от времени ею пользуюсь. Спасибо, дядька. А вот днем, когда я после уроков возвращалась домой, ленивые ЛиАЗы ходили по городу почти пустыми. В одном из них, моем любимом, на стекле, отделяющем водительскую кабину от салона, висел плакат. Крупные белые буквы на красном фоне: «И это пройдет...» Раньше эти слова значили для меня, что пройдет все плохое, и я вспоминала их, когда было совсем невмоготу. Теперь они значат, что пройдет вообще все, и тот мир, казавшийся таким обыкновенным, исчезнет, поэтому надо скорее вспомнить его и написать.

## ЧАСТЬ 2

Я, конечно, наврала. Или все перепутала. Или не хотела об этом думать, когда писала. На самом деле у меня, конечно, был еще и отец (действительно, не партеногенезом же размножилась моя мама!). И я даже кое-что о нем помню. А именно – два длинных кадра, оба черно-белые, как старые фотографии из несуществующего уже мамино альбома.

Кадр первый: отец несет меня «на шее». На самом деле, конечно, на плечах, но в нашей семье говорили именно «на шее». Сесть на шею, свесить ножки – оттуда же. «Сели старухе на шею, и хоть бы хны!» – кричала бабушка маме, когда они ссорились и снова что-то (дом, жизнь) делили и не могли поделить.









ми руками и широкой юбкой в пол, отец – в брюках и летней же рубашке с коротким рукавом, с расстегнутой верхней пуговицей. Накачанный бицепс натягивает рукав, а в открытом вороте рубашки видны крепкие мышцы шеи. Они идут навстречу друг другу, она плачет, не опуская головы, а он – улыбается. Под аплодисменты зала он обнимает ее, она кладет голову ему на плечо.

Здравый смысл гнусаво комментировал эту сентиментальную сцену. Во-первых, мама никогда не поедет в Москву на передачу, даже если я напишу туда письмо и они возьмутся найти отца. Во-вторых, она давно уже носит зимой и летом одни и те же синие джинсы и зеленый, весь в катышках, хэбэшный джемпер, изредка меняя его на старую трикотажную футболку в синий цветочек, и ни о каких платьях слышать не хочет. В-третьих, надеяться, что всегда крепко пивший отец в сорок станет выглядеть лучше, чем в двадцать пять, – ребячество. Угомонись, Гаврилова.

Вероятнее было, что найдут они все того же алкоголика: ласкового, когда надо выпить, равнодушного «под мухой» и агрессивного с похмелья. Рукастого стареющего мужика, который так ничего путного в своей жизни построить и не смог. Да и чего его искать – возьми билет да поезжай в деревню, название которой в твоём паспорте написано, и не надо ни в какую передачу писать. Только кому такое счастье нужно? Точно не мне. Я уехать отсюда хочу, я хочу просто начать жить свою жизнь.

Так я качалась на этих качелях от полного отказа от отца до полного его принятия, пока однажды мама с работы не принесла телеграмму, адресованную ей самой. «Алеша пропал без вести тчк Подаем суд». Кто-то из прошлой – маминой и моей – жизни прислал такой привет. Потом мама слегла, а я уехала учиться, – все это вы уже знаете. Не знаете только, что с тех самых пор я заглядываю в глаза каждого бомжа – в каком бы городе на земле он мне ни встретился, – и боюсь, и надеюсь увидеть в них свои собственные. «У тебя – его глаза», – говорила мама.

«Пропавший без вести – я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу...»

\* \* \*

Я решила съездить в родную деревню – назовем ее В. – лишь в год, когда мне исполнилось тридцать. К тому моменту у меня уже была «своя жизнь», о которой мне так мечталось в шестнадцать: муж, сын, работа, ипотека, нерегулярные встречи с психоте-

рапевтом. Настоящая взрослая жизнь, черт бы ее побрал.

«Надо закрывать гештальты», – в очередной раз подумала я и неожиданно даже для себя полезла на сайт РЖД покупать билет на поезд. Руки противно взмокли, а кишки в животе как будто ожили, зашевелились и куда-то поползли. Я поскорее нажала кнопку «Оплатить», чтобы пути назад уже не было, и через неделю неслась с тремя мешками дежурных гостинцев и небольшим рюкзаком за спиной по площади трех вокзалов, опаздывая на поезд.

Чем не завязка мыльной оперы для второго канала: переехавшая в Москву внешне благополучная тридцатилетняя провинциалка понимает, что живет не своей жизнью, и отправляется на поиски корней в глухую удмуртскую деревню. Чем закончится эта поездка – обретением себя или окончательной потерей всех смыслов? Заявите восемь серий, чтобы показать их в вечерний прайм-тайм с понедельника по четверг, по две за раз. Продюсеры оторвут с руками.

Вот вам и первый длинный кадр – героиня, обвешанная авоськами, бежит к платформе, на ходу сплевывая лезущие в рот космы волос. Добавьте пару сцен в плацкартном вагоне – с расспросами добродушной и любопытной до крайности толстухи-попутчицы и молчаливым вглядыванием героини в заоконную темноту русской ночи, – покажите, как наутро она сошла, нет, прыгнула с поезда на маленькой станции, где локомотив, казалось, даже не остановился, а лишь слегка притормозил, и закончите эпизод панорамой с составом, уползающим вдаль на фоне зеленых полей. Героиня стоит на короткой бетонной платформе, местами выщербленной до металлических прутьев, и не знает, куда ей двигаться дальше. Конец первой серии.

Эта станция называется коротко – Яр. От нее до моей деревни В. – двадцать три километра. Я кое-как вызвала такси. Пришлось выслушать длинное и путаное объяснение диспетчера, какой мост и в какую сторону мне нужно перейти, чтобы машина смогла до меня доехать. Молодой таксист – могли бы учиться в одной школе – с любопытством вглядывался в зеркало заднего вида своего пыльного, знавшего лучшие годы праворульного «Ниссана». Чем-то во внешности мы были с ним отдаленно похожи: тот же смуглый оттенок кожи, те же темные волосы. Я отметила это сразу, как бы краем сознания, но не придала значения.

«В гости едете? Сколько лет здесь работаю, никогда вас не видел», – решил завести светскую беседу он. Музыка, правда, приглушать не стал. Грохотала какая-то невообразимая современная





печенье «Мария») и по совместительству тоже матерью-одиночкой. С ее дочкой Лианкой мы крепко дружили все детство: скорее на основе общности судеб, чем интересов.

Те палочки были совсем не такие сладкие и воздушные, как Женькины. Много в мешке было твердых, как ириски, и они липли к зубам. Естественно, я все равно ела до тошноты, гордая от того, что весь мешок – мой, мысленно показывала фигу и Женьке вместе со всей ее «полной» семьей, и Татьяне Александровне. А потом у меня началась рвота и поднялась температура, так что всю оставшуюся неделю я не ходила в школу. Никто в классе никогда не узнал почему.

А однажды, через несколько лет после того случая, мы с Женькой вместе ехали из музыкалки домой. Ее мама в тот день была вопреки обыкновению довольна моей подготовкой, хвалила меня и улыбалась. В конце урока Женька вскочила в ее (наш) класс, где я все еще сидела, погребенная под аккордеоном.

«Ма, меня отпустили, ты идешь?» – бросила она, на ходу скидывая туфли, чтобы переобуться.

«Нет, у меня еще два урока с двоечниками, но вот Надя, наверное, идет. Можете зайти к нам, чаю попить. Я конфет “Ласточка” вчера купила. Папы дома вроде бы нет», – сказала она и посмотрела сначала на меня – с приглашающей улыбкой, потом на Женьку – как мне показалось, чуть дольше, чем обычно смотрят в таких случаях.

Я сначала хотела от приглашения отказаться (это выглядело бы гордо и красиво, думала я), но, во-первых, мне было интересно, как Женька живет, а во-вторых, у них дома – конфеты. А у нас опять только вишневое варенье, засахарилось.

У Женьки с родителями была совсем маленькая «двушка» («Зато собственная и с удобствами!» – сказала бы моя мама и вздохнула бы тяжело), где одна комната была Женькиной целиком, а половину второй занимало ее пианино.

«Что ты будешь есть, лапшу или ши?» – спросила меня Женька, по-хозяйски заглядывая в изжелта-белый холодильник «Бирюса». Я быстро взвесила в голове: лапша, если ее не только что сварили, уже раскисла и невкусная, а ши на третий день становятся только лучше, говорит бабушка.

«Ши», – сказала я. И Женька почему-то очень обрадовалась моему выбору. Оказалось, что я жестоко ошиблась. То, что Женька назвала «лапшой», на самом деле было макаронами по-флотски, для которых в Женькином холодильнике нашелся даже очень красивый «Шашлычный» кетчуп в большой бутылке из

красного пластика. А ши были просто шами, ничего особенного. «У бабушки даже вкуснее», – думала я, хлебная ложку за ложкой и отводя глаза от того, как с аппетитом уминает макароны Женька.

«А папа твой когда придет?» – решила я завести невинный разговор. Женька ведь не знала, как трудно моим губам складываться в эти два простых слога. «Твой» следовало за ними быстрее, чем было нужно, получилось так, будто я подавилась супом и мне надо скорее сглотнуть. Ну и ладно.

«Да лучше бы вообще никогда, – коротко ответила Женька и тут же сменила тему. – Знаешь, как я конфеты ем?»

Тот день принес мне два важных открытия. Во-первых, что одну конфету «Ласточка» можно разрезать на десять тоненьких полосок и медленно есть их по одной, запивая чаем с молоком. «Так вместе с одной конфеткой можно выпить целых две кружки чаю и наестся», – наставляла меня Женька. У нее и фамилия была подходящая – Наставникова. А во-вторых, можно, оказывается, не хотеть, чтобы папа пришел.

«Может быть, с Женьками в этом мире что-то не так?» – придумала я самое подходящее объяснение, глядя на одноклассницу и вспоминая своего двоюродного брата, прятавшегося от отца под столом. У меня не укладывалось в голове, что нормальный человек может всерьез не хотеть иметь папу: видеть его каждый день, держать за руку, расчесывать ему волосы, звать на помощь, когда тебя обижают... Вот я, например, очень хотела. Настолько, что иногда мне казалось, что даже мамин не случившийся «дядя Вова» на роль моего папы вполне сгодился бы.

\* \* \*

Отцовских вещей в нашем бабьем царстве после его отъезда осталось совсем мало. Наверное, только пара клетчатых, наполовину синтетических рубашек с коротким рукавом. Там, в моем воспоминании, где он несет меня «на шею», на нем именно такая.

Одна из рубашек точно была желто-оранжевой. Я это запомнила, потому что однажды мне пришлось в голову, как здорово она подходит по цвету к нейлоновой накидке, которой бабушка накрывала экран телевизора, когда его не смотрели. На накидке были огромные цветущие подсолнухи.

Когда у мамы было подходящее, воинственно-ностальгическое настроение, она надевала эту отцовскую рубашку и ходила в ней по дому. Бабушке это почему-то не нравилось.

«Вырядилась опять! Чего, своей одежды нет?» – говорила она всегда примерно одно и то же.

«Отстань», – всегда примерно одно и то же отвечала мама.

Но вот однажды чем-то раздосадованная мама отправила меня мыть полы на кухне, а сама легла на кровать в своей комнате, подложив сразу две подушки под спину, закинув одну ногу на согнутую другую и нервно подергивая стопой. Уже совсем скоро все свои дни она станет проводить или так, или в «позе эмбриона», лежа на боку и уткнувшись лицом в стенку.

В нашем случае «кухня» несколько отличалась от того, что обычно называют этим словом. Это была большая кирпичная пристройка к деревянному срубу дома, появившаяся уже после того, как бабушка с дедом сложили «избу». В «кухне» поставили большую печь-голландку, а за ней – умывальник с носиком и ведром под ним. Сюда же выставили все, что плохо помещалось в «избе»: не только кухонный гарнитур и обеденный стол с четырьмя крашенными рыжей эмалью табуретками, но и огромный старый шкаф из толстого дерева (чей-то подарок деду с бабушкой на свадьбу), и вешалку для верхней одежды, и старый диван, и два холодильника, и сервант, в котором бабушка хранила хрусталь и «похоронное» (большой рулон красной ткани на обивку гроба, стопку «поминальных» вафельных полотенец, новый комплект белья и коричневый строгий костюм с юбкой. Раз в год, летом, бабушка перетряхивала все это и просушивала, «чтобы моль не поела», и раз в год напоминала, постукивая кривым артрозным пальцем по дверце серванта: «Вот умру, достанете отсюда, что надо». Речь, естественно, всегда была обращена ко мне. Мама в такие моменты старалась уходить с глаз долой).

Одним словом, «кухня» была большой и плотно заставленной мебелью. Пол был дощатым и крашенным эмалью. Такой же, как табуретки, кстати, – чтобы и «в цвет», и на лишнюю краску не тратиться. В щели между досками забивалась пыль и кухонная грязь. По-хорошему надо было сначала ее вымести обрубком «домашнего» веника (этот был мягкий, покупной; для улицы у нас были самодельные чилиговые, которые бабушка и резала, и вязала сама), а уже потом мыть. Если никто не видел, можно было попробовать схалтурить и не подметать сначала. Но тогда уже на следующий день пол снова становился грязным, будто и не мыли, и мама могла заставить меня повторить всю операцию сначала. В общем, мыть полы на кухне я страшно не любила. Но об этом лучше было помалкивать.

«Где тряпку взять?» – спросила я у мамы.

«Уже в ведре лежит, ведро на крыльце», – ответила она.

Я вышла на крыльцо. Там стояло оцинкованное половое ведро, большое и неудобное. Его я тоже не любила. Ручку у ведра надо было аккуратно класть, а не бросать, иначе она противно звенела, и этот звук легко мог вывести маму из себя. Тысяча нюансов, которые нужно знать, если тебе двенадцать лет и ты хочешь жить спокойно.

В качестве половой тряпки на дне ведра в этот раз лежала отцовская желто-оранжевая рубашка в клетку.

\* \* \*

Я любила бывать на могиле у деда. Я даже могла найти ее самостоятельно, по столбам линии электропередач. Нужно идти по кладбищенской дороге, на обочине которой растут эти столбы, и считать. Сразу после восьмого свернуть направо и идти между могилами. Дедова будет сразу за холмиком с высокой металлической оградкой, покрашенной «серебрянкой».

«Ну здравствуй, Александр Палыч, – говорила бабушка, когда мы приходили с ней вдвоем. Трижды хлопала ладонью по кирпичу оградки в изножье. – Все лежишь? Ну лежи, лежи, мы уж без тебя как-нибудь».

Она вздыхала и принималась щипать траву-мокрицу шепотью своих кривых пальцев. А потом мы садились с ней за низкий столик у дедовых ног, бабушка обтирала руку о штаны, доставала газету «Путь Октября», стелила ее поверх пузырящейся краски стола, вынимала из сумки вареные яйца, хлеб, горсть лимонных карамелек и китайский термос с разноцветными маками на желтом боку.

«Помяни деда», – бабушка протягивала мне яйцо. Сама же как бы нехотя разворачивала карамельку, забирала ее за щеку и долго молча сидела, глядя в глаза фотографии на памятнике. Дед на ней был уже седой, лицо осунулось, щеки ввалились, глаза ушли далеко в череп. Он смотрел в камеру грустно, но как будто все-таки еще старался чуть-чуть растянуть уголки губ.

«Ему тогда уже недолго оставалось, а он все молчал. Только попросишь что сделать, а он: “Погоди, мать, я полежу”. Вот так я и годила, а он лежал. Вся жизнь. С утра до вечера на работе, потом приди – скотину накорми, жрать приготовь, воротнички дочерям перестирай, высуши да пришей. А свекровь хоть бы хны на печке лежит, да с боку на бок пе-

реворачивается. Я ж и детей своих не видела: два месяца малышкам было, как я на работу вышла, что в первый раз, что во второй. Она их беленой накормит, чтобы спали целый день, да лежит – попердывает. А он то на охоте, то на рыбалке, то пьяный, то больной. Ох, мама-мама... Ладно, Александр Палыч, лежи, а нам лежать некогда, пойдем мы».

И она вставала тяжело (хоть была еще совсем не старая), знакомым жестом стучала по кирпичу ограды и удалялась по тропинке в направлении столбов. Я, на ходу дожевывая застревающее в глотке яйцо, шла за ней.

Один только раз я пришла на могилу к деду одна. Это было время, когда я полюбила после школы бродить где-нибудь. Дома находиться было уже невыносимо. Мама все глубже проваливалась куда-то в свою черноту, все мои попытки достучаться до нее она легко и зло пресекала. «Не лезь!» – иной раз, срываясь на визг, кричала она. И я уходила. Брала с собой общую тетрадь в синей картонной обложке и тащилась куда-нибудь, где можно посидеть в тишине и подумать на бумаге.

В тот день ноги сами привели на кладбище. Восьмой столб – направо – ограда в «серебре» – могила деда. Знакомые скамейка и столик посерели от времени, краска совсем облезла.

«Ты же можешь где-то там заступиться за нее? Она же тебе все-таки дочь. Ты же у нее все-таки был. Если можешь, заступись, пожалуйста. За нее. За бабушку. И за меня, если силы еще останутся. Ты же знаешь: отец пропал без вести. И так не было его, а теперь и совсем нет. Может быть, он умер, но я никогда не смогу прийти к нему и попросить, как к тебе. Поэтому прошу тебя одного. Помоги, пожалуйста», – говорила я, заговаривала саму себя.

А дед все смотрел с выцветшей фотографии и все старался улыбнуться чему-то.

\* \* \*

В В. меня тоже первым делом повели на кладбище. Таксист остановился в самом начале деревни, у Дома культуры, местной гордости: пару лет назад неведомой милостью республиканской администрации его отремонтировали. Туалет, впрочем, как был, так и остался на улице.

Если пойти по дорожке мимо туалета, мимо клумб, вырезанных из старых автомобильных покрышек, в которых взахлеб цветут оранжевые ноготки и темно-синие астры, мимо небольшого участка, засаженного картошкой, то окажешься во дворе старой школы. В ней еще мой отец учился, но это когда было.

Сейчас на всю школу осталось двадцать восемь учеников: в среднем по три человека в классе. Куда им целое здание? Поэтому здесь же, в школе, разместили и деревенскую библиотеку, и фельдшерско-акушерский пункт, и даже сельскую администрацию. Туда-то я и держала курс, как выяснилось.

Меня должна была встретить тетя Люба, Любовь Анатольевна. Фамилия у нее была такая же, как у меня, хоть мы и не родственники. Просто на всю деревню было три фамилии: Дюкины, Федотовы и мы. Я нашла в «ВКонтакте» тети-Любиного сына, и это он договорился с мамой, что она меня встретит и, может быть, приютит.

Телефон не ловил, и я спросила у уборщицы из клуба, где могу найти Любовь Анатольевну. Та без лишних вопросов показала на школу. А охранница в школе – на кабинет в углу коридора со скромной надписью «Администрация» на фанерной табличке. Так я узнала, что тетя Люба ни много ни мало – глава сельсовета.

Она отвела меня домой, где у ворот нас уже ждали дядя Леша и дядя Толя. Дядя Леша был муж тети Любы и, как выяснилось, лучший друг моего отца по совместительству. Он даже был свидетелем на родительской свадьбе. А дядя Толя – мой родной дядя. Видела я его в сознательной жизни впервые, а эхом из детства до меня доносилось только его имя да имя его дочери – Лада. «Интересно, где она теперь», – подумала я, глядя на него.

– Ннадюш, – сказал он, чуть просвистывая сквозь отсутствующие зубы, и потянулся ко мне обнять. Он принарядился для встречи. Нейлоновая рубашка с пальмами и надписью *My family is my pride* облепила его худую грудь и хлопала полами по тощим бокам.

– Как ты на папу похожа, – сказал дядя Леша.

Оба были уже слегка выпивши. У обоих влажно блестя глаза.

Дядя Леша – очень высокий, длиннорукий и длинноногий, сутулый и худой. Лицо у него широкое и загорелое, глаза – темные. Короткий ежик волос теперь седой, но в седине еще виднеются темные волосинки. Дядя Толя значительно ниже его ростом, но так же смугл и темноглаз и еще более худ. Между желтыми пальцами зажата папиросина-самокрутка. Костлявая грудь под цветастой рубахой – колесом, морщинистый кадык торчит далеко и, кажется, не помещается в ворот. Сразу две верхние пуговицы дядиной рубашки расстегнуты.

У меня с обоими совершенно одинаковый оттенок кожи, что-то общее угадывается и в чертах лица. А вот тетя Люба совсем другая – светлокожая, русо-

волосая, сероглазая. Такая, как удмуртки на фотографии из библиотечной энциклопедии.

– Сейчас придет тетя Валя, и сходите на кладбище, – сказала она, когда мы перездоровались. – А мне на работу вернуться надо. Вечером посидим, поговорим.

По дороге от школы до дома Любовь Анатольевна рассказала мне, что тетя Валя – моя двоюродная тетя, дочь бабушкиной родной сестры, с которой они всю жизнь прожили вместе и воспитали пятерых детей на двоих. До того момента о существовании тетки я и не догадывалась.

Она оказалась маленькой, полной, сильно близорукой и почти совсем беззубой, и к тому же прихрамывающей на одну ногу. Несмотря на это, двигалась она шустро, заложив за спину обе руки и на каждый шаг пиная зажатую в них авоську. Тетя Валя шла впереди нашей кладбищенской процессии, как бы указывая нам путь, хотя все, кроме меня, прекрасно его знали.

«Вон ту водонапорную башню видишь? – Дядя Леша показал рукой на высокую ржавую громадину, стоящую посреди заросшего пыреем поля. – Папа твой варил».

«Папа» он произнес как будто с ударением на обоих слогах, и оттого звучало оно неестественно. Хотя какой естественности я вообще могла ждать от этого слова?

Уже потом я узнала, что в удмуртском языке большая часть ударений падает на последний слог, поэтому и русские слова удмурты часто переделывают по привычке: «папá», «мамá», «Алешá», «Надý».

Я видела, что говорить по-русски всем троим тяжело. Они с трудом подбирали слова и то и дело «съезжали» на удмуртский. Я не понимала ни слова, и было в этом что-то противоестественное – не знать своего языка.

Кладбище было маленьким и глухим. Из-за множества березок и осин оно больше напоминало рощицу. Могилы не были огорожены так, как огораживали их в М. Холмики лепились почти вплотную друг к другу. У каждой семьи – в ряд. Клочок земли рядом с родными костями старики присматривают себе еще при жизни, наставляют детей похоронить их именно там. Вот и баба Нина, тети-Валина мать, умершая всего за месяц до моего приезда, завещала похоронить ее рядом с сестрой: «Там, где Тоня».

На ее могиле стоял свежий крест, на кресте – только имя и годы жизни, без фотографии. А я совсем не помню, как она выглядела. На могиле бабы Тони стоял белый, как будто беленый, и кое-где уже облезший памятник. Фотография на нем была

мне знакома. Такая же лежала между страницами в нашем домашнем альбоме, пока мама не порвала и не порезала его. Прямо на меня смотрела строгая женщина с темной, уложенной вокруг головы косой, с поджатыми в гузку губами, в темном платье с белым отложным воротничком. Она была на два года старше своей сестры и прожила на шестнадцать лет меньше. Почему-то стыдно было стоять перед ней вот так, с распущенными волосами, в джинсах-дудочках и дорогих кроссовках. Какой-то слишком легкой, даже легковесной казалась перед ее смертью моя жизнь.

«Надююш, – позвал меня дядя Толя. – Пошли, еще кого покажу».

И он отвел меня чуть в сторону, к могиле с небольшим металлическим памятником в изголовье. С фотографии взглядом бабы Тони смотрел пожилой мужчина с залызанным набок чубчиком волос, со всех сторон обрамленным лысиной, с бровями-крыльями. И у него была моя фамилия.

«Брат», – коротко прокомментировал дядя Толя.

Так я узнала, что у меня был еще один родной дядя.

Сзади подошла тетя Валя.

«Если бы отец умер, его бы здесь похоронили?» – спросила я у обеих.

«Что ты, что ты, может, жив Алешá еще», – замалахала тетка на меня рукой. Дядя Толя просто отвернулся.

\* \* \*

Двор бабушкиного дома оказался вовсе не таким большим, как мне запомнилось с детства. От холодных сеней до туалета всего четыре-пять взрослых шагов. А где тут помещалось стадо гусей и с десяток овец? Почему мне казалось, что бежать далеко? В детстве все кажется больше, чем на самом деле.

«Вон он, двор-то». Дядя Толя показывает на покосившееся строение из серых досок с низкой, ниже моего полутораметрового роста, крышей. То, что в М. называли сараем, здесь называют двором. Выходит путаница.

Сарай. Туалет. Палисад под окнами. Все сбито из досок, отполированных временем, им же выкрашенных в однотонный серый. Того же цвета и дом – серые бревна без обшивки, серые оконные рамы без ставней. Отзвучал этот дом, отсмеялся детским смехом, отплакал бабьими слезами, не раз и не два умылся равнодушным дождем. Затих, стоит. Слушает время.

Только месяц прошел с тех пор, как умерла баба Нина. В последний раз она вздохнула в день рожде-



## Оказывается, мой отец был настоящий Жан-Клод Ван Дамм. В дембельском альбоме есть его фотография в парадной форме.

ния моего сына, когда я, задерганная, бегала по квартире, надувала воздушные шары, развешивала по стенам гирлянды, накрывала на стол, играла с сыном и ребятишками, приглашенными на праздник. Ни о жизни, ни о смерти я не думала, конечно. А жизнь и смерть в этот день тихо встретились – и разошлись.

Тетя Валя оставила в доме все как было. В углу слева, сразу как войдешь в избу, стояла узкая никелированная кровать, заправленная серым покрывалом. На ней баба Нина спала всю жизнь, на ней и умерла.

«Когда вы здесь жили, она забирала тебя с собой спать, чтобы ты не мешала молодым. Они вон там спали. – Тетя Валя показала на точно такую же узкую кровать с такой же панцирной сеткой в противоположном углу избы. – Вынянчила она тебя».

Эту историю я помню. Ее мне рассказала мама в одну из редких минут светлой ностальгии.

За несколько дней до моего рождения мама заболела.

«Новый год на носу, а в деревенском магазине нет ничего, один березовый сок в трехлитровых банках стоит поверх пустых холодильников. Ну я и поехала в город, думала, куплю чего. Села у окна в автобусе, там и продуло».

Дальше – понятно: у мамы – пневмония, а у меня – день рождения под самый Новый год, на два месяца раньше срока. Роды вызывали искусственно: врачи сказали, иначе я не выживу. Первые недели после моего рождения мама лежала с температурой под сорок. Грудного молока, естественно, не было. О детских молочных смесях в деревне В. на исходе 1990 года и слухом не слыхивали.

Меня выкормила – парным коровьим молоком и разжеванным черным хлебом – баба Нина. Моя родная бабка – баба Тоня – в воспитании детей участия

почти не принимала. Она была в доме за главную и следила, чтобы всегда была еда и хоть какие-то деньги. Я совсем не помню ни одну, ни вторую. В мире моего детства бабушка всегда была одна.

«Айда что покажу». Тетя Валя повела меня из избы в сени. Со скрипом открыла сбитую из горбыля дверь. В чулане, погребенная под ворохом душистых сушеных трав, стояла детская коляска-люлька. Древняя, на четырех огромных колесах с толстыми спицами, обтянутая клеенкой лазурного цвета, уже изрядно потрескавшейся, с большим не складывающимся «капюшоном», на котором горкой лежал слой бурой травяной пыли.

«Твоя. Баба Нина не давала выбрасывать. Говорила, вдруг пригодится кому».

Мамочки.

Потом, порывшись где-то на кухонной полке, занавешенной пыльной шторкой, тетя Валя достала два толстых альбома. Один – коричневый, обшитый как будто фетром, с самодельными металлическими буквами, приклеенными к обложке. «Память о службе», – читаю я. Дембельский альбом отца. Второй – красный, точь-в-точь такой же, как был у нас дома. «Наш свадебный альбом», – маминой рукой написано на его форзаце.

Так у меня снова появились семейные фотографии.

\* \* \*

Оказывается, мой отец был настоящий Жан-Клод Ван Дамм. В дембельском альбоме есть его фотография в парадной форме. Портрет. Яркие улыбающиеся глаза с белками цвета свежего снега, прямой нос, идеальной формы губы, красные даже на черно-белой фотографии, чуть более женственные, чем нужно. Едва заметная морщинка от улыбки на левой щеке, небольшие аккуратные уши и сильная шея. Такой солдат прекрасно подошел бы для плаката, призывающего вступать в ряды Советской армии.

В деревне Алешу называли Академиком. Он был лучшим учеником в школе, но уже лет с пятнадцати был не против выпить.

«Подбежит ко мне в коридоре, прижмет к стене, придвинется близко-близко и говорит: “Есть что выпить, Зин?” А я говорю – есть, мать брагу поставила, приходи вечером, вынесу. А он улыбнется всем лицом и поцелует меня прямо в губы», – двусмысленно глядя на меня, рассказывала статная и не по-деревенски ухоженная татарка Зинира, одноклассница отца. Она работала заведующей деревенским клубом, но не просто переключивала и подписывала бумажки, а еще и руководила са-





бы не топить ее целиком, дядя Толя завесил проход на жилую половину старым ковром, а сам круглый год живет на кухне. Там у него все, как в других деревенских домах: кирпичная печь в центре, за ней – умывальник. В одном углу стол, в другом – узкая койка с панцирной сеткой. Только все это не мылось, кажется, лет десять. Или двадцать. Занавесок на окнах нет, а из-под кровати, как дула целой батареи игрушечных орудий, торчат бутылочные горлышки.

«Их что, еще где-то принимают?»

«Да нет, я так – по привычке...»

На кухонном столе у дяди Толи сушится табак-самосад. Там же лежит стопка тонкой мелованной бумаги – страницы какого-то аляпистого рекламного журнала – и кривоватый гвоздь: все, что нужно, чтобы крутить короткие рыхлые «козьи ножки».

«Дядя Толя, ты хоть что-нибудь ешь?» Почему-то я с самого начала взяла с ним этот мерзкий насмешливый тон.

«Ну как тебе сказать, Надюш. Я закусьваю. Когда пьешь, есть не хочется. Когда не пьешь, жор нападает. Но не пить я не могу».

«Может, попробуешь бросить? Ведь умрешь от цирроза или от рака легких».

«Не смогу я уже. И как я могу не пить, если у нас в стране даже президент спился?»

Я заводила этот разговор дважды. Во второй раз дядя Толя вместо ответа спел мне несколько строк из песни Пугачевой: «Ты, кукушка, перестань куковать, мне года считая. Сколько их останется мне – все они мои». Я попросила разрешения записать его голос на диктофон. Он махнул широко, разрешая, и стал еще больше стараться.

Про отца дядя Толя говорил мало и неохотно, а на меня смотрел всегда чуть влажными глазами. Много лет назад он ударил отца топором по голове и только чудом не убил его. В то время дядя Толя не пил совсем, а отец – запоями. Топором дядя Толя пытался младшего брата воспитать. Он проломил ему череп, за что получил два года условно. Отцу череп залатали, на место раздробленной кости поставили титановую пластину. Но, говорят, с тех пор соображать Академик стал гораздо хуже.

Отец всегда был сильнее дяди Толи, потому тот и схватился в драке за топор.

«Он мог сесть на пол и поднять себя на кулаках, представляешь?» – вспоминал дядя Толя.

«Так?» Я сделала «уголок». Это несложно, особенно если долго не стоять. Дядя Толя отвернулся в угол, чтобы я не видела, и стер слезы костлявым кулаком.

...Он повел меня показать дом, который купила его бывшая жена. Теперь дом почти всегда пустует: жена и дочь уехали в город и только иногда приезжают по выходным. Была как раз суббота. Лада, дочь дяди Толи и моя двоюродная сестра, стирала во дворе. Перед ней стояла табуретка на алюминиевых ножках, на табуретке – эмалированный таз, в тазу – маленькие разноцветные тряпочки. Это была та самая Лада из моих детских воспоминаний: еще один ребенок, существовавший в доме у бабушек.

Лада на три года старше меня. Она окончила девять классов деревенской школы, а потом выучилась в ПТУ на маляра. Работает уборщицей. Все это рассказал мне дядя по дороге.

Дядя познакомил нас, и мы все вместе пошли прогуляться. Налево за воротами Ладиного дома деревня кончалась. Между двумя высокими, покрытыми густой травой берегами текла река. Дно заросло тиной. Кое-где из воды торчали коряги, которые вода преодолевала с натугой. В таких местах она даже журчала громче, будто ругаясь. Через реку был переброшен узкий деревянный мостик. Я попросила Ладку сфотографироваться со мной на нем. Вместо ответа она повернулась к нам спиной и, широко махая рукой, быстро зашагала по направлению к дому.

«Эй, куда ты?» – закричал ей в спину дядя Толя.

«Белье стирать надо», – сказала она не оборачиваясь.

«Вот такая у меня Лада. Маленькая была – садилась на диван и часами раскачивалась из стороны в сторону. Что сделаешь?» Это он уже мне, оправдываясь.

Мы вернулись в дом. Лада яростно чистила за печкой какую-то металлическую посуду, сковородку, наверное. Сначала скребла по ней ложкой, потом булькала ее в таз с водой, потом с громким шоркающим звуком оттирала бока металлической щеткой. Мы с дядей сели на диван. Молчали.

В доме у Лады с матерью было чисто и тепло. Краска на полу была свежая и блестела. Островками то тут, то там лежали цветные круглые коврики. На окнах – коротенькие розовые занавески, кровать гладко заправлена, а поверх стоящей треугольником подушки наброшен кусок белого тюля. Дядя Толя мог бы жить здесь, а не в своей «конуре», сложись все по-другому.

«Они ушли тогда, а я остался. Скотина там была, смотреть надо было. Да и не больно звали меня с собой-то», – объяснил он.

Из-за печки вышла Лада. Вытерла красные, голые по локоть руки о вышитое красными цветами

вафельное полотенце. На меня старательно не смотрела.

«Пап, у меня картошка-то закончилась». Она сказала «кортошка закончилась», по-деревенски экономно открывая рот и окая. «Ты когда мне дашь?»

«Приходи вечером, дам».

Теперь отвернуться в угол пришлось мне. Я вдруг почувствовала себя такой обделенной, такой ущербной по сравнению с Ладой. Ей есть кому сказать «пап» и «дай», пусть даже «пап» – это всего лишь дядя Толя. А мне – некому.

\* \* \*

В деревне я наконец узнала, почему я такая, какая есть: темнокожая, темноволосяя и темноглазая. И почему, имея отца-удмурта, я ни капли на удмуртов из энциклопедии не похожа.

Оказалось, что отец был не совсем удмуртом. Он, как и дядя Толя, и дядя Леша, и баба Тоня, и баба Нина, были бесермянами. А бесермяне (так написано в той самой энциклопедии «Народы России» 1994 года выпуска, которую я уже штудировала почти двадцать лет назад) – это малочисленный народ, расселенный на северо-западе Удмуртии в бассейне реки Чепцы. По переписи 1926 года бесермян насчитывалось 10 034 человека, они жили в 41 населенном пункте. Чисто бесермянских деревень было десять, и В. была одной из них. А потом переписчики мелочиться перестали и начали записывать представителей этого народца просто удмуртами. Вот так в графе «национальность отца» в моем свидетельстве о рождении и появилось это почти не имеющее к нему отношения слово – «удмурт».

У бесермян есть свой язык, который даже его носители скромно называют диалектом удмуртского. С таким же успехом датский можно считать диалектом шведского, или наоборот. Словарный состав этих двух языков действительно очень похож, но есть нюансы. Тетя Люба – в прошлом школьная учительница – как-то вечером пыталась объяснить мне разницу, старательно записывая аккуратным почерком слова в столбик в моем блокноте.

«Удмуртский язык более мягкий, напевный. Бесермянский чуть грубее и, как говорят, чем-то похож на татарский». Она рассказывала так, что я невольно представила ее у старой коричневой доски в старой деревенской школе с мелом в руках.

Как по мне, оба языка чем-то похожи и на татарский, и на башкирский, которые я очень поверхностно знаю благодаря обязательным урокам

башкирского в школе и подружке-татарке Лианке. «Писйя» и по-удмуртски, и по-бесермянски – «кошка». По-татарски кошка – «песи», а по-башкирски – «бесей».

«Ох, доставалось нам от учительницы удмуртского, когда мы отвечали ей по-бесермянски. Она делала вид, что не понимает», – вспомнил вдруг и засмеялся дядя Леша, до того момента тихо сидевший на табуретке в углу кухни, как отстающий ученик на последней парте.

«По-удмуртски ходить – “ветлы”, а по-бесермянски – “вельти”. Тетя по-удмуртски – “эньгей”, а по-бесермянски – “татай”, – продолжала урок тетя Люба. А я вспомнила: «иней» и «туганы» – «тетя» по-башкирски и по-татарски.

«Что ты ей мозги забиваешь? – не выдержал дядя Леша. – Скажи проще: бесермяне – это удмурты, которые в свое время с татарами погуляли».

Дядя Леша по-своему прав: в энциклопедии написано, что *«современное историко-этнографическое знание с учетом письменных и полевых источников позволяет предположить, что Б. – это группа юж. удмуртов, испытавшая сильное и длительное тюрк. влияние»*.

Бесермяне отделились от удмуртов во времена Волжской Булгарии, пишут, что на религиозной почве. Они приняли ислам, за что и получили свое название: «бесермяне – бусурмане – мусульмане». Нынешние бесермяне – православные язычники, если их можно так назвать. «Развит культ предков, ярко проявляющийся в погребальной и поминальной обрядности». Я вспомнила кладбище, скамейку со столом у свежей могилы бабы Нины, рюмку водки, которую передавали по кругу, «перепечи» – удмуртско-бесермянские шаньги с яйцом, которые тетя Валя пекла сама. Выпей – съешь – помяни.

Когда Волжская Булгария рухнула, бесермяне разбежались по вятским лесам, стали селиться вдоль рек: Чепцы и ее притоков. Одним из них была река Лекма, на берегу которой стоит дом, куда жена и дочь не захотели позвать дядю Толю, и вся деревня В.

Давным-давно поселились вдоль берегов этой речки несколько бесермянских родов: Прокорпи (сын Прохора), Ванюшпи (сын Ивана), Солдатпи (сын солдата), Шетпи (Черный сын) и Гортпи (Красный сын). Последние были два брата – черноволосый и рыжий, – которые дали начало двум родам. Мои – баба Тоня, баба Нина, дядя Толя и тетя Валя – Гортпи. Я, получается, тоже.

В день, когда я узнала это, я будто встала на обе ноги, всю жизнь простояв на одной. Есть род, к которому я принадлежу. Я – Гортпи.

\* \* \*

Есть одна нестыковка. По логике вещей, род определяет мужчина. В конце концов, Гортпи – это Красный сын, а не дочь. Но в случае с моими бабушками, чья молодость пришлась на конец сороковых и пятидесятые годы двадцатого века, система дала сбой. Они обе были Гортпи, и их пятеро на двоих детей, рожденных от четырех разных мужчин, тоже остались Гортпи.

Я приехала в В. за историей отца. Почему-то мне не приходило в голову, что она окажется лишь частным случаем закономерного сюжета о жизни советских баб – измученных бытом, мечтающих о передышке и, может быть, даже о счастье – не сейчас, когда-нибудь, «потом». Иногда у этих баб рождались дочери – и тогда история могла стать похожей на мамину, а иногда – сыновья, как в случае с моим отцом.

Баба Тоня родилась в 1925 году и была средней дочерью двадцатидевятилетней крестьянки Марии. Еще через три года родилась Нина. Мария выходила замуж трижды и похоронила всех троих мужей. Первый погиб на Первой мировой в 1918-м, отец бабы Тони и бабы Нины умер, надорвавшись на заготовке бревен в 1938-м, а третий муж Марии вернулся безногим с Великой Отечественной и прожил после этого еще совсем немного. Старость Мария встретила в избе дочерей, которую они втроем и срубили. В ней моя прабабка умерла в 1957-м, за десять лет до рождения моего отца. Туда же в январе 1991-го привезли новорожденную меня.

Баба Тоня родила троих сыновей от троих мужчин, ни один из которых не взял ее замуж. Всем троим сыновьям бабушка дала свою фамилию, оставив детям в память об отцах только разные отчества. Старший ее сын был Алексеевичем, средний – Александровичем, а младший, мой отец, – Леонидовичем. Он единственный из всех троих мог бы сделать вид, что фамилия досталась ему от отца, а не от матери: его так никогда и не расписавшиеся родители были однофамильцами.

Отец моего отца, как и он сам, был сварщиком, работал в гараже при колхозе. «Там они небось и пили вместе», – говорит тетя Валя. Я сверяю даты: вряд ли. Когда Леонид умер, моему отцу только исполнилось тринадцать. К тому моменту мой случайный дед успел жениться на молодой продавщице из сельмага и родить с ней четырех дочерей. Бабушка, которой в год рождения моего отца исполнилось сорок два, «уступила» молодой.

Бабе Нине везло не больше. Она была тихая, тонкая, нежная и любила высокомерного гармониста.

У них было уже двое детей – тетя Валя и неизвестный мне дядя Миша, когда гармонист женился на красивой татарке, матери отцовской подружки Зиниры. Проходил мимо бабы Нины по деревне – задирал голову, будто не замечает. И только его мать, несостоявшаяся баба-Нинина свекровь, встречаясь иногда с «невесткой» и внуками, совала им в карманы слипшиеся карамельки.

Так и жили в одной избе баба Тоня, баба Нина, их мать Мария и дети Валерий и Валя. Потом Мария умерла, а Миша и Толя родились. Последним из детей в этой избе с печкой посреди единственной комнаты появился мой отец. Стали жить всемером. Полным многодетным семьям в деревне выделяли помощь. Им не давали ничего.

Однополые союзы в России – это норма как минимум со второй половины двадцатого века. Обе части моей семьи это доказывают. Лет до двадцати называть маму и бабушку «родителями» у меня язык не поворачивался, а потом я поняла – кто же они еще? В доме, где я выросла, родителем номер один была бабушка. Она единолично принимала решения, от которых зависело благосостояние семьи. Иногда эти решения не нравились маме, но она терпела. В доме, где вырос мой отец, главой семьи была баба Тоня. Она руководила хозяйством, распоряжалась всеми деньгами и решала, на что можно потратиться, а на что – нет, кому можно дать в долг денег, а кому – не стоит. Баба Нина обшивала и обстирывала и себя, и сестру, и всех пятерых детей, а потом и внуков. Украдкой одалживала деньги с пенсии знакомым, судачила с соседкой бабой Граней по вечерам на лавочке и до страсти любила конфеты «Коровка». Баба Тоня таких вольностей себе не позволяла.

«Тоня, мамá, ани», – звала баба Нина перед смертью. Баба Тоня стала для нее и сестрой, и матерью, и надеждой, и опорой. Она пережила сестру на восемнадцать лет.

\* \* \*

Время непостижимо. Оно идет строевым шагом секунд, минут, часов и дней и не спрашивает, хочешь ли ты, чтобы оно прошло побыстрее, или мечтаешь остановить его, ненавидишь минуту, в которой живешь, или дорожишь ею больше всей прожитой жизни. Проходит все.

Еще совсем недавно – или очень давно – моя бабушка была молодой комсомолкой с шапкой коротких кудрявых волос, к которым так хотелось прикасаться. За эти кудри мой дед избил шофера сахарного завода, который тоже положил на бабуш-

ку глаз. Развилась и поседели кудри, сгорбилась спина, отнимаются ноги. Давно умер дед, про шофера бабушка и не помнит уже, да и был ли он? Была ли молодость? Была ли жизнь?

Мама и тетка – два случайных ребенка случайного в общем-то брака. Две воплотившиеся души из двенадцати вероятностей: до них и после бабушка сделала десять кустарных абортотв (мы узнали об этом случайно).

«Ты никогда не думала, почему вы двое родились, а остальные – нет? Кто и по какому принципу вас выбрал?» – спросила я у тетки.

«Не думала. Зачем?» – ответила она.

А я думаю постоянно. Думаю еще, почему бабушкина старшая дочь – ревнивая, злопамятная и сильная, как ломовая лошадь, – стала моей матерью. Думаю, что сломало ее тогда, пятнадцать лет назад? Неужели – я?

«Зато ты случайной точно не была. Два года тебя ждали», – с какой-то даже завистью сказала тетка. Ждали.

«Как-то мама с отцом в гости позвали коллегу-инженера с сыном. Ровесники они были с твоей матерью. Вроде как познакомиться их хотели. А мама твоя уже с отцом встречалась, только он еще у себя в Удмуртии жил, а она – дома. И парень вроде симпатичный был, только что-то Любе не приглянулся. Взбрыкнула она (умеет ведь, ты знаешь), встала из-за стола и ушла на улицу. “Все равно мой Лешка лучше!” – сказала мне потом».

Прошло все. Мама стала другим человеком, которого я совсем не знаю, отец пропал без вести, и узнать его у меня вряд ли уже появится шанс. Мне тридцать лет. Я смотрю на себя в зеркало и вижу то его, то ее попеременно. Глаза и брови – его, взгляд и морщинка между бровями – ее. А я – где? Какой меня видит мой сын? Кем я буду для него через пятнадцать, через двадцать пять лет? Буду ли я для себя – собой?

Вещи – самые простые – гораздо постояннее людей. Например, забор, который стоит напротив нашего старого дома в М. Лет ему больше, чем мне. Намного больше. Наверное, он еще помнит маму маленькой.

Простой глухой деревянный забор. Когда-то крашенный зеленым, потом – желтым, а теперь просто облезший. Его построил дед Юнус, когда был молод и горяч. У него была жена баба Марьям и четверо детей. Всех пятерых дед Юнус бил за безалаберность, а потом шел и аккуратно навешивал на гвоздики в своем гараже кусочки алюминиевой и медной проволоки, которые находил по двору:

пригодятся в хозяйстве. В молодости дед Юнус был электриком.

Теперь он ослеп, оглох и сошел с ума. Он ходит по улице и клянет свою жену бабу Марьям, которая лет десять как умерла, и своих детей, которые сами уже состарились. Дети отключили в его доме газ, чтобы Юнус не наделал пожара, и привозят ему на неделю большую кастрюлю татарского супа-лапши, который он изо дня в день хлебает холодным прямо из кастрюли и на чем свет стоит ругает детей за то, что держат его впроголодь.

А забор, что Юнус поставил полвека назад, все стоит, только посерел и чуть подгнил. И кусочки проволоки в его сарае все висят на заржавевших гвоздях и будут висеть там, пока новый хозяин дома властной рукой не сметет их в мусор вместе с последними воспоминаниями о сумасшедшем старике, который всю жизнь их собирал.

В кладовке в доме бабы Тони до сих пор стоит моя коляска. Нигде во Вселенной уже нет меня маленькой, а она – есть. На чердаке в доме моего детства все еще лежат остатки маминого «приданого»: две мягкие табуретки от кухонного уголка, наборы столовых приборов в пыльных и потрескавшихся пластиковых футлярах, пожелтевшие от времени вязаные салфетки. Нет уже ни маминой молодости, ни надежды на «бравого парня», который будет долго ею любоваться, а потом заберет с собой. А вещи – есть. Целый чердак так никогда и не пригодившегося приданого.

По нашим вещам будущие люди узнают, как мы жили. По нашим книгам поймут, что мучило нас все то же, что мучает их самих.



# ПРОВОДЫ



ЕЛИЗАВЕТА ЗЕМСНОВА  
21 год. Родилась и выросла в Ниеве, живет в Берлине. Изучает публицистику и коммуникации в Свободном университете Берлина. Окончила «Курс одного рассказа» в школе «Глагол» с выпускным

рассказом «Проводы». Член редакции университетского журнала «FUrios», публиковалась в онлайн-журнале «The Noisetier». В свободное время бегаёт и ведёт бумажную переписку с друзьями.

- Ты уверена, что это точно не наш поворот? Мы уже два проехали, скоро село кончится.
- Наш будет следующий. За домом с зеленым забором, не доезжая до гастронома. Мы сейчас должны, как в прошлый раз, проехать водонапорную станцию, и метров через триста будет нужный поворот.

Леля метнула в сторону пассажирского сиденья недоверчивый взгляд, но у поворота все-таки не притормозила.

- Черт ногу сломит, – буркнула она, когда по правую сторону наконец показалась водонапорная станция.

Таня, зная, что Леля могла бы заблудиться, даже если бы дверь ее квартиры в центре города и место назначения в деревне Радушкино связывала абсолютно прямая свежесфальтированная дорога, промолчала. Ее внимание было поглощено мужчиной, набиравшим воду у станции, – вернее, его нарядом, смело сочетавшим в себе потасканную соломенную шляпу-федору, полиэстеровые треники и голый торс.

Красный мини-купер, ползший по проселочной дороге, вызвал в мужчине ответный отклик. Сначала он пристальным взглядом окинул номера машины, а затем, видимо, разглядев в них нечто удовлетворительное, помахал рукой и улыбнулся. Во рту у него не хватало нескольких зубов.

До этого Таня с тоской думала о тепле июньского солнца и вкусе холодной воды из станции, но от вида покрытой неровным загаром руки с волосатой подмышкой ее передернуло.

- У тебя новый поклонник, – бросила Таня, пытаясь отвлечься.
- Отношения на расстоянии – не моя тема, – рассеянно ответила Леля.

Ее ручки в красных кожаных перчатках вцепились в руль. Леле пришлось получать права спешно, и водила она пока нервно и без аппетита – значительно хуже, чем Таня.

- Но я могу передать ему, что у меня есть двоюродная сестра в активном поиске с фантастическими навыками ориентирования в сельской местности.

Леля как раз проехала дом с зеленым забором и, благодарно улыбнувшись Тане, выкрутила руль влево.

Таня представила себе ситуацию, где на свидание вместо миниатюрной Лели с ее херувимскими кудряшками и теплыми, румяными щечками приходит она, Таня... Ей вдруг вспомнилась беззубая улыбка мужика у водоколонки, и Таня поежилась. Настроение думать о романтике пропало совсем.

Машина тем временем подкатила к обнесенному высокой каменной стеной участку. Леля с Таней въехали в распахнутые ворота, миновали припар-



Голос у Лели сильно повеселел, стоило ей заглушить мотор, поэтому даже эта нелепая, заученная фраза прозвучала из ее уст обнадеживающе и легко. Леля швырнула перчатки на заднее сиденье и вылезла из машины.

кованный у стены черный внедорожник и последовали по широкой подъездной дорожке к дому.

Было очевидно, что облицованное голубой штукатуркой приземистое здание когда-то было помещицкой усадьбой. Дом отреставрировали и отчасти перестроили, но от него веяло тяжеловесным до-революционным величием. Второй этаж был увенчан причудливым мезонином, крыльцо окружали белокаменные колонны. Не хватало разве что конной брички у самого входа.

Вокруг дома разлилось зеленое море сада. Судя по разросшимся кустам и сплетшимся ветвям фруктовых деревьев, участком давно никто не занимался. Густая зелень листья тревожно трепетала на ветру и отбрасывала на Лелино лицо неровные тени, пока машина медленно приближалась к дому.

Леля затормозила метров за пятьдесят от дома. Оттуда было хорошо видно, что на крыльце ее уже дожидаются хозяева.

– Я не могу поверить, что ты до сих пор на это ведешься, – покачала головой Таня, глядя, как Леля стаскивает со вспотевших рук перчатки. – Вроде бы большая девочка, эксперт...

– Есть новые исследования, подтверждающие опасность энергетической контаминации во время сеансов прбводов.

Голос у Лели сильно повеселел, стоило ей заглушить мотор, поэтому даже эта нелепая, заученная фраза прозвучала из ее уст обнадеживающе и легко. Леля швырнула перчатки на заднее сиденье и вылезла из машины. Потом, опершись плечом о дверь,

окинула Таню шаловливым взглядом и едва слышно добавила:

– К тому же это очень запоминается клиентам. Проникаются, типа, уважением.

Она захлопнула дверь и пошла доставать из багажника большую спортивную сумку.

– А вот и я!

Леля приветственно вскинула руку, зашагав к крыльцу. Походка ее была как всегда энергичной, что на этот раз не шло ей на пользу: с каждым шагом повешенная на плечо увесистая сумка, как маятник, колотила ее по бедру.

Со стороны дома ответа не прозвучало – клиентка только натянуто улыбнулась и бросила отчаянный взгляд в сторону черного внедорожника. Застывшая на опрятном белокаменном крыльце рядом с сыном-подростком, лениво постукивавшим пальцами по экрану телефона, она напоминала запертую в игрушечном домике куколку.

– Я все сделала, как вы просили, – пробормотала клиентка, когда Леля вскарабкалась по каменным ступенькам. – Деньги и пульт от ворот оставила в прихожей, а ту мебель, которая вам нужна, вытаскила из чехлов. Вай-фай выключила. Ключи – вот.

Она протянула Леле дверной ключ, прикрепленный к простому железному кольцу. В белых клиенткиных пальцах, в почти неприличной близости от нескольких десятков карат, ключ выглядел массивным и уродливым, но стоило ему опуститься в маленькую Лелину ладонь, он вдруг приобрел надежный и даже благородный вид.

– Спасибо. Сделаю все, что смогу, – пообещала Леля. – Наберу вас завтра с утра, хорошо?

Клиентка только кивнула. Во взгляде ее читалась надежда на скорое избавление, но Таня была не до конца уверена, с чем это связано: с верой ли в Лелин профессионализм или с черным внедорожником, маячившим у ворот.

Когда клиентка с сыном уже спустились с крыльца, мальчик, до этого полностью игнорировавший Лелю, остановился, поднял на нее глаза – точно такие же, как у матери, но пока еще незамутненные, – и вдруг спросил:

– А вам вообще не страшно оставаться тут одной?

Леля только беззаботно улыбнулась и поставила сумку на землю.

– Мне ведь не впервой одной.

Мальчик смерил Лелю, стоящую на пустом крыльце, разочарованным взглядом и, не утруждая себя дальнейшими комментариями, пошел за матерью.

– Врушка, – сказала Таня, глядя, как отдаляются от дома фигуры хозяев.

Из-за клочка тучи как раз выглянуло солнце, и его тусклый свет, лишь слегка преломившись, пронзил Танино призрачное тело насквозь.

– Мне платят за то, чтобы я изгнала с их дачи привидение, – пожалла плечами Леля, вставляя в дверной замок ключ. – Вряд ли они мне дадут на чай, если узнают, что я притащила сюда еще одно.

Она распахнула входную дверь и махнула рукой в сторону затхлой темноты прихожей.

– Залетай, сестер!

\* \* \*

Пока Леля белым мелком чертила на полу формулы, Таня успела заполнить в кроссворде почти все слова по вертикали.

– «Последние слова», восемь букв.

– А? – рассеянно отозвалась Леля. Она как раз проверяла начерченную по кругу вязь заклинания. – Слушай, не проверишь вот этот участок? У меня с дореформенной орфографией ведь не очень.

Таня подплыла к сидевшей на корточках Леле и пристально взгляделась в белые буквы, почти светившиеся в полумраке гостиной.

– «И да прииде на ны покора, яко во языцех древних еси...» Вроде бы нормально. И тетраграмма получилась хорошая.

– Правда? – засияла Леля. – А я переживала.

Таня авторитетно кивнула. У Лели и правда всегда было не очень с магическими символами. Она слишком старалась рисовать их аккуратно и симметрично, по многу раз стирала, начинала заново – и в итоге путалась в деталях, имевших наибольшее значение. В детстве их бабушка шутила, что подарит Леле на день рождения циркуль для мелков, как у школьной математички.

– Да-да, вышло просто отлично, – подтвердила Таня. – Даже исландские знаки почти идеальные, только на верхнем углу вон того стафуса черточки дорисуй.

Леля досадливо цокнула языком и бросилась исправлять руническую закорючку над словом «изыйдя», но скрыть победной улыбки, даже закусив губу, не смогла. Таня вернулась к своему кроссворду.

– Так что, восемь букв, «последние слова»?

– Может, «концовка»?

– Нет, шестая должна быть «н», у меня тут стопроцентный «донжон» по горизонтали. «Эпитафия» тоже не подходит.

– «Завершение»?

– Леля, ты вообще считать умеешь?

– Тогда не знаю.

Леля стояла руки в боки и осматривала проделанную работу.

В центре комнаты стояли резной журнальный столик и кресло с шелковистой зеленой обивкой. Их надежно обвивал Лелин круг, кружевом стелившийся по паркету.

Туши остальной мебели, спрятанной в белые чехлы, поглубели в черничных сумерках, и казалось, что гостиную полностью затопило холодной водой. От огромных окон к кругу по полу тянулись тусклые прямоугольники света. В другом конце комнаты шерил черную пасть камин, над которым висела потускневшая от времени икона. Неживой взгляд старика с нимбом впивался в узор обоев на стене напротив.

– Вообще вкус у них для середины нулевых был довольно неплохой, – отметила Таня, подняв голову от кроссворда. – У меня такое ощущение, что они хотели инвестировать в антиквариат, но дизайнеры попилили бюджет и просто заказали им хорошую, человеческую мебель. Диван тебе тоже понадобится?

Таня указала на софу, стоявшую поодаль от круга. Софу тоже вытащили из кофра и даже забросали подушечками с шелковыми кисточками в тон обивке.

– Конечно. Не буду же я всю ночь тут стоять на ногах.

Леля как раз копошилась в сумке, из недр которой уже успела извлечь несколько перевязанных бечевкой толстых свечей, судок с бутербродами и термос.

– Ага, вот и он!

Она наконец выудила из сумки толстую книгу-альбом. Обложка глянцево сверкнула у нее в руках.

– Это еще что такое? – оживилась Таня. Она зашла к журнальному столику, куда Леля положила книгу. – «История моды с 18-го по 20-й век»? Для чего тебе это?

– А это уже реально для проводов, – объяснила Леля, опускаясь на софу. – Возлагаю на нее большие надежды. Она, вообще-то, восемь тысяч стоит. И, увидев выражение Таниного лица, быстро добавила: – Я у подружки одолжила.

Таня недоверчиво уставилась на книгу.

– Что это за дух вообще такой? Я, конечно, поняла, что это относительно безобидная барабашка, но чтоб настолько...

Привидение, по описанию клиентов, было действительно не слишком злобным. Так, пару раз мелькнуло в зеркале, когда кто-то чистил зубы, время от времени баловалось с электричеством

и оживляло картины, бродило ночью по саду и завывало в коридорах. Хозяев это, конечно, пугало до ужаса – тем более учитывая, что дух отвадил нескольких риелторов, – но до настоящей жести, по Таниному опыту, тут было далеко.

Прошлой весной они с Олей изгоняли из женского общежития призрак комендантши. Вот тогда им пришлось здорово помучиться: комендантша в душе поливала студенток кровью вместо воды, натравливала тараканов и крыс, громила кухни, а ночью любила зависнуть в воздухе над кроватями – обычно сантиметрах в тридцати от лиц спящих.

– Я пробила нашу барабашку через медиума, – заверила Леля. – История там довольно некрасивая.

Леля готовилась поужинать бутербродами и как раз вытирала руки влажной салфеткой. Таня на мгновение представила, как прохладная ткань скользит по подушечкам Лелиных пальцев и стирает мелкую белую рябь меловых отпечатков. Она поднесла к лицу собственные прозрачные пальцы, серебристо мерцавшие в сгушавшихся сумерках, но отпечатков пальцев, как обычно, различить не сумела.

– Звали ее Катериной Ивановной. Умерла в 1863-м. Отец у нее был столичный чиновник, причем вроде как довольно прогрессивный. Так что юность она провела ярко. А потом ее спланировали замуж за здешнего помещика, который был на двадцать лет ее старше.

– Ничего себе прогрессивный родитель.

– Ну да, считай, отец года. В общем, проторчав в Радушкино несколько лет практически без права выезда, Катерина Ивановна заскучала...

– Только не говори, что она начала пытаться крестьян и купаться в девичьей крови, – перебила Таня и с еще большим скепсисом глянула на журнальный столик.

– Нет-нет, тут другой случай, – поморщилась Леля. – Она влюбилась. Как водится, в какого-то бедного родственника мужа, приехавшего погостить. А муж узнал об интрижке и прилюдно избил ее. Причем в прямом смысле прилюдно: среди бела дня выволок за волосы во двор и при слугах отметелил до полусмерти. Бедный родственник при этом тоже вроде как присутствовал, но активной позиции решил, судя по всему, не занимать. Наша Катерина Ивановна унижения не вынесла и вскоре одной весенней ночью повесилась в саду на абрикосовом дереве.

Таня представила себе розоватую пену цветений, среди которой колыхалось застывшее белое тело в ночной рубашке, и холодные пальцы ног, то

и дело задевающие лепестки. В безмолвии дома ей вдруг почудилось едва слышное поскрипывание веревок.

– И все это ты выведала через медиума? – почти восхищенно спросила Таня.

– Ага. Могу даже весь имейл показать. – Леля прожевала кусок бутерброда и нехотя добавила: – Катерина Ивановна в областной тусовке непокойшихся что-то вроде знаменитости. Поэтому по *тут* сторону ее хорошо знают.

За время своего рассказа Леля успела поужинать – она всегда ела с молниеносной скоростью. Таня так привыкла к Лелиной болтовне с набитым ртом, что больше даже не обращала внимания на чавканье.

Леля отодвинула судочек и поднялась с софы.

– Ладно, мне кажется, время пришло. Пойду зажигать свечи.

Комкая в руках очередную влажную салфетку, она направилась к кругу.

Пока Леля возилась со свечами, Таня подлетела к дивану и призвала кроссворд. На то, чтобы маленькая тетрадка с противным шорохом проползла с одного конца гостиной до другого, у нее ушло немало сил.

Телекинез давался Тане очень тяжело. За время своего призрачного существования она разве что кое-как научилась переворачивать страницы и заполнять клеточки кривыми буквами – почему-то всегда ядовито-зелеными и светящимися в темноте. Шрифт – особенно в сочетании с такими словами, как «карбюратор» или «подгузник», – смотрелся очень экстравагантно.

Таня уже было вернулась к кроссворду, но вдруг заметила на сиденье открытый судок, в котором лежали две аккуратные половинки бутерброда.

– Что это, Леля?

Леля встревоженно вскинула голову. В свете зажженных свечей ее волосы сияли, как золото.

– Мы ведь это уже сто раз обсуждали. Ты просто переводишь еду, я не...

– Знаю-знаю, – начала оправдываться Леля. – Но мне так легче. И я все равно делаю два больших с разными начинками...

– А мне не легче! – отрезала Таня. – Это просто издевательство какое-то!

Слова ее прозвучали более сердито, чем ей хотелось бы, но, раздраженная очередным сражением с гравитацией за книжку кроссвордов, она не смогла сдержаться.

– Ты же знаешь мою гастрономическую ситуацию, – добавила она чуть мягче.

Что-то все настойчивей  
и чаще билось в стену,  
а затем и в закрытую дверь  
гостиной, пока не начало  
казаться, что разнобойный  
стук исходит со всех  
сторон.

Леля потупилась. Она как раз зажигала последнюю из свечей, расставленных вдоль круга. Теплое сияние пламени словно впитало в себя остатки дневного света. Вне круга гостиную окутала тьма.

– Прости меня, пожалуйста. Я слишком привыкла...  
– Да ничего, – бесцветно отозвалась Таня. – Ты лучше начинай уже, пока полночь не пробило.

Леля, все еще не глядя на Таню, поднялась с пола, отряхнула колени и вышла из круга. Дом вокруг них замер, как хищник, готовящийся к прыжку. В полумраке можно было различить белки глаз иконы, тащившейся теперь, казалось, прямо на Лелю.

Леля достала из кармана джинсов красную записную книжку и принялась негромко читать заклинание призыва. У самых ее ног подрагивало пламя свечей. Монотонное бормотание стелилось по комнате, сплетаясь с дыханием дома. Несмотря на то что окна в комнате были закрыты, Тане показалось, что полы тяжелых портьер едва заметно заколыхались.

– ...Тако заклинаю тебя, душе, в кругу сем могучем ныне постать и лик смерти своей из холода небытия явить!

На мгновение дом снова затих – даже портьеры перестали колыхаться. Ничего не происходило. Леля приподняла брови и стрельнула в Таню озадаченным взглядом.

Вдруг откуда-то сверху донесся приглушенный стук, словно на втором этаже что-то ударилось об пол. Несколько секунд спустя стук повторился – и вдруг переместился с потолка за стену. Что-то все настойчивей и чаще билось в стену, а затем и в закрытую дверь гостиной, пока не начало казаться, что разнобойный стук исходит со всех сторон.

Казалось, что гостиная находится внутри огромного барабана. Леля испуганно зажала уши руками, Таня чуть инстинктивно не повторила за ней.

И тут стук резко затих.

В ту же секунду в камине с громким треском вспыхнул белоснежный огонь.

Ошарашенная Леля повернулась к нему лицом и едва успела отшатнуться: свечи у ее ног резко загорелись таким же искрящимся пламенем. Мощным столбом огонь взметнулся к самому потолку.

Со всех сторон на комнату лавиной снова ринулся кошмарный стук. Оконные стекла и картины на стенах гулко задрожали, а портьеры теперь уже совершенно точно развевались на несуществующем ветру.

Сквозь стену пламени в кругу начали проступать очертания белой фигуры. Она постепенно обретала плоть, словно высасывая свет прямо из огня, пока наконец полностью не предстала перед Таней и Лелей.

В метре от пола висела в воздухе женщина в пышном белом платье. Ее длинные волосы парили и извивались вокруг нее, как черные змеи. На бескровном лице цвели синяки, местами уже начавшие зеленеть. Один глаз полностью тонул в черноте кровоподтека, а кожу на шее разделяла надвое толстая полоска красной раны.

Рот призрака медленно раскрылся, и из него вдруг донесся свистящий хрип – словно открылась воронка, грозившая засосать в себя все живое.

– Леля!.. – громко позвала оцепеневшую сестру Таня.

Леля застыла, не отводя взгляда от призрака. Даже с другого конца комнаты Таня видела, как быстро опускается и поднимается ее грудь.

Таня понеслась к Леле, стоявшей у самого края круга, не в силах выдать из себя ни звука. Ее зеленые глаза расширились от ужаса, ноздри бешено раздувались.

– Леля, давай! – что есть духу закричала Таня.

И Леля вдруг зажмурилась и заорала строчки заклинания:

– Властью руки, начертавшей сей круг, к покорству тебя призываю! Сим воцарюсь над тобою, душа, доколе луна не растает!

Хрип тотчас замолк, и белую фигуру дернуло, словно внутри круга произошло небольшое землетрясение. Картины, колотившиеся о стены, успокоились, исчез стук. Огонь в камине поугас и приобрел привычный золотистый оттенок. Только полы портьер продолжали щекотать паркет.

– Как ты смела вторгнуться сюда, немая девка? И как дерзнула ты даже помыслить приказывать мне?

Чистый, высокий голос призрака резонировал в стенах и доносился, казалось, сразу отовсюду.

Таня подумала, что будь у нее кожа, по ней бы от этого голоса побежали мурашки.

- Добрый вечер, Катерина Ивановна! – как можно увереннее начала Леля, несмело опустив от ушей руки. В голосе ее сквозила паника.
- Меня зовут Алена, я профессиональная проводница и потомственная ведунья. Очень приятно с вами познакомиться.
- И что с того, Аленка-холопка? – холодно осведомилась Катерина Ивановна, все еще парившая в воздухе и оттого глядевшая на Лелю снизу вверх. – Мне стоит лишь щелкнуть пальцем, чтоб избавить себя от твоего докучливого присутствия. Глупо было приходиться сюда одной-одинешеньке.

Таня с горечью поняла, что Катерина Ивановна ее не видит. Впрочем, она не удивилась. Полноценные духи практически не замечали ее с тех пор, как она умерла, – и разве что кот-полтергейст, которого Леля изгоняла в конце апреля, пару раз потерялся о Танины бесплотные ноги.

- Катерина Ивановна, я приношу вам свои извинения за то, что потревожила, – начала Леля. – Я понимаю, как сильно вам это докучает. Но прошу вас, давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Позвольте лучше показать вам кое-что, что вас, я уверена, заинтересует.

Таня бы вела этот разговор совсем по-другому.

Заклинение покорности гарантировало проводнику полную власть над призраком до самого рассвета, когда неупокоившиеся и так теряли большую часть своих сил. Если бы Леля сейчас велела Катерине Ивановне попрыгать на одной ножке и продекламировать монолог из фильма «На игле», Тане оставалось бы лишь приготовить попкорн и слушать, как Катерина Ивановна просит ее «выбрать жизнь».

Вместе этого Леля дружелюбно улыбнулась привидению и сказала:

- Присядьте, пожалуйста, в кресло. На журнальном столике лежит книга специально для вас.

Катерина Ивановна недоверчиво прищурилась, а потом резко подлетела к самому краю круга и на несколько долгих секунд приблизила свое изуродованное лицо прямо к Лелиному. Леля взгляд ее черно-белых глаз выдержала.

- Très bon, меня даже забавляет твоя дерзость, – наконец протянула Катерина Ивановна и, стремительно развернувшись, полетела обратно. Голос ее все еще гулко отражался от оконных стекол.

Со старомодным изяществом она опустилась в кресло. Из-за пышной белой юбки при этом каза-

лось, что кто-то полил сиденье взбитыми сливками из огромного невидимого баллона.

Леля на мгновение обернулась к Тане. Вид у нее был все еще слегка обалделый, но уже более уверенный. Таня ободряюще улыбнулась сестре.

- В общем, Катерина Ивановна, то, что вы видите перед собой, – это иллюстрированная история моды с 18-го по 20-е столетие, – заговорила Леля, шагая вдоль круга по направлению к креслу.

Таня следовала прямо за ней.

- Вы женщина с широким кругозором и пытливым умом. Наверняка вы очень хорошо разбираетесь в моде вашего периода. Однако вы точно заметили, что с момента вашего ухода из жизни многое в женском облике поменялось, и мне кажется, что эта книга даст ответы на все волнующие вас вопросы.

- Oui, c'est vrai! – неожиданно живо отозвалась Катерина Ивановна. Голос ее при этом звучал уже не так потусторонне. – В особенности сии чудные панталоны, в которые убрана ты. И та каракатица, увешанная чудовищными бриллиантами. А кринолин, что случилось с кринолином?!

- Мне будет проще объяснить, если вы откроете книгу на странице 43, Катерина Ивановна, – ответила Леля, подойдя к самой черте круга, поближе к столику. – Вот видите, примерно этот период вы и застали. Классические корсеты для женщин высшего круга, пышные юбки...

Она начала кратко, но красочно объяснять привидению, как успела поменяться женская одежда за последние полтора столетия. Таня тихонько хмыкнула. Как и многие призраки, страдавшие от нехватки общения, Катерина Ивановна быстро забыла свои угрозы про «щелчок пальцев».

Жадно и, как с завистью отметила Таня, без всяких усилий привидение перелистывало страницы белыми пальцами и задавало вопросы об одежде, косметике и формах досуга. Каким-то чудом к мнументальным темам вроде революции и войны Катерина Ивановна оставалась совершенно равнодушной. Зато когда дело дошло до фотографий моделей в бикини, она почти три минуты только и могла, что истерически хихикать.

Разглядывание альбома длилось почти час. За это время Таня сумела хорошо рассмотреть Катерину Ивановну и с удивлением обнаружила, что та умерла очень молодой – возможно, даже раньше самой Тани. На вид привидение было ровесницей Лели. На Таню накатила шемая тоска.

Несмотря на круг магических формул на полу и жутковатый внешний вид призрака, ситуация



Им было страшно, но они знали, что, если они будут стоять на одном же месте, ничего не получится. Что нельзя вечно хвататься за привычное, как за спасательный круг.

отдаленно напоминала пролистывание глянцевого журнала в салоне красоты. Тело у Катерины Ивановны было, как и у всех неуспокоившихся привидений, почти материальным и лишь слегка просвечивалось, будто было сделано из тонкого фарфора. Время от времени она улыбалась своими разбитыми губами, и на щеках у нее появлялись ямочки.

- Ну вот так мы и пришли к джинсам, – пояснила наконец Леля, для наглядности дернув себя за штанину. – К ним порой тоже есть вопросы, но в целом они намного удобнее, чем кринолин.
- Magnifique! – выдохнула Катерина Ивановна. Она все еще завороченно смотрела на фотографию разноцветных кроссовок.
- Вот что я хочу вам сказать, Катерина Ивановна, – мягко начала Леля, тоже уставившись на изображение кроссовок.

По ее невидящему взгляду Таня поняла, что Леля очень нервничает. Подошло время самой ответственной части.

- Взгляните, какой путь проделали женщины. От кринолинов и корсетов до туфель на шпильках, широких пиджаков с подплечниками и кожаных портфелей. И мне кажется, в этом прогрессе кроется вся суть человечества. История все время сталкивала людей с испытаниями, поворачивала вспять привычные течения. И наша сила всегда была в том, что мы перед лицом неизвестности умели собрать все силы в кулак и сделать шаг прямоком в эту неизвестность. От начала времен в каждой отдельно взятой жизни могли происходить ужасные вещи – и это несправедливо, жестоко и гадко. Но мы все равно находили в себе мужество идти дальше. Побеждали неизвестное.

Леля оторвала взгляд от книги и посмотрела на Катерину Ивановну, притихшую в кресле. Помолчав немного, Леля тихо продолжила:

- То, что с вами произошло, нечестно и просто ужасно. Вы этого совсем не заслужили, и мне бесконечно жаль, что так вышло. В наши дни вы, наверное, могли бы вовсе не выходить замуж – или развестись. Подать в суд, уехать, жить там, где вам хочется. Пусть в наши дни мир все еще жестокий и неидеальный, но многие вещи совсем другие. Такие, какие вы себе не могли бы вообразить при жизни, даже если бы попытались, верно? И все потому, что люди не боялись идти дальше, хоть и не знали, куда путь заведет их в конечном итоге. Им было страшно, но они знали, что, если они будут стоять на одном же месте, ничего не получится. Что нельзя вечно хвататься за привычное, как за спасательный круг. Что иначе их засосет болото времени, понимаете?

Катерина Ивановна кивнула. Губы ее дрожали.

- Даже если я сегодня уеду ни с чем, дом все равно рано или поздно продадут. Или хуже того – снесут. Люди за пределами этой усадьбы будут рожаться и умирать, паровоз истории будет катиться вперед. А вы так и застрянете здесь, в месте, которое ненавидите, потому что боитесь узнать, что там дальше.

Несколько минут они молчали. Потом Катерина Ивановна вдруг подняла голову на Лелю и хрипло произнесла:

- Пусть срубят абрикос. Все равно плоды нехороши.
- Ладно, – согласилась Леля. – Стало быть, вы готовы, Катерина Ивановна?

Катерина Ивановна моргнула, кивнула головой, а потом сказала Леле:

- У вас такие чистые руки. Люди вечно в дом на руках всякую дрянь тащат. А у вас чистые. Теплые.
- Смушенная Леля только улыбнулась, а потом вытащила записную книжку и нашла нужную страницу. Медленно и четко она начала читать заклинание.

Голос ее постепенно крепнул, и вместе с ним все ярче становился свет свечей – пока не залил ослепительным сиянием всю комнату. Таня почувствовала, как свет пронизывает ее насквозь, и впервые за долгое время ощутила тепло.

Наконец Леля дочитала, и сияние стало таким ярким, что Таня едва могла различить очертания кресла. Размытый силуэт Катерины Ивановны поднялся в воздух, и вдруг очертания его приобрели резкость – так, что можно было разглядеть каждую складочку на платье. С лица сошли синяки, а рана на шее затянулась кожей. Катерина Ивановна вы-



глядела живой и счастливой, к ее лицу вернулась давно утраченная красота. Она в последний раз улыбнулась, а потом вспыхнула ярким светом и исчезла вместе с золотистым сиянием.

Таня с Лелей остались в непривычно тусклой гостиной вдвоем. Свечи и камин погасли, но теперь сквозь окна сочился бледный утренний свет. Круг, начерченный на полу, вдруг оказался совершенно неуместным в обстановке комнаты.

– Тетя Наташа бы тобой гордилась, Леля, – сказала Таня, чувствуя странную даже по меркам своего бестелесного существования легкость.

Ей казалось, что какой-то пузырь, давно давивший на нее изнутри, наконец лопнул, и ей стало пусто и спокойно. Тепло, которое она почувствовала, когда Леля провожала Катерину Ивановну, все еще пульсировало в ней.

– Спасибо, – смущенно улыбнулась Леля. – Ты же знаешь, что это ты была маминкой любимой ученицей.

– Она просто не видела тебя в полном расцвете сил. И не слышала твоей речи сегодня. По-моему, ты на сто процентов готова работать самостоятельно.

Леля не ответила. Улыбка на ее лице увяла. Танины догадки подтвердились. Они наконец-то обе были готовы.

– Если бы не была готова, то не смогла бы так проводить Катерину Ивановну, – как можно мягче продолжила Таня. Несмотря на общее умиротворение, в горле у нее стоял ком.

– Это просто слова... – начала оправдываться Леля. Она попятилась от круга и, словно желая спрятаться, свернулась калачиком на софе.

– Не просто слова, Леля. Я это знаю. Ты это знаешь. Таня подплыла к ней и опустилась на пол у подлокотника. Теперь они с Лелей были лицом к лицу. В свете восходящего солнца Таня могла разглядеть каждую веснушку на Лелином носу.

Леля устало прикрыла глаза и положила голову на подлокотник. Не размыкая век, она сказала глухим голосом:

– «Последние слова», восемь букв. «Прощание», да? – Ты всегда лучше всех помогала мне в кроссвордах.

Они немного помолчали. Потом Леля все так же, с закрытыми глазами, призналась:

– Я бы очень хотела тебя обнять.

– И я тебя, – ответила Таня. – Но не могу. Ты же понимаешь.

– Понимаю, – просто подтвердила Леля и открыла глаза. По щекам у нее текли слезы.

Еще несколько мгновений она просто смотрела на Таню, а потом попросила:

– Побудь со мной, пока я не усну.

Таня улыбнулась.

– Конечно. Я всегда с тобой.

– Знаю, – сказала Леля и закрыла глаза.

За окном все ярче проступали неоспоримые золотистые очертания жизни. Таня медленно растворялась в густом молоке Лелиного сна. Ей было тепло.



# ПРОСТО КНИЖКА ДУРАЦКАЯ



—  
АННА ПОЛЕНОВА  
Родилась в 1993 году  
в Москве, где и живет.  
Нореевед, работает научной  
сотрудницей в РАН, препо-  
дает. Прошла «Нурс одного  
рассказа» в Школе прозы  
«Глагол».

Передо мной стояло два напичканных книгами пакета. Уголки переплетов дырявили полиэтилен тут и там. Все книги были одинаковыми, а я все сидела и тарасилась на них. Господи, их тут совсем немного. Где мне теперь найти остальные? Тема окликнул меня, едва появившись из прихожей, — как-то даже не заметила, что он вернулся.

— Ого, столько всего купила?

Мне хотелось что-нибудь ответить, но вместо этого зашипало глаза, Тема как-то разом встретился, за пару больших шагов очутился рядом и стал неожиданно высоким и взрослым, обхватил меня руками и принялся качать из стороны в сторону. Баюканье было неловким, медвежьим, и от этого я расплакалась сильнее, чем ожидала.

Скучный был вообще-то день, я до этого ничего такого не делала: приехала к Лере, давно не виделись, начали говорить о вещах, которые раньше казались унылыми, для взрослых теток, — зарплата, аренда, болезни. Все было нормально.

— Слушай, у меня тут завалилось. — Лера протянула гнутую полумесяцем замученную книжечку. — «Встретимся в Москве!» Написал какой-то парень-иностранец, был тут на стажировке... Вроде как раз в той же шарашке учился, что и ты, смотри, да? Давай, может, я тебе ее и отдам, самой сейчас вообще не до чтения.

Я сидела в автобусе, болтала ногами и перелистывала странички. Десять рассказов, плюс рецепты борща, хроника общажной вечеринки. И все не просто знакомое, а прямо такое, как мне помнилось: наша гардеробщица, периодически не работающий фонтанчик у одного из корпусов, студенческие общества. Закончив очередной рассказ, я, поколебавшись, заглянула в послесловие — и точно: парень учился на нашем курсе; ну, разные факультеты, неудивительно, что не пересеклись, фамилия совсем незнакомая. Москва у него получилась немного картонная, неживая, гриппозный сон про постсоветскость, в котором закончились балалайки и медведи, но и на замену ничего не подвезли. Я набрала Лере: «Ну такое», а спустя пару минут наткнулась в тексте на себя.

Поверить не могу. Я выбежала из автобуса на ближайшей остановке, чуть не забыв книжку, которую с размаху шлепнула на соседнее сиденье, и стояла теперь посреди улицы, не особо зная, что делать. В чужом тексте мы с Климом опять были вместе, и мне вдруг стало совсем нечем дышать. Надо было сосредоточиться. Я не заметила, как снова натянула рукава толстовки до самых кончиков пальцев, совсем как тогда, хотя на запястьях уже нечего было прятать. Его номер заблокирован. Его почтовый адрес в черном списке. И фейсбук. И телеграм, и вообще все соцсети. У меня, у Темы тоже. Все

в порядке. Никто сейчас не позвонит, не напишет. Правда ведь? Мне стало казаться, что все напрасно и я продолжаю быть уязвимой.

Я огляделась и через перекресток увидела вывеску сетевого книжного. Через десять минут все «Встретимся в Москве», что были в наличии, принадлежали мне. Так же случилось с еще одним книжным через квартал и еще с одним – я скупала их по всему району. Уже в такси мне пришлось в голову оформить по сети доставку максимально возможного числа экземпляров на дом. Я заглянула в конец книги и посмотрела тираж.

Всю следующую неделю к нам домой приезжали курьеры, привозившие все новые тома. С каждым новым экземпляром я словно снова попадала в прошлое и смотрела на себя со стороны, но не могла ни помочь, ни предупредить – не слушай, не иди туда, не жалей его, жалей себя. Надо было спрятать всю эту историю как можно глубже, чтобы никто никогда не увидел и не узнал.

– Где их только нет. Это какой-то кошмар.

Тема, который на самом-то деле уже почти заснул, перекатился на бок и хотел было меня обнять, но его рука упала на простыню: я лежала на самом краю и водила пальцем по корешкам книг, сложенных стопками на прикроватной тумбочке; такие же – значительно выше – загромодили стол, кресло, неустойчиво пошатывались у стен.

– Ты уже так много их собрала, милая. – Тема помолчал. – Где же мы будем их держать?

– Тебя именно это волнует?

Он вздохнул. Немного осуждающе, но, может, мне просто показалось.

– Ты же не можешь собрать их все?

Я перевернулась на спину в миллиметре от Теминой ладони и уставилась в потолок.

– Я не могу вот так взять и остановиться. Я вижу эту кучу книг и думаю, что все они могли бы оказаться не здесь, а где-то еще. Кто-то мог их читать прямо сейчас и видеть, что тогда произошло. Вдруг это будет кто-то из друзей? Или с работы? Как мне потом с этим жить?

И это была бы целая толпа людей. Мне представилось, сколько этих проклятых книг еще где-то там, непонятно где. Что, если я и правда не смогу их найти?

– Ну и что, если так? Там же наверняка непонятно, что это ты. Если бы ты не сказала, я бы и сам ни за что ничего не узнал. Да и вообще, ты же говорила, там не написано ничего кошмарного... Ну то есть понятно, что токсично, но...

Я села в кровати и посмотрела на Тему. Теплый перед сном – не надо было даже трогать, чтобы почувствовать, – в темноте он как будто слабо светился. Так-то кожа у него бледнющая. «Ничего кошмарного», потому что остального нет в книге, да и Теме я не особо смогла что-то рассказать. Может, только про то, почему перед нашим знакомством лежала в больнице. Чем больше я пыталась что-то вспомнить, тем более смутно виделась картинка.

– Всей этой истории вообще не должно было случиться, а теперь она напечатана мегатонной копией. Я так надеялась, что никто об этом не знал, а оказывается, все это время кто-то видел и наблюдал. А потом еще и превратил это все в дурацкую метафору чего-то там.

Раньше я долго не могла привыкнуть к тому, что он такой терпеливый. Теперь это ощущение вернулось. Он не в ярости? Почему так?

– Милая, хорошая. – Тема все-таки придвинулся поближе и пробормотал уже мне в бок: – Было и прошло, правда?

Чуть позже, когда свободное место начало заканчиваться даже в кладовке, я как-то совсем в шутку предложила поехать к маме, раз тут жить негде («Как раз отпуск же! Заодно и попутешествуем»), а Тема решил и правда попутешествовать, купил билеты, нашел какие-то чемоданы («А я бы с удовольствием посмотрел, как там, ты столько рассказывала»). Иногда я посреди каких-то повседневных дел замирала от ужаса: проехать почти две тысячи километров только потому, что не было сил от того, сколько этих книг дома и сколько их еще где-то там, – но было уже поздно. Мне сложно было потом смотреть Теме в глаза, но он рассказывал, как будет здорово: съездим туда, сходим вот сюда, на лошадях, в горы, еще и пещеры посмотрим. Раз – и эта поездка становилась вовсе не про мою ненужную драму, а про то, какие мы молодые и легкие на подъем. Взяли и тронулись с места, прямо вот так!

Поезд, тихо покачиваясь, тянулся через степь. Было непонятно, спит Тема или нет. Если спит, о чем думает? Ему досталась верхняя полка. Здесь не дома: ни обнять, ни спросить, ничего такого, просто лежишь и мучаешься. С другой стороны, можно и самой подумать о чем-то своем, представить, что и правда нет никакой беды, что я и правда еду навестить маму, а не зачем-то еще. Я положила ладони под голову, упершись левым локтем в стенку вагона. В незанавешенном окошке катилась луна – желтая, полная, и чем дальше мы ехали, тем гуще и слаще становился воздух и тем больше она стано-

вилась похожа не на грустное коньячное пятно или кусок скидочного сыра из «Магнита», а на домашний блин или, еще лучше, на беляш, пока наконец меня не сморило окончательно и она не превратилась в яркий засушенный букетик зверобоя, подвешенный над бабушкиной кроватью. Я заснула и во сне видела не взрослые несчастья и не Клима, который опять нашел меня, а солнечные кусочки детства. Одно прошлое, постарше, вытеснило другое.

Мама выпроводила меня гулять – все как раньше, вот это «Чего ты летом будешь в духоте в комнате сидеть», – и я наткнулась на еще один книжный. Он занял бывший Дом пионеров и с трудом ассоциировался с какими-то столичными тревогами. Я постояла перед дверью и подумала, а не уехала ли я от проблемы; в конце концов, можно просто зайти поискать почитать что-нибудь в отпуск. На большом стенде прямо перед кассой стояла целая стопка «Встретимся в Москве». Как будто бы этого было недостаточно, рядом возвышалась табличка с красочным постером. Господи, этого же быть не может, откуда они здесь? Может, и мама уже видела? От этих книг было буквально не спрятаться. Может, и не видела, потому что тогда вряд ли бы стала говорить со мной как всегда. Каково было бы маме, узнай она правду про нас с Климом?

Я прошла под окнами маминой квартиры на первом этаже и увидела, как Тема сидит прохладается в гостиной. Тихонько постучала в открытую форточку. Услышал? Нет, подошел только после маленького камушка, подкинутого с большим трудом и приземлившегося прямо возле его тапок. Я зашептала, сама не очень представляя, что мне делать с этой информацией:

- Там этих книг целый стенд.
- Тема не сразу сориентировался:
- Чего? А. Ну и фиг с ними, правда? А ты чего булыжниками кидаешься, как бандит? Можно же было просто позвонить.
- Ой. Я как-то не подумала.
- Давай заходи, мы тут с твоей мамой пирожки лепим.
- Мама с порога выдала мне затертый, в несмысленных пятнах от черносморидного варенья фартук.
- Вот так края защищивай, поплотнее.
- Да я защищиваю, мам...
- Она довольно заулыбалась:
- Ну вот, смотри, какой красивый получился. А то все какие-то грустные пирожочки у тебя.
- Я съерничала:
- Эх, матушка, так и жисть у меня тяжелая.

Она отряхнула руку от муки и обняла меня – крепко-крепко, уперев подбородок в макушку; стой я с ней рядом, а не сиди на каком-то детском стульчике, ей бы уже не хватило роста. Тема шелкнул меня по носу, измазав его тестом. В магазине стоял на стенде сборник чужих рассказов, который ничего для них не значил.

- Бедная моя Нюточка, настрадалась. Скажи, чего не так?
- Да... Книжку дурацкую прочитала просто.



# КЛАВИШИ



ОЛЯ УЗЯНОВА

Живет в Москве. Интересуется искусством и историей. Писательство для Оли — это путь к пониманию людей и событий, изучению мотивов и поступков. Выпускница школы литературного мастерства «Глагол».

Какой здесь спертый воздух, приоткрыть бы окно немного. Хотя где здесь окно? Здесь и окна-то нет. Темновато.

Какой-то зал недружелюбный, конкурсантам аплодируют вяло.

Как же унять тебя! Перестань, перестань. Нет, я точно не дойду до середины сцены, коленки подкосятся, и упаду, прям на первую скрипку упаду. И как с такими пальцами играть? А ну послушайте меня! Не тряситесь! Вдох-выдох, надо считать и дышать до десяти. Правильно. Чуть легче.

Аплодисменты. Закончил. Скоро я. Сейчас, сейчас, соберись, Лиза.

«Продолжаем прослушивание пианистов N-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Финал. Елизавета Броскина, Россия. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2».

Давай.

Какой красивый рояль. Черный и глянцевый. Белоснежные клавиши.

Надо настроиться, вдох, вы-ы-ыдох. Вдох, вы-ы-ыдох.

«Кхе-кхе».

Еще и на первом ряду... Надеюсь, он не будет кашлять весь концерт.

Я готова. Смотрю на дирижера: даю ему понять, что начинаю. Дирижер кажется чутким, говорят, тоже детдомовский.

Я кладу руки на клавиши, они мягкие, покладистые. Начинаю играть.

Первая часть, Moderato, — моя любимая. Тяжелая, но с надеждой. Какие податливые клавиши. Надежда Васильевна всегда говорила, что первые секунды соприкосновения с клавишами определяют весь концерт.

Как волнительно вступает оркестр. Я жду отмашки дирижера, что могу продолжить. А у него красивый фрак, отделан бархатом. И туфли лакированные, черные, глянцевые.

Кивок — и я вступаю. Руки бегут по клавишам, я почти не контролирую их, а только ощущаю, как моя рука сама управляет всеми молоточками, они бьют по струнам внутри инструмента. И как красиво выходит звук. Или другим не нравится? Может, это только мне нравится звук, а им нет? Ладно хоть кашлять перестали.

Я продолжаю играть, и вот я сливаюсь с роялем — мое любимое ощущение, теперь мы только вдвоем.

Впервые я услышала этот концерт вживую только на третьем курсе в консерватории. К тому моменту меня уже собирались исключить за неуспеваемость: я не могла играть, руки отказывались играть. Я то-

гда сидела в последнем ряду, под самым потолком большого зала Московской консерватории, было лето, стояла жуткая духота. Но когда со сцены полилась музыка, все пространство вокруг залила приятная прохлада, которая тогда пробрала меня до мурашек. И как играл пианист! Никогда не забуду его пальцы, казалось, живущие своей жизнью и свободно бегающие по клавишам, и как инструмент отзывался в этих руках. Это было красиво и изящно. Казалось, пианист не понимал, что он играет в зале почти на две тысячи человек. Их было только двое – он и рояль. А оркестр охранял это таинство между пианистом и его музыкой. Такая связь... у меня такой ни с кем никогда не было.

Во мне тогда что-то перевернулось, я побежала в общежитие, бросилась на кровать и заплакала. А потом достала ноты Второго концерта, пришла в класс и начала разучивать. Я учила всю ночь, не выходила из класса даже на пару минут. Выучила первую часть, но не могла достичь той плавности, что была у пианиста на концерте.

Что-то внутри само собой шелкнуло, будто мной управляли. Внутри повисла тяжесть, вина, одиночество. Я боялась оставаться одна. Наутро я села в электричку и приехала к Ней. Она открыла мне дверь и бросила ледяной взгляд:

- Чего тебе?
- Надежда Васильевна, это я.
- Уж не слепая, вижу. Чего тебе?
- Я играю, а у меня не получается.

Она продолжала смотреть на меня сквозь очки в тонкой позолоченной оправе, и на мгновение показалось, что она закроет дверь, но потом спросила:

- Чай?
- Если можно. С лимоном. Спасибо. Спасибо.
- Пианино сама найдешь? Или, небось, уже все позабыла тут?
- Помню.
- Ладно, садись, разыгрывайся, а я приду скоро.

Я прошла в квартирку – небольшую, усыпанную книгами и нотными тетрадями, с разбросанными и слегка выгоревшими на солнце исписанными нотными листами. Старый просевший диван был укрыт покрывалом в цветочек (помню, как я иногда спала на нем, когда сильно уставала после занятий), обои слегка отклеивались от стен, и виден был желтый, потрескавшийся клей на обратной стороне.

На фоне этой заброшенной обстановки яркой белой точкой блестело фортепиано, идеально покрытое глянцевым лаком. Я открыла крышку, и на меня накатила запах деревянных нежно-кремового цвета клавиш.

Руки сами опустились на них, и я начала разыгрываться. Гаммы, арпеджио, хроматическая. О, этот звук. Родной звук. Такой любимый, такой ненавистный.

- Ну что, разыгрываться не разучилась, неплохо. Чай вот.
- Спасибо.

Я сделала глоток. Да, ничего не поменялось, тот же вкус чая из пакетика с кипяченой водой из-под крана. Молчу.

- Рассказывай. Чего пришла?
- У меня не получается играть.
- Я тебя десять лет учила, и что, за пару лет в своей консерватории разучилась?
- Надежда Васильевна, я...
- Проехали. Показывай.

Я начала играть разученную в ночи часть Второго концерта. Попыталась закрыть глаза, ровно дышать, но руки слушались плохо.

- Фальшиво!
- Я продолжала играть, ускоряла темп.
- Куда так летишь, куда! Гонишь! Moderato же!
- Костяшки пальцев задеревенели, клавиши перестали мне отвечать.
- Руки! Опустите руки! Что за поза, что за техника, куда бежишь!
- ХВАТИТ! – Я закричала, заревела, забилась в истерику. – ХВАТИТ! ХВАТИТ! ХВАТИТ! Простите меня!

Вот черт! Рука немного соскальзывает, я смазываю такт. Дирижер, конечно, замечает, он все слышит. Зритель мог не понять. Дирижер смотрит на меня вопросительно. Я стараюсь сохранять спокойствие, взглядом даю понять, что все в порядке. Сосредоточься, Лиза. Без драмы.

Мои руки скользят по клавишам рояля, кажется, ошибка невозможна, я играла этот концерт тысячу раз, все знаю наизусть, но этот такт... Ничего, впереди еще две части, все это ничего не значит. У каждого музыканта бывают огрехи.

Какой красивый звук я издаю, неужели это правда я? Неужели это мои руки?

Музыка набирает силу, эмоции становится сложно сдерживать. По щеке скатывается слеза.

- Простите меня! Я не должна была уезжать, не прощаясь. Простите, я не хотела с вами прощаться, простите!
- Лиз, неужели я не заслужила?
- Заслужили! Больше всех заслужили! Но я не хотела прощаться, я ненавижу прощаться, ненавижу! Руки вцепились в колени так, что стало невыно-



симо больно. Но эта боль была намного лучше, чем то, что происходило внутри.

- Ты знаешь, я столько в тебя вложила. Ни в кого столько не вкладывала, верила в тебя, да и сейчас верю несмотря на то, что ты меня вот так вот покинула.
- Я не покидала вас.
- С момента ухода ты не писала и не звонила мне. И даже не сказала, что уходишь, даже не сказала, что поступила.
- Меня столько раз бросали, и мне казалось, что своим прощанием я брошу вас. А вас бросать я не хотела.
- Но ты меня бросила, ровно так, как сделала твоя мама и потом приемная семья. Ты не нашла в себе смелости прийти ко мне.
- Не нашла.
- Лиза, мне было так обидно. Ты была очень талантливой девочкой. Когда мы познакомились, ты была такой замкнутой... Но мне показалось, у тебя большая душа. Так и вышло. Вся твоя душа была в музыке, которую ты играла. Я видела эту душу, но сама ты ее открывать не стремилась. Это всегда огорчало.
- Я не знаю как. Я не умею.

Господи, как сложно это вспоминать, как тяжело.

Дирижер снова кивнул. Вторая часть. *Adagio sostenuto*. Нежная, лирическая. Словно поднимаюсь в облака. В детстве, когда в детдоме объявляли отбой, я представляла, будто прыгаю по пушистым облачкам. Прыг-скок. С одного облачка на другое. Немного проваливаюсь. А в семье, когда у меня появилась большая кровать, я чувствовала себя маленькой принцессой, у которой теперь есть замок с большими и толстыми стенами. А еще у меня был брат, он по-доброму ко мне относился, много играл со мной... Ощущение облаков теперь появляется только в пальцах в моменты, когда они перебирают клавиши инструмента – нежный отголосок счастливого времени, которое длилось очень недолго.

Когда меня вернули обратно в детдом, я часами сидела на кровати и смотрела в окно, мне хотелось выпрыгнуть в него, упасть в мягкое облачко и улететь далеко-далеко. И жить одной, среди облачного замка.

Кажется, я смотрела в окно непрерывно на протяжении всего лета. Ко мне приходили врачи, светили фонариком в глаза, тыкали в мои колени молотком. Кто-то говорил, что я притворяюсь, чтобы не убираться, кто-то – что я должна уехать в дру-

гое специальное место. И вот уже когда вокруг меня все засуетились, стали носиться с документами, появилась она, Надежда Васильевна.

– Оставьте ребенка в покое! У нее просто шок, расстройство.

Ее начали убеждать, что тратить время на меня бесполезно, на что Надежда Васильевна отвечала, что музыка все вылечит.

– Вылечит, вылечит. Не сомневайтесь. Даже меня, старуху, после инсульта вылечила, а ребенка подавно.

Ее глаза светились азартом и уверенностью. Она подошла ко мне, поймала мой взгляд и спросила, не хочу ли я посмотреть ее игрушки.

Я поддалась порыву внезапного любопытства и пошла за ней.

– Ну разве это игрушки! Это пианина!

– Во-первых, фортепиано. Во-вторых, это не просто игрушка. Садись.

В тот день я научилась играть гамму до мажор, кривовато, но научилась.

– Да, пальцы деревянные, но ничего, суставчики в твоём возрасте мягкие, покладистые, научим. – До сих пор помню ее улыбку и хитрый прищур, которые я тогда увидела впервые.

С тех пор каждый день я подходила к фортепиано открывать новые для себя музыкальные закономерности. Надежда Васильевна была строгим учителем – периодически слегка била по рукам («Держи руку так, словно в ней зажато маленькое яблочко!»), заставляла узнавать интервалы на слух, учить музыкальную грамоту.

Я больше не хотела прыгнуть из окна на облачко. Я хотела играть.

С каждым днем мои руки все больше соединялись с клавишами. Садясь за инструмент, я сливалась с ним в единое целое, я видела ту музыку, которую играю. Я построила свой мир, где была только я.

– Я не бросала вас. Я не хотела прощаться!

– Но ты же понимаешь, что это еще хуже?

Меня словно ударила молния.

– Почему?

– Ты не оставила мне шанса обнять тебя и пожелать удачи.

– Это важно?

– Слова могут ранить очень больно. Отсутствие слов еще больнее. Все три года я ждала от тебя вестей, хотела радоваться твоим успехам и делить неудачи. Я хотела продолжать оставаться с тобой. У меня тоже никого нет, но последние годы я посвятила тебе, я поверила в тебя, в твой

талант, в твою особенность. Ты всегда была скупа на эмоции, и я понимала почему. Тебя дважды бросали, дважды ты оставалась совсем одна. Мне всегда казалось, что ты просто не хочешь открывать свои чувства, но в глубине души ты чувствуешь, я слышала это в твоей игре. И вот теперь ты бросила меня.

Я заплакала. Но не сказала ни слова.

– А теперь играй. Играй все то, что хочешь мне сейчас сказать.

Я нежно опустила руки на клавиши. Плавно взяла аккорды, моя голова легонько начала покачиваться в такт музыке. Позвоночник расслабился, я перестала сосредотачиваться на движениях рук и устремила взгляд на черно-белый ряд клавиш. На каждую из них я нажимала с любовью и теплотой, и они благодарно отзывались мне в ответ.

Надежда Васильевна села ко мне ближе, а потом шепнула на ухо:

– Спасибо, что навестила меня.

Кхе-кхе. Кто-то покашлял перед началом третьей части концерта.

И наконец, *Allegro scherzando*.

Дирижер ускоряет темп, оркестр и зал оживают, и каждая клавиша уверенно отдает импульс обратно в пальцы. Как это приятно, я бегу, бегу ритмично, красиво. Я никогда так не играла. Кажется, дирижер доволен. Я наращиваю темп, мышцы рук напрягаются, я не могу, мне больно, если их сейчас сведет, все пропало. Я задираю голову и молю о помощи.

Резко опускаю взгляд на клавиши, а потом замечаю, как чужая рука незаметно скользит поверх моей.

Надежда Васильевна сидит рядом со мной, легкая, невесомая, полупрозрачная. Пришла ко мне из другого мира, из мира своей музыки. Она гладит меня и улыбается.

Я смотрю на нее. Мне нечего сказать. Я могу только улыбаться и шептать: «Надеюсь, вы там счастливы». Она кивает, и улыбка не сходит с ее лица.

Напряжение нарастает, лирика переходит в торжество музыки, я отбиваю последний аккорд, жду пару секунд, резко вскакиваю от боли в пальцах и во всем теле, слезы текут по щекам.

Зал встает, кричит, разрывается аплодисментами.

Я пытаюсь утереть слезы, но вот дирижер соскакивает с подиума, берет меня за руку, поворачивает к залу и присоединяется к аплодисментам, отходя чуть назад.

Шум меня почти оглушает, плачу – ничего не могу поделать с собой. Это были чистые эмоции, вырвав-

шиеся из грудной клетки. Без защиты, открытая нараспашку перед целым залом.

Я перевожу взгляд на рояль, за ним все так же сидит Надежда Васильевна.

– Они меня любят?

Надежда Васильевна пожимает плечами:

– Тебе это важно?

– Мне казалось, я шла к этому.

– Возможно. Но пришла ты к другому.

– К чему?

– К кому. Ты пришла к себе.





Какое-то время она ворчала по поводу моего интереса к поискам: «Что, в детстве в супергероев не наигралась?» Но это, если честно, только усилило мою решимость.

И я записалась в волонтеры.

Поэтому вместо уютного парка вечером меня ждала чужая, незнакомая, неблагополучная Москва.

### Поиски

Яркие тени стволов и веток перечеркивали широкие полосы солнечного света. Асфальтовая дорожка превратилась в сказочную тропу. Даже скучные высотки-муравейники преобразились в лучах закатного солнца и почти нравились мне сегодня.

Неужели в такой вечер кому-то может быть плохо?

Грозное небо и ветер, серые листья, ливни и грязь – вот подходящая атмосфера для преступлений, побегов, скандалов.

А сегодня время влюбленных на лавочке, пикников на траве и неспешных прогулок.

– Аня, отрабатываем площадки и магазины!

Я сегодня в паре с Олей. Она в отряде несколько лет. Кажется, Оля создана для этой работы. Даже выглядит как спасатель – крепкая, высокая, спортивная. Позывной «Искра» ей подходит. У нее есть и дети, и муж, и основная работа, а она все равно везде успевает. Не пойму, как ей это удается.

Сейчас мы осматриваем детские площадки, опрашиваем дворников, бабушек у подъездов, мам с колясками. Затем осмотр сетевых магазинов: туда бегунки часто отправляются отдохнуть, добыть еды и воды, сходить в туалет.

После отчета Маше, нашему координатору, мы получим распоряжения о дальнейшей работе. Координатор – квалифицированный, подготовленный специалист. Только он видит картину в целом и имеет доступ к персональным данным. Он же и общается с родителями и органами. И распределяет задачи между волонтерами, контролирует каждый выход.

Я даже не знаю всех обстоятельств пропажи, только самое основное: девочка не вернулась из школы в четверг, в двенадцать ночи родители заявили в розыск, утром обратились в наш фонд. Все родственники живут далеко, и девочка находится предположительно в своем районе. Других подробностей нам не сообщили.

Если до темноты не найдем Арину, скорее всего, поступит распоряжение обходить ближайшие к месту проживания подъезды. Там дети часто остаются на ночь.

Это страшно, когда ребенок убегает. Какими бы взрослыми и самостоятельными ни казались нам подростки, длительное пребывание на улице может угрожать их жизни. Они ввязываются в кражи, знакомятся с опасными людьми, замерзают, заболевают, травмируются.

А самое страшное: они не хотят, чтобы мы их нашли. Хотят, чтобы мама переживала. Чтобы родственники обыскали весь город, оценили потерю и жизнь волшебным образом изменилась. Но попадаться «ментам» и спасательным отрядам они не планируют. Не доверяют. И искать от этого легче не становится.

Большинство детей находятся.

Но бывают несчастные случаи. Бывают смерти.

Бывают ненайденные дети.

Каждый раз, выходя на поиск, я читаю про себя мантру: «Найдись, найдись живым и невредимым, вот-вот сейчас, вот в этом подъезде...»

Это тяжело.

Но что-то меня здесь держит. И это не геройство. – Аня, там подкрепление подъехало, Лика и Вадим. Так что, если тебе к дочке надо, ты поезжай домой. Я Маше отчитаюсь.

– Хорошо. Надеюсь, утром не будет повода увидеться.

– Надеюсь. – Оля приобняла меня и побежала встречать ребят.

Сегодня возвращаюсь ни с чем. А так хочется, как после работы: отключить телефон, и все, отдыхаем, радуемся жизни. Но пока поиск не завершен, Арина будет жить в моей голове и просить о помощи.

*До дома доехала, все в порядке.*

*20:08*

### Катя

– Мама, твой ход, проигрываешь!

Катя – особенная девочка. Конечно, так говорит каждая мама о своем ребенке. Но Катя не похожа на знакомых мне детей. И на меня не похожа. Упорная в занятиях, успешная, самостоятельная. Немного застенчивая с новыми людьми, но замкнутой ее не назовешь.

Я такой не была. Я капризничала, нервничала, замыкалась. У нас с мамой всегда были сложные отношения. Она хамски нарушала мои хрупкие личные границы, и я каждый день мечтала остаться одна.

«А что ты делаешь, а зачем, а кто, а почему?» – тошнит от этого. Ноль поддержки, максимум критики. «Подарок покупной? Могла и своими руками



– Ты готова, Ань?

Нет. Я совсем не готова! Прошла всего неделя с поисков Арины. Дело закрыто, но родители беспокоятся за отношения с дочкой.

Маша с Олей предложили мне попробовать себя в качестве наставника.

В фонде «Поиск пропавших детей» есть специальная программа реабилитации после побегов – «Наставник». С подростками и родителями общаются психологи, проводятся познавательные и развлекательные занятия. Она нужна, чтобы дети не сбегали повторно.

Мне всегда нравилось это направление, но самой выступать в роли наставника слишком ответственно! – Аня, хватит себя недооценивать! В реабилитации нужны люди. Ты и образование получила подходящее, и с людьми по-доброму общаешься, отзывчивая. Тебе надо попробовать! Маму зовут Елена Викторовна, отца – Андрей Михайлович. – Оля почти заталкивала меня в подъезд.

Черт возьми. Это все не обо мне! Я со своим желанием угодить совершенно не умею говорить нет. Ну какой из меня наставник? Ни дня практики не было, образование за уши притянуто.

С трясушимися коленями я поднялась на восьмой этаж. Позвонила в дверь и вздрогнула от резкого звука. Дверь открылась почти сразу.

– Анечка? Меня предупредила ваша старшая, что вы придете. Проходите, пожалуйста. На кухне будет удобно? Будете чай или кофе? – Передо мной стояла красивая темноволосая женщина, аккуратная, легкая, изящная.

– Дай человеку войти спокойно! Здравствуйте, Анна! – В коридор вышел отец Арины, протянул руку, словно деловому партнеру. Уверенный, серьезный.

Они оба выглядели настолько нормально, что я растерялась.

– Здравствуйте. Спасибо, я, наверное, откажусь от чая. У меня не очень много времени.

Мы прошли на кухню.

На меня нетерпеливо смотрели две пары воспаленных глаз.

Я вздохнула – как-то очень громко и резко.

И рассказала.

Рассказала о себе все, с самого начала. О детстве и юности. О том, какие моменты меня ломали. Как на всю жизнь запомнила фразу «А тебе-то зачем?»

Рассказала, как важно было слышать искренность в мамином голосе. Как хотелось узнать ее ближе. Как нужна была не фальшивая поддержка, а настоящая вера в меня.

Мы разговаривали долго. Об Арине, о том, как она чувствует себя сейчас. Пытались понять, что могло ее обидеть и чего ей не хватало.

Елена Викторовна оказалась чуткой мамой, немного тревожной – и оттого, возможно, опекала сильнее, чем надо. Андрей Михайлович, напротив, сдержанный и твердый, мог показаться ребенку холодным и бесчувственным.

И их Арина – чувствительная, эмоциональная, яркая девочка. Хочет стать актрисой. Мечтает о непонятных родителям приключениях.

И все.

Ничего такого, что могло бы вызывать серьезные опасения. Никаких пьющих родственников. Брошенных детей. Бедности. Разрухи.

Ничего, что не решалось бы разговором.

Просто подросток, которого перестали понимать мама и папа.

Как легко они потеряли эту дружбу, связь со своим ребенком. Не заметили, что Арина выросла и учится стоять на своем. Выбирать. Принимать решения. И сами не поняли, как попали в эту ситуацию.

Ближе к семи вечера за мной зашли Маша с Олей – пора было возвращаться домой.

– Елена Викторовна, Андрей Михайлович, если решитесь участвовать в программе реабилитации, свяжитесь со мной. Сможете пообщаться с психологом. Может быть, и наша Анна подключится! – Маша еле заметно подмигнула мне.

Мы тепло попрощались с родителями и двинулись к метро.

Навалилась усталость. У меня едва хватало сил переставлять ноги.

Я проспала всю дорогу до своей станции, как будто не ложились неделю.

Уже подходя к дому, прочитала сообщение:

*Маша:*

*Знаю, ты еще не определилась с участием в программе.*

*Но Арина осталась пока у тетки. Родители подумали и разрешили ей пожить отдельно. Говорят, что не хотят давить и постараются дальше сами разобраться. Так что с этой семьей пока отбой.*

*Ты сегодня отлично поработала.*

*19:46*

Как, Арина осталась? Я перечитала сообщение. Все так: они прислушались к своей дочери.

Оказывается, бывают и такие родители.





и там не правы. А у меня все по-другому, поэтому со мной такого не случится».

Но это самообман. Случиться может с каждым.

Намного проще жалеть себя и переносить на детей свой опыт, чем разглядеть их чувства.

Я спасала дочку от того, чего боялась сама, — навязчивости, наглости, неуважения, вмешательства. А она хотела тепла и близости. Искренности. Быть со мной рядом.

Намного проще быть хорошей для чужих, чем для близких. Уступать, приходить заранее, быть отзывчивой.

Этакая доброта из страха брать ответственность на себя.

Мне надо было о многом подумать.

Утром я позвонила маме, хотела поговорить. Но, наверное, не все родители готовы слышать. И не все дети готовы с этим мириться.

Поэтому она через неделю переезжает обратно, на другой конец города.

Осталось решить пару вопросов с волонтерством.

– Алло, Маша? – Я вздохнула. – Я не могу больше участвовать в поисках. Всю ночь думала. Ведь я не детей искала, а решала собственные проблемы с мамой, что-то ей доказывала. И, занимаясь этим, запустила отношения с дочкой. Сначала мне надо позаботиться о себе и своей семье. Позаботиться о том, чтобы сделать двух самых близких людей счастливыми. Дочку и саму себя.

– Хм. Вот это да. Хорошо, Ань, я тебя поняла. Но если передумаешь, мы тебе всегда рады! Возвращайся.

– Не буду обещать. Не уверена, что это мое. Но, знаешь, я тут купила себе литературные курсы. Я обязательно напишу рассказ о нашем поисковом отряде.

Обязательно напишу.

Ведь если я, взрослая, не сумела решить проблемы с мамой, то как сложно это дается подросткам?

Они всегда будут убегать. Даже из «благополучных» семей.

И родители должны знать, что так бывает и что есть люди, которые хотят и могут помочь.

Фонд «Поиск пропавших детей» в социальных сетях:

[https://vk.com/poisk\\_msk](https://vk.com/poisk_msk)

<https://www.instagram.com/poiskdetei/>

8 (800) 301-12-01

# СУДИЛИЩЕ



**СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ**  
Сергей Литвинов — мужская часть литературного дуэта «Анна и Сергей Литвиновы». Помимо совместной с сестрой творческой биографии, у Сергея Литвинова есть и собственная. Сергей работал журна-

листом в центральных изданиях, печатался в «Смене», «Хронодиле», «Студенческом меридиане», «Литературне». Автор трех книг рассказов и очерков: «Лавна забытых вещей» (2013), «Лавна забытых иллюзий» (2017)

и «Не только детектив» (2020). Ведет колонну, посвященную ТВ, в еженедельнике «Мир новостей». Рассказ «Судилище» входит в сборник «Смерть отменяется», который готовится к печати.

Меня вывели в большой зал, чем-то похожий на современный советский кинотеатр или большой дом культуры, вроде бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади. Хорошо еще, балкона с бельэтажем не было. Но зал весь оказался заполнен, до отказа. Ни одного свободного места. И это было, конечно, ужасно неудобно, потому что был я совершенно голым.

При моем появлении по залу прошел шумок, но никто, естественно, не зааплодировал — да я и не ждал никаких оваций.

Меня усадили прямо посреди сцены на колючий и неудобный стул. Его сиденье было из кожаменителя, поэтому прилипало к голой коже.

В зале вроде бы не было знакомых лиц. Сидевшие в первом ряду две девушки обменялись между собой усмешливыми замечаниями — возможно, по поводу моих скромных статей. У меня и впрямь все скукожилось, да еще и холодно было, из какой-то дыры все время поддувало. Я постарался усесться так, чтобы прикрыться, хотя бы ляжками, от посторонних взглядов. Кисти рук мне привязали кожаными ремешками к деревянным поручням кресла. Крайне неудобно, и морально, и физически, было так сидеть голеньким на виду у всего зала.

Откуда-то раздался голос, монотонный, тихий и усталый:

- Слушается дело номер двенадцать миллиардов сто двадцать три миллиона... Впрочем, порядковый номер является конфиденциальной информацией... В деле имеется эпизодов... Э-э, точное количество эпизодов также является закрытыми данными и может быть изменено, добавлено или исключено в ходе процесса. Итак, эпизод первый. Оскорбление действием, насилие. Нарушение статьи о почитании старших. Подсудимый в возрасте четырех с половиной лет третировал свою прабабушку, оставленную за ним присматривать, оскорблял ее и даже бил. Обладая ограниченной подвижностью, женщина не могла защититься и только молила о пощаде. Так продолжалось несколько часов, пока не пришли родители.
- Вызваны ли свидетели по делу? — прозвучал другой голос, низкий, глубокий — явно голос Главного.
- Прабабушка героя от показаний отказалась, ссылаясь на поправку, позволяющую не свидетельствовать против прямых родственников.  
«Бабушка, — растроганно подумал я. — Ты опять меня спасаешь».
- Тогда заслушаем подсудимого.
- Протестую! — На авансцену откуда-то вспрыгнул молодой человек, до чрезвычайности модно и импозантно одетый, в дорогом костюме и туфлях,

в эффектной галстучке и с платочком в наружном кармане.

Лицо его украшала небольшая стильная бородка. Внешне он напоминал актера Аль Пачино – но не нынешнего, восьмидесятилетнего, а молодого, времен «Крестного отца». Адвокат, сразу понял я. Он стал бурно выступать, прямо с места в карьер.

- Прошу вообще исключить эпизод из рассмотрения! Как справедливо разъяснялось специальным определением высокого суда, ни один подсудимый не несет ответственности за свои деяния до первого причастия, или – в случае, если он по каким-то причинам не принимал причастия, – до того возраста, когда в соответствующей конфессии его положено вкушать. В нашем случае это семь лет, и возраст подсудимого во время инкриминируемого ему деяния совершенно явно до него не дотягивает. Прошу исключить эпизод!
- Принимается! – раздался глубокий бархатный голос из выси. – Случай первый из рассмотрения дела исключается.

Адвокат удовлетворенно, сценически развел руками и подмигнул мне: мол, смотри, каков я! Держись меня, приятель, и мы их всех разнесем!

Снова зазвучал первый, невидимый торопливый и равнодушный голос – судя по всему, секретаря:

- Слушается эпизод номер два. В возрасте одиннадцати лет подсудимый толкнул девочку, сидевшую на перилах беседки. Девочка упала с большой высоты и сломала руку: двойной перелом лучевой кости со смещением. Статья о насилии, закончившемся членовредительством. Подсудимая присутствует в зале?
- Да! – На авансцену к небольшой трибунке вышла женщина, которую я совершенно не помнил: уже совсем не девочка и даже далеко не молодая, с бесконечно усталым лицом.
- Опишите, пожалуйста, ситуацию и меру своих страданий, – спросил ее откуда-то сверху глас секретаря.
- Было очень неожиданно и больно, – пожаловалась женщина, поглаживая руку. – Вдруг я лечу на асфальт с большой высоты. Потом я долго лечилась. А этот, – она кивнула на меня, – все твердил, что сделал все нечаянно. Хотя это явное вранье.
- Вы простили подсудимого?
- Н-не знаю. Не думаю, что простила. Вряд ли простила.
- Подсудимый! Что вы можете сказать в свое оправдание?

Ко мне быстренько подбежал адвокат и скоро зашептал: «Соврите им что-нибудь. Обычно хорошо

идет про любовь. Любовь для них вообще – ключевое слово, они от него млеют. Скажите, что у вас к этой девочке зарождалось тогда первое, трепетное чувство и вы таким образом хотели к себе ее внимание привлечь. Только с сексуальной составляющей не переборщите, всего в меру».

Он отскочил, и я понял, что весь огромный зал теперь смотрит на меня и ждет моего слова.

- Я виноват, – пробормотал я. – Я просто был молодой дурак и ни о чем не думал. Прости меня, Ира, – откуда-то вспомнилось прочно забытое имя девочки, и слезы непроизвольно потекли по моему лицу.

Свидетельница со своего места посмотрела на меня с жалостью.

- Итак, мы видим, – тут же вклинился бойкий адвокат, – что происшедшее можно трактовать как простую случайность, полное отсутствие злого умысла, а такие эпизоды, по определению высокого суда, из рассмотрения исключаются.
- Ты прощаешь его, Ира? – раздался громовой и бархатный голос сверху, и в зале вдруг зазвучала тревожно-бравурная музыка, словно в телевизионной судебной передаче-реконструкции.
- Да, – тихонько произнесла она.
- Громче, пожалуйста!
- Да, прощаю.

Снова бравурный аккорд. В зале кое-кто зааплодировал.

- Ввиду прощения потерпевшей данный эпизод из дела предлагается исключить, – прокомментировал невидимый секретарь.

После раздумчивой паузы, во время которой опять слышалась волнующая, тревожная химическая музыка, вдруг прогудел сверху голос судии:

- Эпизод исключается.

Ко мне подскочил адвокат и потрепал меня по голому плечу.

- Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо идем! Они уже по двум эпизодам обломались.
- Эпизод третий. – Секретарь не унимался. – Неоднократная, в цинической и особо цинической форме хула на Господа нашего. Неоднократное произнесение имени его всуе. Рассказывание неприглядных и непроизносимых анекдотов, то есть злостное и неоднократное нарушение заповедей первой и третьей. Ввиду многократности вины, а также ее распределенности во времени и пространстве и отсутствия прямых пострадавших предлагается свидетелей по каждому из данных эпизодов не вызывать. Если подсудимый будет отрицать, перейдем к конкретному рас-

- смотрению каждого эпизода и соответствующим доказательствам.
- Принимается, – прозвучал глубокий и бархатный голос.
  - Слово адвокату.
  - Защитник поклонился публике.
  - Я неоднократно заявлял с этой трибуны, что за прижизненные преступления следует судить по законам той эпохи, времени и общества, в которой гражданин проживал. Никто не виноват, и менее всего сам подсудимый, что выдалось ему жить и расти в атеистическое время, в атеистическом государстве. Всяческое уважение к так называемому божественному промыслу в живших там и тогда гражданах искоренялось на уровне обычаев, обрядов, общей культуры. Вы посмотрите хотя бы некоторые эпизоды тех кинофильмов, на которых рос и воспитывался мой подзащитный. Взять, к примеру, киноленту «Бриллиантовая рука» и тот момент, когда герой Андрея Миронова пародирует под звуки церковного хора евангельское как бы чудо с хождением по водам. Или киноленту того же режиссера под названием «Двенадцать стульев» и острокомедийный образ священника, отца Федора. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек, воспитываясь в обществе безбожников, и вырос таковым – безбожным. И первую вашу с третьей заповеди – да, нарушал! Но судить его за это – безнравственно!
  - Речь стряпчего имела успех. В зале одобрительно загудели, а кое-кто даже захлопал. Чувствовалось, эта тема близка зрителям, находит в них живейший отклик.
  - К чести моего подзащитного, следует заметить, что с течением времени он сумел осознать свои юношеские ошибки и заблуждения, преодолеть их и совершенно перестать грешить против заповедей первой и третьей, а именно, соответственно: почитай Господа и не поминай Его имени всуе.
  - Ваши аргументы рассматриваются. – Пауза. – Эпизоды из дела снимаются, – прозвучал с небес все тот же глубокий голос Главного.
  - Мой присяжный поверенный сделал победительный жест – как волейболист, забивший важное очко, – потряс кулаком.
  - Три ноль в нашу пользу, – шепнул он мне.
  - Меж тем сидеть мне становилось все более и более неудобно. Откуда-то все дуло и дуло холодом, спинка врезалась в кожу, привязанные руки мешали почесаться. А главное, ужасно было чувствовать себя голеньким на глазах у всех.
  - Эпизод четвертый, – проговорил невидимый секретарь. – В возрасте четырнадцати лет подсудимый украл у своего одноклассника книгу из серии «Библиотека фантастики», том седьмой. В дальнейшемотяготил ситуацию враньем. Выдрал из книги содержимое, оставил себе, а в обложку «Библиотеки фантастики» вставил книгу Аркадия Первенцева «Честь смолоду» и в таком виде вернул товарищу. Будучи разоблаченным, юлил, вилял. Пытался свалить вину на своего лучшего друга.
  - В зале загудели. Начиналось, как зрителям показалось, нечто интересное. Хоть какая-то движуха, конфликт – а то скучота: непристойные разговоры да сломанная рука. Мне же было дико стыдно, и я изнутри будто покрывался невидимой, красной и жгущей корочкой.
  - Заслушаем потерпевшего, – произнес секретарь.
  - На кафедру взшел господинчик, на вид мне совершенно не знакомый. Однако повадки его, жесты, строй речи чем-то мучительно напоминали все-таки того самого парня, у которого я в восьмом классе увел книжку. Я даже помнил его фамилию: Капцов, Паша Капцов.
  - Чего я хочу вам сказать, дорогие товарищи присяжные, – гнида он. Такая, понимаешь, интеллигенция, элита. Думал, мы тут все чушки, лошки, что книжки не читаем, даже не открываем. Первенцева от Стругацких отличить не можем. Подонки он, и нет от меня ему прощения, гореть ему в аду. Тьфу! – Свидетель натурально плюнул в мою сторону и сошел с кафедры. Зал зашумел – кто одобрительно, кто негодуяше.
  - Однако в этом эпизоде есть и еще одна пострадавшая сторона, – интригующим голосом телеведущего проговорил невидимый голос секретаря-распорядителя. – А именно лучший друг нашего подсудимого!
  - И тогда на кафедру взшел мой лучший кореш – конечно, я бы его без специального представления не узнал: другое тело, лицо, прическа. Но когда сказали, что он – это он, я все больше и больше стал узнавать его. Боже мой, Ванька. Слезы хлынули у меня из глаз.
  - Скажите, свидетель, – спросил ведущий, – а вы простили подсудимого? Прощаете его сейчас?
  - О чем вы говорите! – отрезал мой дружок. – Конечно! Ну, конечно же, прощаю! – И сделал мне жест: мол, держись, дорогой, я с тобой. И сошел с кафедры.
  - А я так рад был увидеть его, что приободрился, и вся неопределенность суда стала меня меньше

мучить. Я плакал от стыда и радости и не мог даже никак стереть слез, и они засыхали на щеках, превращаясь в соленые дорожки.

– Слово адвокату, – напомнил секретарь.  
– О чем мы вообще тут говорим! – развел руками мой защитник. – Книжка! Подумаешь, книжка! Да уж, сильно пострадала земля наша русская и небо наше от половцев и печенегов – и вот теперь книжка! Плюнуть на нее! Плюнуть, как справедливо заявлял первый пострадавший. Но не в обвиняемого! А в это дело! Плюнуть и забыть!

Он поклонился и отошел под гром оваций. Все-таки мой стряпчий явно был среди здешней публики любимчиком. Он обернулся ко мне и вполголоса посоветовал:

– Кайся, но не пересаливай. Держись моей линии: подумаешь, книжка – тьфу!

Но я произнес:

– Дорогие друзья, мне очень стыдно. И я очень, очень перед вами раскаиваюсь. Простите мне, пожалуйста!

Гримаска злобы прошла по лицу присяжного поверенного, он шепнул:

– Слишком, слишком, не пересаливай, совсем ниц-то не падай, гордость тоже ведь надо иметь, чересчур униженных тут не любят.

Секретарь пояснил:

– Суд удаляется на совещание.

И опять – тревожная, химическая музыка из второразрядного телешоу, а потом, наконец, бархатный голос Главного провозгласил:

– Учитывая непростительное подсудимого одним из потерпевших, обвиняемый признается частично виновным.

Секретарь подхватил:

– Объявляется перерыв.

Зрители стали потихонечку подниматься со своих мест, прогуливаться в проходах. Кивать друг другу, приветствовать знакомых. Меня никто не освободил, и мне ничего не оставалось, как сидеть привязанным.

– Видишь, дружище, – бросился ко мне адвокат. – Из четырех эпизодов три с половиной отбили, всего половинку тебе вменили, из-за того жлоба. Давай я слезки тебе утру, а то ведь чешется, поди. Ты не кручинься. Первый день, я считаю, прошел неплохо. Но мы ведь только в самом начале. Мелочовка пока сплошная, только до пубертатного периода добрались, до четырнадцати твоих лет. Какие там грехи! Дальше, конечно, пойдет поинтересней. Особенно когда нарушение седьмой заповеди. О, у нас тут пыль столбом обычно стоит.

Чистый Колизей! Бывает, жены в лица любовницам и девкам всяким вцепляются. Публика это любит.  
– А что потом-то? В итоге всего процесса? – напряженно спросил я его. – Какой результат? Котлы кипящие? Сковороды огненные?  
– Ой, да какие котлы! Вот так посидеть здесь, на виду, – это ведь уже само по себе наказание. А ведь иные так и год сидят, и три, и десять лет. Времени-то у нас у всех впереди – целая вечность. Поэтому не печалься: я теперь вместе с тобой надолго. – И он снова мило улыбнулся своей обворожительной улыбкой: – Как говорит-ся, добро пожаловать в ад, дружище!







| Юность №11  
| Ноябрь 2021

# НЕФОРМАТ

«...Больше ваших книг я читать не буду. Потому что такую вещь вы уже никогда не напишете. Лучше такой книги написать невозможно. Так что, извините...»

Что чувствует автор, слыша такие слова читателя о своей работе? Именно то, что чувствовал Анатолий Гладилин на встрече с публикой, где обсуждают его «Хронику времен Виктора Подгурского». То есть – счастье.

Шестьдесят пять лет назад – в девятом номере «Юности» за 1956 год – выходит эта повесть.

И «взрывает литературную гладь». А с ней – представления о том, *о чем* и, главное, *как* теперь можно писать. «Хронику» считают первым текстом волны 60-х и образцом исповедальной прозы.

О том, как родился этот знаковый текст, знаменующий рождение нового советского литературного поколения и сделавший автора одним из его ярких лидеров, – в главе новой книги Дмитрия Петрова «Соло для судьбы с оркестром» – биографии Анатолия Гладилина. Журнальная версия. Публикуется впервые.

# БОТИНКИ ВИКТОРА ПОДГУРСКОГО



—  
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ  
Писатель, публицист. Автор  
двух биографий Василия  
Ансенова, биографии Джона  
Ф. Кеннеди, книги «Афганские  
звезды», биографических  
статей и лекций о ярких

—  
представителях русской  
интеллектуальной эмиграции  
первой и третьей волны.  
Сейчас его новая работа —  
биография прозаика  
Анатолия Гладилина — гото-  
вится к печати.

1.

«Ветки деревьев отчаянно заметались, спаса-  
ясь от крутых порывов ветра, но постепенно шум  
листвы был заглушен нарастающим гулом падающей  
воды, который заполнил всю улицу...»

Так оно было на Тверском бульваре, куда юный  
студент Литинститута Толя Гладилин вышел после  
семинара, где его признали бездарью и предложили  
отчислить.

Так оно и есть во втором абзаце его повести  
«Хроника времен Виктора Подгурского».

Повесть эта меняет Толину жизнь. Но не только.  
Она меняет литературу. Перемену, как это нередко  
бывает, не все замечают сразу. Но люди чуткие чув-  
ствуют ее уже после десятка прочитанных страниц.

«Он взорвал литературную гладь, — рассказыва-  
ет мне у себя на даче в Павловской слободе хорошо  
знавший Гладилина прозаик Александр Кабаков. —  
Я отлично помню, как открыл тот номер “Юности”.  
Увидел фото писаного красавца с чубом. И стал  
читать очень странный текст, наполненный стран-  
ным гриновским ароматом и увенчанный странным  
названием. Все в нем было странно нам тогдашним.  
И прежде всего — твердое и внятное сообщение:  
писать *можно и так тоже*. Не как Федин и Фадеев,  
не как записные авторы “Молодой гвардии”, не как  
журналисты-завсегдатаи очередных великих стро-

ек коммунизма, а как этот парень, рассказывающий  
свою человеческую историю. Не фрондерскую. Не  
рискованную. А — *человеческую*.

Что удивило? Мы ждали таких историй. И вот  
одна из них появилась в “Юности”.

Я ее прочел в один присест. Она ведь короткая.  
И сразу начал снова. И вдруг понял: автор-то лишь  
чуть-чуть, может, на пару лет старше меня\*. Но он —  
звезда. Настоящая. непохожая ни на какую. Глади-  
лин — отдельный.

Для нас, мальчишек и девчонок следующего поко-  
ления, это сигнал: как тогда говорили в марьино-  
рошинских и сокольнических дворах: не бэ, ребята!  
Не бэ! Прорвемся!

При всей нарочитой интеллигентности описан-  
ной им среды, как бы отдельно живущей от тогда-  
шней Москвы. А о Москве там сказано так, что, за-  
крыв журнал, я несколько раз повторил про себя:  
да-да-да, значит, и вот так можно писать — *как хо-  
чется*...

Это “как хочется”, а не “как положено” — звучало  
небывало. Ведь нас учили, что говорят — *так*, а пи-  
шут — *эдак*. Одинаково — нельзя. А Гладилин показал,  
что можно.

\* Гладилин родился в 1935-м, а Кабаков — в 1943 году. То есть  
разница в возрасте у них — восемь лет. Но, видимо, прочитанное  
было так близко литературному юноше, что автор показался ему  
почти ровесником.

Автор и его герой – свободные люди, вот что я чувствовал, читая “Хронику”. При всей тогдашней несвободе это первый свободно пишущий человек и первый свободный герой, встреченные мною. То есть явление несравненно более важное, чем новое литературное имя, – новая жизнь. И уже упомянутое мной “оказывается, и так можно” – я сразу это почувствовал – относится не только к тексту, но и к автору. Или – к авторам. Ведь не он же один может так писать. Идут новые люди, новая волна. Так бывает у моря: прилив – ерунда, а с течением, идущим в большую воду, бороться сложно.

Но это была не только волна, пришедшая из культурных глубин, а поток, бьющий в берега. Может быть, нечто такое было в 20-х. Может, во фронтовой прозе первых послевоенных лет. Но для меня – мальчика, считавшего литературу своей жизнью, “Хроника времен Виктора Подгурского” стала открытием. Прорвала дамбу штампованных образов и слов и открыла путь волне исповедальной прозы».

## 2.

Подумать только! Исповедальная проза! Ведь все вокруг, включая девчонок-мальчишек, привыкли: в нашей советской жизни такой практики, как исповедь, нет. И быть не может. А если может, то, как Кабаков говорит позднее, «только коллективная – на комсомольском собрании». Где исповедь всегда встречает отповедь. А эта встретила всесоюзную славу.

«Что означали для нас слова “исповедальная проза”? То, что вы можете говорить с автором не просто тет-а-тет, а намного глубже. Как ни с кем еще. А он – с вами». И в этом Кабаков прав. Хотя тогда Гладилин не мог еще даже пытаться полностью вырваться из множества гнетущих его норм, форм, правил, мифов и условностей.

Но это прекрасно чувствует редактор отдела прозы журнала «Юность» Мэри Озерова – жена Виталия Озерова, ректора Литинститута, где тогда учится Толя, где коллеги объявляют его бесталанным и откуда он слегка не в себе выходит на бульвар.

А там – редкие прохожие. Редкие машины. Редкие голуби и воробьи. В длинной аллее – покой. Листва будто нарисована: ни движения, ни шороха. Но внезапно все вокруг вскипает и темнеет. И начавший было капать дождик превращается в библейский потоп.

Слава богу, от Тверского до его дома в Антильевском переулке – рукой подать. И хотя домой Толя вбегает мокрый как мышь и в растрепанных

чувствах, он крайне сосредоточен, и прямо так – не скинув ни плащ, ни обувь, – записывает слова, невесть откуда пришедшие в голову, те, что он все повторял в пути: «Ветер гнал обрывки... Пыль с бульвара... Как-то сразу... Черные точки... Прохожие съезжились и кинулись...»

А он – не ежился. И не кидался. А шагал, поднявши ворот, руки в карманах, развернув плечи, глядя в небесную воду чуть щурясь, по шиколотку в ручье, под холодом струй, и выдумывал новые фразы: «По лицу его текли капли. Он был без шапки...»

– Толя, сними ботинки.

– Что?

– Слышишь? Немедленно сними ботинки!

Он не сразу понимает, что велит ему мать. Сидит за столом и пишет в тетрадке то, что продумал в пути. Но тут замечает: у него под ногами и под столом – огромная лужа.

– Да ты же весь мокрый! С ума сошел? А ну быстро!..

Приходится скинуть и отжать синий плащ, синий свитер, брюки, рубашку, носки. Сменить трусы. Повесить все на веревки. Скомкать и напихать в обувь газеты. В одной, кажется, в «Труде» – фото с подписью: «Студенты-второкурсники Московского авиационно-технологического института (МАТИ) на подшефном предприятии». Толя, безжалостно превратив ее в тугой бумажный ком, зло и плотно вбивает его в ботинок.

Он старый, весь в трещинах, от воды почти чугунный.

– Поставь их на задники, – просит мама, – подстели тряпку. Чтоб на пол не текло. А просохнут – почисти. Тебе их все лето носить. А там – поглядим.

Хорошо. Поглядим. Но дело не в этом. Дело в словах.

## 3.

Они живут в его уме. И постоянно, неостановимо рождаются новые. И слагаются фразы. Так что все, что он делает, исполняя мамины команды, скользит по краю сознания. Он занят. Он пишет.

Разгромный семинар становится событием из тех, что психологи ряда школ именуют *пиковым* или *вершинным опытом*. Такой опыт бросает человеку вызов и порой независимо от его воли вышибает из рутины и бросает в жизненный прорыв. В нашем случае – в литературу.

Гладилин пишет два месяца. Не ставя особых литературных задач. Едва ли он вообще ставит задачи, кроме одной – дописать рассказ. Потом, ощутив, что все, что рождается, в рассказ не помещается, –

дописать повесть. Понимает ли он – про что именно? И почему – так? И зачем именно этот язык – язык дома, двора, школы, улицы? Ему понадобятся годы и опыт, чтобы отрефлексировать и описать то свое состояние и настроение – подспудное желание поведать, как на самом деле живут стремительно взрослеющие подростки, окончившие школу, ищущие любовь и желающие стать собой. В его голове не великие стройки, не броские лозунги и не геройские клятвы. Ему омерзительны лживые образы счастливых сверстников, идущих с песней из киножурнала в художественный фильм. Глядя на них, он хочет стрелять в экран из пулемета. Ему кажется, напишет он после, что, конечно, не в людей стрелять, а в экран. Тогда он еще не знает, что разница не так уж и велика...

Но пулемета нет. А есть бумага, чернила, деревянная ручка и перо №11.

И вот – текст готов. Что с ним делать?

Маша\* говорит: «Знаешь что, дай моему папе. Может, он что-нибудь посоветует».

Яков Моисеевич читает и говорит:

– Это – хорошо. Это – литература. Вы, Толя, меня удивили. Оказывается, вы можете не только портвейн с шампанским смешивать. Знаете, по моим ощущениям это может пойти. То есть именно сейчас именно такой текст могут напечатать. Его надо немедленно нести...

– Куда?

– К Катаеву. В «Юность», конечно.

И впрямь, куда ж еще? Ведь это «Юность» поднимает самумы и торнадо в молодой читательской среде. Это в «Юности», как много лет спустя заметит Ирина Каспэ, юные и не очень авторы вновь и вновь ставят вопрос о смысле жизни вот прямо здесь и сейчас, который так важен для Гладилина.

Редакция близко. Сперва по переулку, потом по Гоголевскому до Арбатской площади. Там – налево. Дальше – по улице Воровского\*\*. И вы там.

Так «Хроника» попадает в отдел прозы к Мэри Озеровой. И она ее читает. А не кладет под стопку рукописей, как порой поступали в журналах с текстами двадцатилетних авторов, – Гладилину как раз двадцать. Читает и говорит: «Наверное, будем печатать, но надо, конечно, работать, надо редактировать».

Тот, у кого когда-нибудь принимали рукописи, знает это счастье – заветные, сладостные слова

«наверное, будем печатать» и «надо, конечно, работать». Значат они не слишком много. Но – бесконечно больше, чем «обратитесь в другое издание».

Все, что говорил мне Гладилин о Марии Лазаревне Озеровой – не пересказать. Лучше прочтите его «попытку мемуаров» – «Улицу генералов»\*\*\*. Там ясно видна его глубокая признательность своему первому редактору, что сродни той, что он испытал к учителю, читавшему классу его хулиганское сочинение с оценкой пять с минусом.

#### 4.

Авторское нетерпение – страшная вещь. Особенно когда речь идет о первой публикации. Да еще – целой повести. Да еще – в ведущем молодежном журнале страны.

Меж тем «Хроника», собирая отзывы, движется в «Юности» своим чередом – из отдела в отдел. Почти незримо. И неведомо куда. Толя верит, что в печать. И потому что ни день – чтоб не пропустить радостный миг – заходит в редакцию.

А там поговаривают о спецвыпуске журнала. Вроде бы поэт Валентин Берестов предложил собрать особый номер, составленный из текстов совсем молодых авторов. Туда и попадет «Хроника». И, конечно, станет «гвоздем» – надеется Толя.

Уже и до макета доходит. Но... ничего не выходит. «Наверху» говорят: «Зачем нам этот детский сад?» И «юную «Юность»» рассыпают. Но «Хроника» остается в портфеле редакции, и Озерова терпеливо ждет ее часа.

И он настает. Спустя год после получения рукописи Мэри кладет ее перед главным редактором Валентином Катаевым. И поясняет: ее прочла вся редакция, утвердили все редколлегии и все рекомендуют.

Тем временем в журнале к Толе привыкают – ну бродит тут этот парень, аккуратный, вежливый. Вроде рассказ его должен пойти или повесть... И пусть бродит, не мешает же никому. А он все спрашивает: какие новости? И не зря! Потому что Мэри однажды говорит: «Повесть прочла дочь Катаева Женья и сказала: «Папа, это надо печатать, это гениальная вещь». Теперь Катаев будет читать».

Тут важно пометить: в семье Валентина Петровича все устроено не как у мистера Твистера, где «все чего требует дочка, должно быть исполнено – точка». У Катаевых – хоть дочка требует, хоть жена – никаких точек. Одни многоточия...

\* Мария Яковлевна Тайц – жена Анатолия Гладилина, дочь писателя Якова Тайца.

\*\* Так с 1923 по 1993 год называлась Поварская улица.

\*\*\* Вагриус, 2008.



Но однажды Толя входит в редакцию и видит: что-то изменилось. И это касается его – «все высунулись из кабинетов и провожают взглядами». Нет, конечно, все на своих местах, но ощущение такое. Он продолжает путь, доходит до стола Мэри, и та говорит: «Катаев сказал, что под конец даже всплакнул. Ну... с юмором... сказал, что даже вытер слезы. Сказал, что прекрасная вещь. И пойдет в 9-м номере».

Эта новость, новость как, вмиг облетает Литературный институт. И ставит Толю в центр внимания. Потому что – приняли! Приняли текст в журнал. Потрясающе! И вот он там ждет сентября 1956-го. А мы хотели автора отчислить за бездарность. Стоп-стоп-стоп, товарищи! В Союзе писателей толкуют о работе с молодежью. Корят редакторов: мол, где она в литературе? А Катаев – бац, заявляет: «А мы будем печатать молодого автора, которому всего двадцать лет!» У всех – глаза на лоб, а Валентин Петрович на коне.

– А вы, Толя, в командировочку съездить не желаете? – спрашивает Мэри.  
– Само собой! Конечно! Еду!

И едет. На Алтай. Там комсомольская стройка – Западно-Сибирский комбинат. Гостя из важного журнала везут по Чуйскому тракту до самой Монголии. А по пути домой он заезжает в Челябинск. Там на тракторном заводе проходит практику его жена Маша. Толя идет прямо в цех. И ведет ее оттуда в гостиницу...

А повесть... Она выходит: через несколько дней после дня рождения – ему исполняется двадцать один. Тираж – 150 000 экземпляров. Знакомьтесь: писатель Гладилин.

## 5.

На следующий день он просыпается знаменитым. Точнее, не так. Дня через два. Надо же стране прочесть текст-то...

И тут – начинается.

Скажем прямо: того официально-публичного резонанса, как его следующие вещи, как «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова или «Коллеги» Аксенова, «Хроника» не вызывает. Ее сдержанно-положительно рецензируют «Московский комсомолец» и «Комсомолка». Зато, как сказали бы сейчас, обратная связь с читателями достигает буйного размаха.

О Толином состоянии и настроении, ощущениях и переживаниях в те дни лучше всего говорит его письмо Маше в Вильнюс, где она навещает родствен-

ников: «Вчера вышел номер. Видел его у Наташки. Весь их дом сбился с ног – ищут журнал. Панику раздувает Вовка Яснев. Говорит: наш парень [написал] о наших ребятах.

У Лидии Васильевны (матери Олега) я вдруг стал ангелом. Правда, вспоминается, что я был хулиганом и писал Олегу\* нецензурные письма. И многое еще другое. Все в таком роде. <...>

Сегодня был в редакции. Говорят, уже успех у школьников. В частности – 29-й школы. Было много звонков в редакцию. Какой-то туз звонил мне в институт и просил, чтобы я поговорил с его сыном.

Очень неприятное положение. Неудобно отказываться. И, в то же время, я на позиции сына. Очевидно, так и не приду. Мама уже не подпускает меня к телефону. Подходит сама... А там сразу бросают трубку.

Все это – страницы жизни. Завтра скажу [в редакции], чтобы не давали мой домашний телефон. Хотя, по-моему, они уже и так догадались».

А ведь ему еще и пишут. И в журнал, и в институт.

Министр культуры Николай Михайлов, Рина Зеленая, Фаина Раневская... Толе их письма читать не дают. Чтоб не зазнался. Впрочем, в метро он замечает: у двух-трех человек в вагоне 9-й номер «Юности». А Маша шепчет: «В библиотеке читает ползала».

В холле института стол для почты завален письмами Гладилину. И на собрании вдруг кто-то замечает: «Знаете, есть студент, которому пишут больше, чем всем нам вместе взятым?»

Знают. И говорят: теперь ты, Толя, в творческой бригаде. Будешь выступать.

– Зачем?  
– То есть как – зачем? За это платят!  
– Сколько?  
– Пятнашку.

Толина стипендия имени Шишкова – 40 рублей. Гонорар за «Хронику» быстро разлетается. Ему платят по низшей ставке – вдвое меньше, чем всем. Опять же – чтоб не зазнался. Воспитывают. И он соглашается – в бригаде, так в бригаде.

И вот едет бригада в студенческий клуб. Все писатели на сцену, а Гладилин в зал. Дескать, пригласят – выйду. Сидит, глядит – все как всегда: со сцены говорят, в зале слушают. Сейчас бы слали эсэмэски, читали бы ватсап, а в глубине играли б в игры, а тогда – у кого журнал на коленях, у кого кроссворд в «Комсомольце».

И тут объявляют: «А теперь выступит молодой писатель Анатолий Гладилин, автор...» Не успева-

\* Наташка, Вовка Яснев, Олег – школьные приятели Гладилина.

ют даже сказать – зал бьет в ладоши. Уж насколько Толя бойкий, даже самоуверенный, но такой прием смутит любого. Смутил и его. Сейчас бы сказали – чувак поплыл. Каждый, кто переживал успех, понимает, о чем я.

Он выходит не сразу. Но выходит. И овация продолжается. В ответ на каждую его фразу – аплодисменты и приветственные клики.

Дальше – больше. Новые приглашения. Бурный прием. Горящие глаза. Разговоры в курилках, девочки – невзначай прижимаются кто бедром, кто грудью. Машут ресницами: Толя, вы такой обаятельный.

А он и впрямь – парень хоть куда. Нет еще знаменитой челки, есть залихватский кудрявый чуб. И огромная, неукротимая радость: я – писатель! – управляющая поведением и подсказывающая слова.

Внезапно он обнаруживает – ему нравится выступать. И еще примерно с год он с удовольствием ходит на такие встречи, отрабатывает слог, учится угадывать настроение и реакцию зала. А ее поди – угадай.

Ведь как бывает: все идет как идет, и тут откуда ни возьмись – насуспенный, вихрастый, серьезный молодой человек. Ты думаешь: вот он – верный читатель моих будущих книг, умный, надежный поклонник. А он: «Знаете что? Обидно, но я больше ваших книг читать не буду, потому что такую вещь, как “Хроника”, вы уже никогда не напишете. Лучше такой книги написать невозможно. Так что, извините...»

Это – что? Это – вызов.

То есть новый автор является публике, а автору – новый читатель. Он неожидан и востер. Со своим мнением. Он ходит на встречи, звонит, пишет письма. А автор их читает и на многие отвечает. И кладет в большой мешок. Видит в них реликвии – знаки успеха. И хранит долго – до середины 70-х... До начала следующей жизни.

А пока на вызов надо отвечать. И ответить можно только новым текстом.

Его нужно писать. Пока первый еще гремит.

## 6.

Здесь уместна старая добрая англо-американская идиома: *if you were in my shoes* – «если бы ты был на моем месте» или дословно: «если бы ты был в моих ботинках». Сложно сказать, везение это или нет: умудриться написать повесть так, что читатель мигом непроизвольно надевает ботинки твоего героя. Иными словами – путает, склеивает Гладиллина и Подгурского, при этом узнавая в них себя.

И соседа по парте. И приятеля с третьего этажа. И парня из секции бокса.

Образ юноши Подгурского сольется с образом его автора в восприятии не только множества разных – серьезных и романтических, глубоких и поверхностных – читателей, но и людей заведомо деловых – издателей. Вот какое письмо на солидном бланке от 24 июля 2000 года – то есть больше, чем через полвека после выхода повести, – получит Анатолий Тихонович: «...в серии “Пушкинская библиотека” подготовлен к изданию сборник рассказов и повестей “Русская проза второй половины XX века”, в который предполагается включить повесть “Хроника времен Виктора Гладиллина”. Прилагаем договор».

Это не шутка. Это письмо я держу в руках. И понимаю, где корни огреха.

Примерно тогда же на вопрос корреспондента «Известий» в Париже Юрия Коваленко: «Вам было 20 лет. “Крыша” от популярности не поехала?» Гладиллин ответил: «Как ни странно, нет. Сегодня мне жаль, что я не воспользовался как следует этой популярностью. Мне тогда говорили, что первую книгу, дескать, каждый дурак может написать, а вот попробуй сочинить следующую».

Как раз она у меня никак не шла. И вместо того, чтобы наслаждаться обществом девушек, я не спал ночи, работал... Это была “Бригантина поднимает паруса”, оказавшаяся не столь удачной. Но именно она имела наибольший официальный успех – печаталась во всех молодежных газетах, начиная с “Комсомольской правды”».

Но вернемся к беседе с Кабаковым: «Литературная гладь не так спокойна, как прежде. Является Гладиллин. В 50-х он – весь раньше других. И уже, что называется, влиятельный автор. Он формирует поколение исповедальной прозы – поколение людей, родившихся между 1930 и 1935 годами. Их имена известны. А он их лидер».

Гладиллин – странное явление в литературе. Так бывает – казалось бы, написано много, а литературную судьбу делает одна книга. А после оказывается, что эта главная книга – не лучшая. И то, что сделало твою судьбу, отнюдь не сделало твой уровень. Чем дальше, тем Гладиллин пишет энергичней. Вспомним “Дым в глаза” – отличный текст. И еще много других. Но “Хроника” перебивает все».

И впрямь, не так уж часто качество книги совпадает с ее ролью в судьбе автора. Может быть, кто-то и хотел бы, чтоб «Хроника» была лучше написана. Но как написана, так написана. Для тех

времен очень стройно. Все в ней на месте. Скажем, этот романс:

*Листья осыпятся в саду.  
По привычке к вам я забреду.  
И как много лет назад,  
уведу вас в листопад –  
в тихо осыпающийся сад.*

А вот что пишет еще один друг Гладилина, а значит, и Подгурского, – Василий Аксенов: «Передо мной в тиши Библиотеки американского Конгресса появляется не просто молодое, но почти детское, мальчишеское лицо моего старого друга. Повесть “Хроника времен Виктора Подгурского”, автору Анатолию Гладилину не исполнилось еще и двадцати одного года. Золотистые и довольно густые кудри венчают его чело. <...>

Нерадивый и легкомысленный студентик... он в одночасье стал первым знаменитейшим писателем нашего поколения. Такого в советской литературе не случалось уже несколько десятилетий, с тех пор как “золотые двадцатые” сменились “чугунными тридцатыми”.

В Литературном институте Гладилина учили тому, как не стать знаменитым писателем 1956 года. Уроки впрок не пошли, и он им стал.

Открываю наугад “Хронику времен Виктора Подгурского”. Герой-мальчик идет с героиней-девочкой по Гоголевскому бульвару. Вот лужа. Спорим, перепрыгну?

Никогда не перепрыгнешь, говорит героиня. Он перепрыгивает лужу. Она смотрит на него. Какая замечательная девушка.

Потрясенные молодые читатели смотрят друг на друга – да ведь это же мы сами, такие же, как Виктор, юные и безденежные московские бродяги, провалившиеся в институт и влюбленные. Влюбленный неудачник впервые потеснил плечом розовощеких роботов комсомольского энтузиазма...»

Так Василий Аксенов вспоминает их общую юность – то есть журнал «Юность». А вместе с ним – эпоху и среду, где, как замечает Михаил Рожанский, «подданнические отношения человека с режимом» вступают в конфликт с его «нацеленностью на социальную инициативу»\*.

Тут в текст просится история этого уникального журнала, роль которого в становлении нескольких поколений советских людей, как тогда

говорили, трудно переоценить. Но об этом удивительном эксперименте написали уже столько, и в том числе его яркие участники, что мне – его многолетнему наблюдателю-читателю – добавлять свою горсть слов неловко. Скажу лишь, что через «Юность» прошли все, кого вскоре назовут шестидесятниками. Да, собственно, и назовет их так этот журнал\*\*.

И первым из них станет Анатолий Гладилин с его «Хроникой».

## 7.

В одном из писем ко мне вдова писателя Мария Яковлевна объясняет: «Все, что написано в повести, было на самом деле. И полностью соответствует действительности. Вплоть до записок или писем к героине или ее рассказов об институте.

Она – это я. Конечно, у Толи могла бы быть другая девушка и другая любовь. Но тогда это была бы другая книжка.

Единственное, что он придумал, – это последнюю фразу, так как когда повесть вышла в “Юности”, он уже полтора года был счастливо женат на героине этой книги.

И ему предстояло стать большим писателем. И он им стал».

И не только писателем, а предвестником новой волны. Вскоре в московских журналах выйдут отличные рассказы Юрия Казакова, а в середине 1957-го в «Юности» – «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова. Эта повесть продолжит запущенный Гладилиным тренд прозы, которую после назовут исповедальной. Исповедь начинается в первой фразе: «Кто изобрел слово “зрелость”? Кому пришлось в голову выдавать удостоверения о зрелости наивным ребятам после школы? Как будто можно бумажкой в один день перевернуть жизнь!

Я окончил десятый класс, но никогда в жизни не чувствовал себя таким растерянным. Таким беспомощным. Шенком.

Об этом я не скажу никому. Напишу в дневнике, потому что мне трудно и страшно. Нам десять лет

\*\* Принято считать, что первым это делает Станислав Рассадин в статье «Шестидесятники» («Юность» №12, 1960), однако «уже в 1955-м – за пять лет и до статьи Рассадина, и до начала собственно шестидесятых – Руфь Зернова, постоянный автор рубрики “Разговор по душам”, пишет очерк, персонажи которого, старшеклассники, вдруг начинают переживать свою специфическую причастность временам Некрасова, Добролюбова и Чернышевского: “Мы тоже будем шестидесятниками! Нам в шестидесятом исполнится 20 лет, мы начнем работать и про нас потом скажут: люди шестидесятых годов”» (И. Каспэ, НЛО, 2016, №1).

\* Цитируется по статье И. Каспэ «Мы живем в эпоху осмысления жизни»: конструирование поколения “шестидесятников” в журнале “Юность”, НЛО, 2016, №1.

говорили, что перед нами открыты все пути. И вот, оказывается, они передо мной закрыты.

Зачем было готовить нас к легкой жизни?»

О тексте Кузнецова пишет пресса. Это то, чего после «Хроники» ждут от молодой прозы. Его герой едет на стройку в Сибирь. Там ему трудно. Но все встает на свои места: герой и коллектив вершат трудовые подвиги – словом, «то, что доктор прописал».

Кузнецов жаловался Гладилину: в «Юности» его сильно редактировали – рукопись была острее. Но теперь Кузнецов звезда. Плюс – слава и деньги.

– Тебе, Толя, повезло. – часто повторяет тезка, – тебя неравили.

Травля впереди. А с «Хроникой» – да, повезло. Она вышла в сентябре 1956-го. А через два месяца – после восстания и боев в Будапеште – вряд ли ее и набрали бы. Может, через год. И, возможно, это была б его первая книга. Но он бы уже не был первым.

## 8.

Меж тем вторая повесть – «Бригантина поднимает паруса» – у Гладилина не идет. Но он старается – отдает ее в «Юность», несколько раз переписав. Мэри рукопись берет и тоже старается – применяет проверенную тактику – собирает положительные отзывы. Но Катаев печатать повесть не хочет. Слишком много в ней, говорит, индивидуализма.

Однако Гладилина уже знают в издательстве «Советский писатель» – хотят издать «Хронику». И он несет «Бригантину» туда. Рукопись отдают на рецензию. Ее читает Толя редактор Эльвира Мороз\*, но предупреждает:

– Смотри, Толя... Это – не рецензия. Это – донос. Я не шучу – донос чистой воды.  
– Да? И что теперь?  
– Теперь... Теперь, будем считать, – другое время. Раньше после этой рецензии за тобой бы просто пришли.

То есть это – отказ. Ни «Юность», ни «Совпис» печатать «Бригантину» не будут. Толя воспринимает это со всем пылом юношеского максимализма ее героя – как жестокий коварный удар – слиш-

ком эмоционально и всерьез. До того, что решает: в литературе ему делать нечего. По крайней мере, в ближайшее время. А значит, и в Литинституте. Где, как ему кажется, не умеют учить. Обычный детский взбрык: вы ко мне задом? И я к вам – задом. Еще увидите, кем я стану! А пока пойду в матросы (как потом Георгий Владимов).

– Ну их к черту! – говорит он. – Уйду в плавание. Тянет в дальние страны...

К тому времени он переходит из семинара Березко в семинар Валерии Герасимовой – в 30-х редактора журнала «Смена» – и сдает экстерном экзамены за четвертый курс. Впереди пятый. Зачетка полна пятерок. И диплом не надо защищать – у него вышла повесть в центральном журнале – а это гарантированный «отл.». Тут он опередил Евтушенко и Рождественского. Те хоть уже печатались, но крупных публикаций еще не имели. Словом: малое усилие, и – диплом.

Но он решает: все. Говорите: надо изучать жизнь? Буду изучать. И едет в Вильнюс. Там на видной должности в рыбной отрасли служит Машин дядя Илья Моисеевич – бывший подпольщик. Они знакомы, и Толя думает: вот придет он к Илье, скажет: хочу повариться в трудовом котле, вдоволь поблеть на соленой палубе, а тот посадит его на сейнер: вперед, варись! «Может, и за границу попаду, – думает Толя, – увижу Плимут и Марсель. Ходят же туда моряки. Это ж интересно. И деньги опять же...»

А так у Маши и у него – стипендия 40 рублей. От «Хроники» и аванса в «Советском писателе» ничего не осталось. А выступления по клубам – не жизнь.

Илья Моисеевич согласен, но говорит: «Возьми в институте характеристику. Она нужна для трудоустройства».

Толя идет к комсору.

– Куда? – спрашивают.

– Ухожу из института. Иду матросом в плавание.

Изучать жизнь.

– Лады, дадим.

И дают. Настоящий «волчий билет». Жаль, он не сохранился. Такие бумаги хорошо говорят об эпохе и людях. «Политически неактивен, уваливал от общественной работы, высказывал сомнительные идеи...» – тут и грузчиком не возьмут. Не то что за границу. Читая, Илья Моисеевич смеется: «И за что они тебя так любят?»

А Толя бродит по Вильнюсу, скользя взглядом по красотам, и надеется: может, все же на сейнер какой заваливший впахнут? Он же обещал Маше заработать денег и узнать жизнь. А сам ночует у ее родных и шляется без дела. А дальше-то – что?

\* Мороз Э.С. – сотрудник издательства «Советский писатель», критик. В рецензии на «Колымские рассказы» Варлама Шаламова она писала: «Рукопись “Колымских рассказов”... производит сильное впечатление. Более того – ужасающее... Автор рассказывает очень подробно о жизни в лагерях, о тех бесконечных страданиях и унижениях, которые перенесли там люди... Рассказано все это очень достоверно, так, как может рассказать только человек, вынесший это на своих плечах».

И тут, рассказывает Мария Гладиллина, ему помогает друг ее отца Анатолий Алексин. Видный автор повестей для школьников с обширными связями в литературных, журналистских и комсомольских кругах звонит из Москвы: «Слушай, а ты не хочешь пойти в “Московский комсомолец” заводделом?»

Что тут скажешь?

Предложение из тех, от каких не отказываются. Особенно когда мосты и корабли сожжены, а впереди – неизвестно что.

## 9.

Спустя много лет он расскажет, что если б его назначили министром культуры, это не так бы его поразило, как вопрос Алексина. Все ж таки блевать на палубе и служить заводделом в столичной газете – не одно и то же. За каждой возможностью стоит картина мира. И выбрать ту, в которой жить, надо прямо сейчас. Анатолий знал такие развилки: учиться летать или ехать в Москву? Заканчивать институт или идти в море? А сколько их еще будет... И всякий раз, заметьте, он делает и будет делать выбор в пользу большей свободы и творчества. Возможно, и не понимая этого.

В ту пору «Московский комсомолец» – одна из немногих газет, где печатают и впрямь молодых. И очень молодых. Туда несут студенты рассказы и стихи. Туда идут парни от станка. Да и самому можно многому научиться. Например, делать журналистику. Но это – не только школа. Там чувствуется биение жизни. Понятно, что море, оно, как и небо, – манит. Но перо, бумага и печатное слово – сильнее.

А почему приглашают его? Ведь без высшего же образования? Впрочем, а почему – нет? Он автор модной повести о юношестве. Родители – старые большевики. Времена меняются – начальство обновляет кадры, ставит на молодых. И на него тоже? Хорошо. И в институте пусть знают: ни упреками в бездарности, ни убойной характеристикой его не «зарыть». Они хотят увидеть в «Комсомольце» свои тексты? Пусть пишут. И несут. А мы – почищаем.

Он не берет время на размышление. Согласен.

Итак – «Московский комсомолец»? Бац, и он в «Московском комсомольце». Редактор отдела литературы и искусства. Начало трудовой биографии. Плюс – новой учебы. Ведь это и впрямь отличная школа. И журналистики, и управления, и творческого взаимодействия. И общения с номенклатурой. Его никак не миновать, такова должность.

Первый секретарь горкома партии Устинов собирает глав творческих союзов и издевается над ними на глазах у Толи. Он слышит, как бархатным голосом мягко стелет сменивший Устинова Демичев, но знает: спать придется жестко, как всегда. Секретарь горкома комсомола Юрий Верченко – будущий секретарь Союза писателей – внимательно слушает его советы: чем хорош такой-то фильм, чем плоха такая-то премьера, отчего новая книга такого-то достойна похвалы и наоборот. Помечает в блокноте. И излагает на пленумах. Толя сжимает кулаки, сидя на торжественном заседании в честь сорокалетия ВЛКСМ 29 октября 1958 года, когда его глава Семичастный то именуется Бориса Пастернака «паршивой овцой», то сравнивает со свиньей, мол, тот «нагадил там, где ел, нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит». На съездах он близко наблюдает президиумы и решает: попадание туда – следствие «селекционного отбора страшных казенных рыл». Все это ему омерзительно. Но не бесполезно. Пригодится.

## 10.

Журналистская жизнь хороша! Он часто печатает молодых. Ездит в командировки. Строит полезные связи: заводделом рабочей молодежи Юрий Изюмов со временем станет замом главреда «Литературки» Александра Чаковского. Константин Щербаков, которого Толя, по его словам, сделал постоянным внештатником – замминистра культуры. А министром – Евгений Сидоров, чьи первые рецензии он публикует в «Комсомольце».

И вот вызывает его главный редактор Михаил Борисов и говорит: «А давай-ка печатать твою “Бригантину”. Что? Большая? Не для газеты? А мы – с продолжением!» И книга с подзаголовком «История одного неудачника» выходит в свет. Впрочем, только после публикации фрагмента в «Комсомолке» по статусу куда более высокой, чем «МК», а всю повесть собираются печатать в «Советском писателе» (рецензия-донос затерялась).

В 8-м номере «Юности» за 1958 год выходит его рассказ «Идущий впереди», где автор пытается парадоксально сочетать советскую ценность коллективизма с идеей о великой роли лидера – мощной личности, познающей жизнь через экстремальные опыты и ведущей сквозь них за собою других.

Но ни этот рассказ, где порой мерцает нищестанство, ни «Бригантина» не прибавят Гладиллину славы. А вот «Хроника» – это огромная и во многом случайная, личная удача. Она открыла ему путь в литературу. Сделала писателем. Привела в газету.

Но – соглашусь с Кабаковым – удача литературная. В ней Гладилин проверяет свою гипотезу об уникальной мелодии, делающей текст и его успех. Он находит верный язык и тон общения с читателем. Так говорят с друзьями о том, что важно. И им, и тебе. Автор играет свою мелодию любви и осени, созвучную тысячам других личных мелодий.

Большей частью – не записанных, не сыгранных и не спетых. Но не менее живых. В его очень личной и очень ясной ноте звучит искренность, которой ждут непривычные к ней сверстники. Они устали от маршей. А им предложили балладу. Историю, так схожую с их собственной. Сдержанно, эмоционально, умно и просто.

Это тот прекрасный и радостный случай – встреча таланта с удачей. Причем не в момент согласия Озеровой принять рукопись. И не в минуту решения Катаева ее печатать. Хотя и они важны. Встреча дара и удачи происходит в миг, когда в Гладилине, шагающем по бульвару, начинает звучать, заданный ритмом шагов, текст. И уже не уходит.

Это сродни тому, как Аксенов, сочиняя «Коллег» и «Звездный билет», записывает звучащую в нем джазовую мелодию. И чуткий читатель ловит в тексте звучание разных инструментов. И вместе играющих тему. И импровизирующих.

А Гладилин записывает ритм шагов и сердца. Он, если надо, может гроыхать маршем и сиять медью военных оркестров. И петь концертом скрипок и гобоев. И трелью клавиш. И барабанной дробью. И гитарой. Словом: тем, что звучит в душе.

В дни «Хроники» это – надежды маленький оркестрик. Хотя песни этой Толя не знает – их дружба с Булатом впереди. Кстати, и тот, бывает, пишет марши...

Так возникает то, про что можно сказать: творческий метод Гладилина – писание на ходу в ритме шагов. Зря, что ли, он изнашивает столько башмаков?

Ну а те, что промокли на бульваре по пути домой? Они высохли. Толя их чистит. Так, что трещины не видны. И носит несколько месяцев. А потом покупает новые. На гонорар за «Хронику».







| Юность №11  
| Ноябрь 2021

# ЗОИЛ

# СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ «ПРОЦЕССА»

СТАТЬЯ-ОТЗЫВ НА НОВЫЙ ПЕРЕВОД  
НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА ФРАНЦА КАФКИ «ПРОЦЕСС»



ДАВИД ШАХНАЗАРОВ  
Родился в 1979 году  
в Москве. Окончил эконо-  
мический факультет  
МГИМО. Начал писать  
прозу в 2014 году. В 2021-м  
перешел на 6-й курс заоч-

ного факультета Литератур-  
ного института. Публиковался  
с рассказами в журналах  
«Новый мир», «Сибирские  
огни» и сборнике «Новчег».  
Писал рецензии для «Литера-  
турной газеты».

## 1. НОВОЕ ИЗДАНИЕ

В предисловии издателя сказано: *«Издание “Процесса” в новом переводе дополнено черновиками глав, отброшенных душеприказчиком Кафки Максом Бродом, а также фрагментами, которые вычеркнул сам автор».*

Итак, перед нами:

во-первых – новый перевод;  
во-вторых – перевод, дополненный незаконченными главами;  
в-третьих – включение в издание (в таком же, как в черновиках, зачеркнутым виде) незначительных по объему кусков текста, вымаранных в процессе редактирования самим Францем Кафкой.

Касательно перевода лишь отметим, что *блестящий* (по словам самого нового переводчика – Леонида Бершинского) перевод Риты Райт-Ковалевой оказался автору текущей статьи художественно ценнее.

Но: в переводе Райт-Ковалевой десять глав, а у Леонида Бершинского их пятнадцать. И это действительно ценный подарок любому поклоннику творчества Кафки!

Переводчик в своем вступлении отмечает: *«Порядок глав в моем переводе – попытка восстановить хронологию событий <...> ...Расстановка смысловых акцентов несколько сместилась по сравнению с каноническим переводом».* Однако хронология «Процесса» все одно хромает по причине абсурда самого текста и незавершенности произведения.

В середине романа герой внезапно говорит: *«Мое положение час от часу все тяжелее»*, на что до этого решительно ничто не указывало, а сам герой в предыдущем отрезке вообще сомневается в необходимости *процесса*.

Великолепная глава «В соборе» явно должна стоять ближе к концу романа, как расположил ее при первом издании Макс Брод, близкий друг и поверенный писателя, а не в середине романа.

В ранее неизданной главе «Поездка к матери» Кафка успевает выразить лишь желание героя поехать к матери и его сомнения по поводу поездки. Глава обрывается на отстраненных рассуждениях о служащих в банке.

Персонажи возникают в романе ниоткуда. Чего стоит один мистический Титорелли – замена *адвокату* по рекомендации *художника*. Как отмечает переводчик, «его появление – одна из многочисленных загадок “Процесса”».

Касательно перевода вымаранных кусков отметим, что сама возможность читать зачеркнутое гением крайне мила и точно ничего не портит. Читателя будто приобщают к магии письма. Представлять, зачем Кафка вымарал тот или иной отрывок, приятно, в этом дополнительный аттракцион издания. Однако большинство вычеркнутых отрывков ничего не привносят в текст и вычеркнуты Кафкой вовсе не зря.

Пожалуй, главный отрывок (на целую страницу) – греза наяву героя об освобождении – педантично вымаран Кафкой, но переведен и представлен в новом издании. Ближе к финалу романа главный герой – К. наконец начинает задумываться, что будет, если он проиграет. Нетрудно догадаться, почему автор отказался включить этот текст в «Процесс», ведь процесс – это жизнь, а путь сбежать от процесса у всех один.

Резюмируя вышесказанное. Если любите Кафку, новый перевод будет вам в радость. Если не читали «Процесс», в данном издании вы, возможно, приобретете больше.

## 2. АВТОР

Авангард – такой же признак двадцатого века, как модернизм. Если описать теорию авангарда в двух словах, получится что-то вроде «эстетическая система принципиально фрагментарна и не закончена».

Вот и Кафка не закончил ни один из трех великих романов. Ни «Америку», ни любимый мною «Замок». Впрочем, масштаб не главное. Даже короткое «Превращение» – великая метафора всего двадцатого века – словно виснет в воздухе.

Вот и «Процесс» переиздается с новыми фрагментами.

Кажется, Кафка всегда пишет одно и то же, но такое и про Федора Михайловича можно сказать, все дело в оговорках. Нереальный лишенный подробностей реализм. Относительное пространство. Так потом будут писать Камю, Кобо Абэ, Кутзее. Кафка повлиял на весь двадцатый век и плотно вошел в мировую культуру мышления.

Первое, что бросается в глаза в любом переводе, – Кафку невероятно легко и хочется читать. Странная, нелепая магия легко движет интерес, формируя загадки без видимых разгадок. Мысль течет посредством нехитрого действия и созерцания через точку видения героя-Кандида. Герою кажется, он единственный нормальный человек в городе. Но что, если он один сошел с ума?

Текст почти лишен красочных оборотов. В этом смысле Кафка современной многих современных писателей. Пространство настолько выхолощено и лишено признаков времени, что может быть встроено в любую эпоху.

Мир создает ощущение картонного. Кругом достоевские комнатухи в виде топоров: *«К. подошел и заглянул с порога в каморку с низким потолком и без окна, которую полностью занимала узкая кровать. Нужно было перелезть через ее спинку, чтобы попасть в помещение».*

Ощущение пустоты и непрочности мира достигается умолчанием: *«К. достал необходимые бумаги и начал свой доклад».* Быстро привыкаешь, что далее последует что угодно, кроме доклада: *«...на письменном столе К. столешницу обрамлял низкий резной бортик: искусный столяр, изготовивший стол, закрепил его прочно».*

Сквозь абсурд всегда проглядывает жизнь. Сюр происходящего – лишь интересный способ ее передать. Читатель гадает, кто свихнулся, герой или весь мир? Может, реальный мир лишь оболочка? Основной принцип – все не то, чем кажется.

Возникает эффект рассеянного внимания. Выражаясь словами самого автора, *«изучаешь ненужные детали и ничего, по сути, не выясняешь...»*.

Художественность всегда компенсирована у Кафки грустной иронией и сарказмом, основанными на парадоксе поведения героев:

*«Наконец он обнаружил велосипедные права и хотел было идти с ними к надзирателям, но документ показался ему недостаточно внушительным...»*

*Он не имел ни малейшего намерения принижать себя в глазах следователей излишней пунктуальностью. Однако бежал, стараясь по возможности успеть к девяти, хотя ему даже не было назначено определенное время.*

*Она попыталась поцеловать К., но он уже уходил, и ее губы угодили ему в затылок».*

Апогей сарказма – интим с государством: *«...судья, которого я сейчас пишу, всегда заходит через ту дверь, что возле кровати, я ему и ключ дал, чтобы он мог дожидаться меня в мастерской, если не застанет. Вы бы потеряли всякое почтение к судьям, если б услышали ругательства, которыми я его встречаю, когда он по утрам перелезает через мою кровать».*

Отношения торговца Блока со своим адвокатом можно сравнить с отношениями с девушкой: *«...я ему не очень-то верен... у меня... есть, кроме него, и другие адвокаты... у меня, кроме него, еще пятеро стряпчих... Сейчас с шестым договариваюсь. – Но зачем вам их столько? – спросил К. – Без них никак, – сказал торговец».*

Если двадцатый век – век травмы, то Кафка, пожалуй, олицетворение ее начала: *«Только я в темноте не найду дорогу, – сказал К.»*. Этот страх – один из стандартов творчества великого писателя.

### 3. ТЕЛО РОМАНА

#### 3.1. Сюр

*«Став обвиняемым, он взял себе за первейшее правило всегда быть ко всему готовым, ничему не удивляться».*

Сквозь абсурд всегда проглядывает жизнь. Сюр происходящего – лишь интересный способ ее передать. Читатель гадает, кто свихнулся, герой или весь мир? Может, реальный мир лишь оболочка? Основной принцип – все не то, чем кажется.

Перед нами понятные маркеры сюра: канцелярия суда находится на чердаке доходного дома; посыльный кричит донесение в дверную шелку учреждения,

куда его отправили; герой одевается и *«радуется, что все выходит быстро, потому что надзиратели забыли заставить его принять ванну»*. И главное, совсем как через пятьдесят лет у Кобо Абэ: *«Вы арестованы... но это не должно мешать вам выполнять ваши профессиональные обязанности. И вашему обычному образу жизни препятствовать тоже не должно. – Тогда быть арестованным не так уж плохо, – сказал К.»*

*«Когда спишь и видишь сны, находишься в совершенно ином состоянии, нежели когда бодрствуешь... момент пробуждения самый рискованный...»* – фраза из вымаранного автором текста отражает желанное состояние читателя. Герой попадает в нелепые обстоятельства, сравнимые со сном, и блуждает в них, именно как во сне. «Процесс» – «Алиса в стране чудес» для более взрослых или более желчных.

Поначалу герой бунтует, но очень быстро смиряется с правилами игры. Главный логический сюр романа в том, как обвиняемый от убежденности в глупости *процесса*, без какого-либо объяснения, переходит к отчаянию в поисках спасения от него.

### 3.2. Маркеры реальности

Налицо все признаки общества. К. живет *«в правовом государстве в мирное время, закон есть закон, и кто осмелился напасть на него в собственном доме?»*.

В государстве есть банк, где главный герой работает старшим управляющим. *«В банке он окружен посредственностями, способными продвигаться лишь благодаря стажу. Как только тыступишься, тебя подсыдят»* – этим, кажется, только и занят заместитель директора банка.

На деле старший управляющий К. не может управиться даже с собственной жизнью. Он пеняет на посетителей, часами ожидающих в приемной суда, но в его собственной приемной полно посетителей. *«Как заниматься банковскими делами... когда на чердаке чиновники корпят над бумагами по его делу?»*

В правовом государстве есть судебная контора. В конторе есть *порщики*, наказывающие нерадивых клерков и берущие взятки, и *господин разъяснитель*, дающий справки населению, поголовно так или иначе включенному в *процесс*.

И конечно, основная идея процесса – *«Все, что вы скажете, может быть использовано против вас»*, о которой еще скажем.

### 3.3. Антифеминизм

*«– У вас есть любимая женщина? – спросила она чуть погодя.*

*– Нет, – сказал К.*

*– Так уж и нет!*

*– На самом деле есть, – сказал К. – Подумать только, я от нее отрекся, а ведь у меня даже ее фотография при себе.»*

Говорят, Кафка писал свой роман, когда разрывал помолвку с Фелицией Бауэр.

*«Я прямо-таки притягиваю помощниц, – подумал он. – Сперва г-жа Бирстнер, потом жена судебного пристава, наконец эта малышка-сиделка, которой я за чем-то так понадобился. Вон как угнездилась у меня на коленях, будто это ее законное место!»*

Главному герою романа, словно для того чтобы подчеркнуть его одиночество, дарованы автором три музы. В отношениях, как и в процессе, – сплошные странности, недомолвки, обман. Героиня адюльтера не определена, как и любые правила игры. Три музы возникают и исчезают без причины.

Поражает антифеминистическая концепция женщины как вещи для пользования председателя суда, подающего надежды студента, адвокатов, обвиняемых и самого К.



Чужаки без спроса заходят в дома, заглядывают в постели, роются в вещах, судебные помещения делятся на каждом чердаке и в каморке художника. «Моя мастерская, собственно, тоже часть судебной канцелярии, суд мне ее и предоставил».

Герою так трудно поверить в реальность государства, что он грешит на мистическую организацию.

Чуть более длительные отношения с молоденькой сиделкой адвоката Лени заканчиваются фиаско, когда выясняется, что *«Лени находит большинство обвиняемых привлекательными. На всех вешается, всех любит и, похоже, у всех пользуется взаимностью»*. Нелепое объяснение: *«Я немножко вошла в его положение, потому что он крупный клиент адвоката, вот и все»* – звучит как месть Кафки женщинам.

*«Если бы я мог уговорить некоторых моих знакомых женщин действовать на моей стороне сообща, я бы наверняка прорвался. Особенно в этом суде, который почти весь состоит из дамских угодников...»*

– *Ты слишком рассчитываешь на чужую помощь, – сказал священник. – Особенно – и напрасно – со стороны женщин. Неужели ты не замечаешь, что это не настоящая помощь?»*

#### 3.4. Сакральная жертва

Герой *«всегда старался не принимать ничего слишком всерьез, в худшее верить, только если и правда станет худо, и не тревожиться о будущем, чем бы оно ему ни грозило»*. Миг, и он – участник всеобщего сюр-спектакля – как слепой котенок, обращается к женщинам, художникам, священникам в тщетных попытках понять, что делать.

Надежда на *«благосклонное отношение»* мешает бороться или бежать. К., как и почти любой на его месте, предпочитает *«довериться естественному ходу событий»*.

Но *«опытный человек даже в большой толпе всегда распознает обвиняемого»*. Герой, даже для себя, – несомненная сакральная жертва процесса.

#### 3.5. Вестники обезличенного авторитаризма

*«– Здесь так гнусно, – сказала она, помолчав, и взяла К. за руку. – Думаете, у вас получится что-то исправить?»*

– *Подобные разбирательства практикуются в отношении многих людей. Это ради них я стою здесь, а не ради себя.*

– *Слишком много людей в нашем положении... Но даже сообща против суда ничего не добьешься. Каждое дело расследуется отдельно...»*

Чужаки без спроса заходят в дома, заглядывают в постели, роются в вещах, судебные помещения делятся на каждом чердаке и в каморке художника. *«Моя мастерская, собственно, тоже часть судебной канцелярии, суд мне ее и предоставил».*

Герою так трудно поверить в реальность государства, что он грешит на мистическую организацию.

Любой непреложный закон рано или поздно превращается в авторитарный сюр, где *«материалы суда недоступны обвиняемому и его защите, так что им или по большей части, или вообще непонятно, против чего возражать, где на допросах защитнику обычно присутствовать не разрешается. Самое главное – личные связи адвоката, в них-то и есть главная ценность защиты».*

*Судебное производство в целом скрыто от глаз нижестоящих чиновников... в результате от этих чиновников ускользает понимание... стоит ли удивляться раздражению чиновников... Все чиновники раздражены, даже когда внешне кажутся спокойными».*

Не успеешь глазом моргнуть, *«процесс переходит в такую стадию, на которой делу уже не поможешь... Процесс не обязательно проигран... просто о процессе больше ничего не известно и не будет известно уже никогда».*

Что же остается делать в обществе, где каждый прохожий – свидетель обвинения, где суд в каждой закутке, адвокат почти не задает вопросов, а нелепый нищий художник знает о процессе больше адвоката? Только *«кратко изложить свою биографию и против каждого сколько-нибудь значимого события написать, почему поступил так, а не иначе...».*

Главное – *«ни в коем случае не привлекать внимания!».* Жаловаться нет смысла – *«в лучшем случае этим можно добиться какой-то пользы для будущих обвиняемых, но себе навредить неизмеримо больше, привлекая особое внимание злопамятных чиновников».*

Истинное оправдание невозможно. Процесс, единожды вступив в силу, бесконечен, а *«судья еще при первом оправдательном приговоре предвидит новый арест...».*

Обвиняемый всегда остается несвободным. Процесс длится, превращая людей в нелепых и униженных существ, таких, как торговец Блок.

Сущности положен адвокат, его обслуживает сиделка адвоката, он ютится в маленьких комнатках-гробах в квартире адвоката и время от времени вынужден отмечаться у своего судьи. Унижение, когда тебя бьют плетью, унижение, когда ты вынужден преклонять колени перед своим адвокатом. *«Ты жив, пока ты под моей защитой».*

Описывая процесс, Кафка два раза упоминает собак. В первый раз в связи с *«прямо-таки собачьими, самоуничижительными выражениями почтения к суду»*, а второй – в связи с приговором главного героя.

«Процессом» Кафка предсказывает любой тоталитаризм двадцатого века и грустно смотрит в двадцать первый.

#### 4. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ «ПРОЦЕССА»

Здесь как нельзя уместнее мое любимое – а что если? Против каждого из нас идет процесс, который равен жизни. Бог, как уже известно в двадцатом веке, умер. Закон – новый Бог современного мира. *«Суд ничего от тебя не хочет. Приходишь – он принимает тебя, уходишь – отпускает».* Очевидная философия, где вместо «Суд», «Закон» ставим «Бог».

*«– Как вообще человек может быть виновен? Все мы люди, и ни один не лучше другого».*

– *Это верно, – сказал священник, – но виновные всегда так говорят.*

Иисусов принцип «кто без греха» вырождается в «мы все равны перед законом, а значит, виновны». *«А сам закон равен суеверию, ведь многое в судопроизводстве ужом не понять – слишком сильно устаешь и много отвлекаешься, так что понимание заменяют суеверия».*

А вместо молитвы – ходатайства: *«Мои ходатайства не имели никакого смысла. Одно я даже прочитал... Оно было совершенно бессодержательным, хоть и написано ученым языком...»*

Процесс-муравейник – единое обезличенное существо, неотвратно перемалывающее личность, – *«тайно подбирается ко мне все ближе. Ты знаешь, что процесс складывается не в твою пользу? Проиграть процесс значит, что тебя просто вычеркнут».*

Ярчайшим сопоставлением закона и Бога, данным Кафкой, является «*Легенда о вратах*», с невероятным шармом толкуемая К. священником: *«Текст неизменен, а мнения часто лишь отражают заблуждения по поводу его смысла... Он служитель Закона и, следовательно, принадлежит Закону, а людской суд над ним не властен... сомневаться в его значимости – все равно что сомневаться в Законе... не надо считать все, что говорит стражник, правдивым, надо лишь считать это необходимым».*

– *Какая безрадостная точка зрения, – сказал К. – Ложь объявляется основой миропорядка».*

В романе, состоящем из кусков, кажется, нету ни середины, ни начала, но читательские скитания вознаграждены всепрощающим концом. Перед бездной героя посещает мысль, воистину достойная Святых Петра или Матфея: *«Стоит ли давать повод для упреков, что в начале процесса я хотел его закончить, а в конце – начать его снова?»*

